

Андрей Никитин

РАСПАХНУТАЯ ЗЕМЛЯ,



МОСКВА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1973

Рисунки
О. ЗОТОВА и О. РЕВО

Научно-художественная литература

Никитин А. Л.

Н 62 **Распахнутая земля. Рис. О. Зотова и О. Рево.**
М., «Дет. лит.», 1973.

255 с. с ил. + 16 вкл.

Эта книга рассказывает об археологических открытиях и о тех людях, которые эти открытия совершают. Автор — археолог — рассказывает о своей науке, о возникновении в ней различных проблем, скоре, идей, поисков доказательств, об открытиях, раскопках и, главное, о людях, которые работают в археологии.

Н 0763—489
101(03)73 544—73

902

© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1973 г.

ОТ АВТОРА

Из множества древнегреческих мифов, легенд и преданий, тысячелетия назад ставших основанием не только античной, но и всей европейской культуры, в наше время неожиданную популярность получил рассказ о поездке Тезея на Крит, чтобы избавить Афины от позорной дани. Справедливости ради надо отметить, что современным своим успехом этот миф обязан отнюдь не отваге героя, а дочери Миноса, Ариадне, чей клубок ниток стал для авторов самых различных научно-популярных книг символом научной методики, годной для преодоления встречающихся трудностей — и теоретических, и сугубо практических. Естественно, в подобном случае содержание самого мифа излагается предельно кратко, а фабула его, на первый взгляд столь ясная и запоминающаяся, меньше всего наводит на мысль о возможных комментариях. И это тоже поучительно: ясное и простое на первый взгляд никогда не бывает таким простым и ясным в действительности!

Он совсем не прост, этот древний миф, как не просто все наследие Эллады, чьи обломки и осколки хранятся нами в наших музеях. Знакомый с мифом о Минотавре с детских лет, я возвращался к нему не однажды, когда уже стал археологом, и всякий раз убеждался, что древний рассказ о неведомой нам провинности критского царя, сына Зевса, перед своим дядей Посейдоном, о последующем рождении Минотавра, постройке лабиринта Дедалом и подвиге Тезея, — этот рассказ сам похож на лабиринт, сложный, запутанный, многослойный, хранящий память о множестве событий самых различных времен.

Он весь состоит из загадок, которые, прежде чем решить, надо еще уметь увидеть. Вот, например: почему оказалась так велика провинность Миноса перед Посейдоном, если тот был всего лишь его дядей, тогда как отец Миноса — властитель богов? С другой стороны, непонятно: почему не вступился за сына Зевс? Еще одна любопытная тонкость: Минотавра убивает Тезей, а сам Тезей — не кто иной, как сын все того же Посейдона!

Странные переплетения событий, непонятные для нас причины... Но первая загадка исчезает, если предположить, что когда-то Посейдон был братом не Зевса, а... матери Миноса! Как только мы совершим подобную перестановку, вполне реальную, если углубиться в мифологические дебри греков, конфликт между Миносом и Посейдоном становится легко объяснимым,

так как, по понятиям первобытного общества, где возникла первоначальная редакция этого мифа, брат матери считался более близким и важным родственником, чем отец. Отец в своей семье являлся «чужаком». Поэтому Зевс не имел никакого права вмешиваться в семейную распрю. Остатки этих воззрений можно найти и в «Орестее» Эсхила, где Орест, сын Агамемнона, убивает свою мать, Клитемнестру, мстя ей за убийство отца, ее мужа. Богини мщения, Эринии, преследуют юношу, и когда на суде Афины Орест оправдывает свой поступок, указывая на преступление матери, Эринии заявляют, что Клитемнестра менее виновна, чем Орест, так как она убила мужа. Муж — чужая кровь...

Понятно и появление Тезея. По-видимому, между Минотавром и Посейдоном произошло примирение, и Минотавр оказался «лишним». Поэтому Посейдон «сам», действуя через сына, уничтожает свое «произведение». Здесь опять проявляются представления глубокой древности о том, что «порчу» или «заклятие» может снять только тот, кто его наложил...

Но довольно о Тезее! Об этом мифе, о том, какое содержание и какие события «закодированы» в нем, можно написать большое исследование. Пересказал я его сейчас для того, чтобы показать, какая пропасть лежит порой между фактом и его истолкованием.

Для многих археологические раскопки представляются чем-то вроде «упорядоченного кладоискательства», где главная цель — найти в земле драгоценные вещи и произведения искусства, оставшиеся от минувших эпох. В таком заблуждении повинны не только журналисты, пишущие, как правило, лишь о «находках века», но и сами археологи, предпочитающие рассказывать только о выдающихся, экстраординарных опять же находках. Именно о находках, а не об открытиях.

Мне кажется, в этом и заключается основная ошибка. Ведь дело не в находках. Археология — наука, требующая от ученого знания самых различных областей: не только истории, но и геологии, этнографии, лингвистики, палеоклиматологии, антропологии, почвоведения, физики, химии и многого другого... И раскопки — не самоцель, а всего лишь средство получения необходимых для науки данных, как говорят теперь — информации. Романтика археологии заключена не в экспедициях, не в приключениях, которые, кстати сказать, довольно редки, а в сопоставлении фактов, в тех бесчисленных вариантах научных гипотез, через которые все время идет археолог, чтобы найти

единственно правильный вывод и объяснение. «Приключения» происходят не с людьми, а с вещами и идеями. Работа археолога сопоставима с работой следователя, раскрывающего запутанное преступление, или палеонтолога, по одной-единственной кости восстанавливающего облик давно исчезнувшего существа.

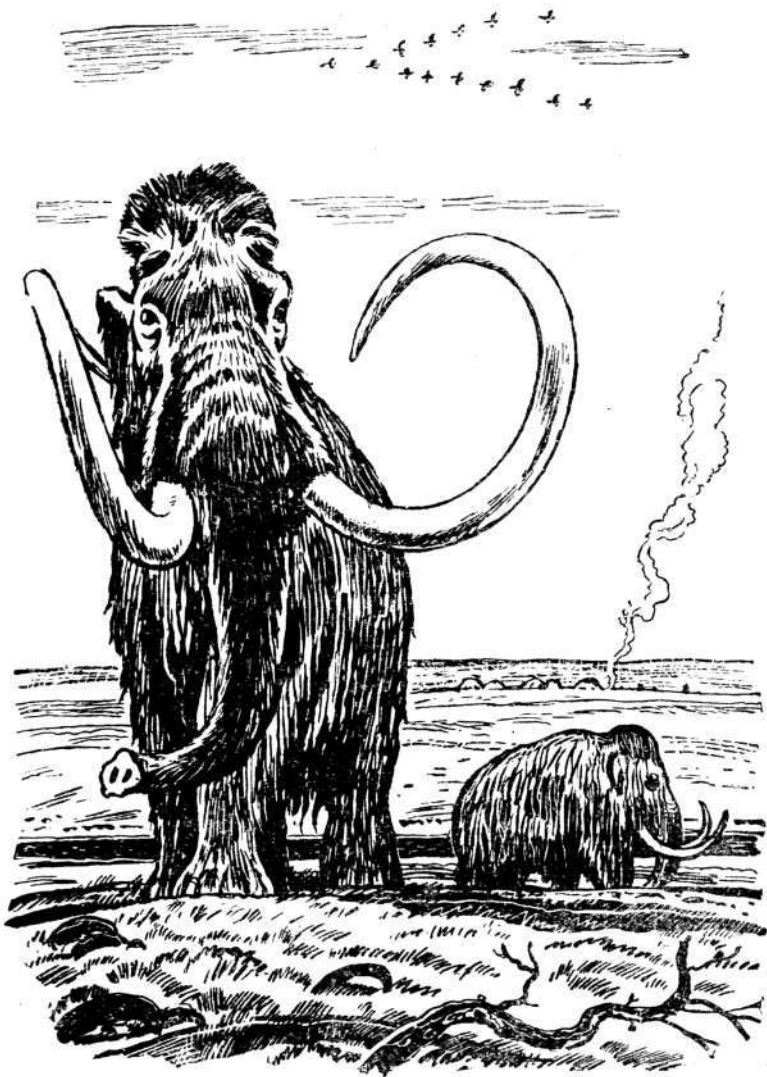
Наука похожа на запутанный лабиринт, в который спускается ученый, чтобы исследовать каждый его закоулок, точнейшим образом описать его и бестрепетно встретить «Минотавра»: для каждого — своего, для каждого раза — нового. Далеко не всем это удается. Иногда поиск тянется многие годы, в течение которых один исследователь сменяет другого, меняются точки зрения, гипотезы, новые факты опровергают ранее известные...

И здесь я снова хочу напомнить древнегреческий миф. Мы чтим отвагу Тезея, но, чтобы решить «загадку Лабиринта», кроме мужества и самоотверженности героя, потребовались еще мудрость Дедала и любовь Ариадны. Читателю самому предстоит решить, что в конечном счете оказалось наиболее важным. У меня есть свое мнение, и я надеюсь, что оно достаточно ясно высказано на страницах книги.

Когда я начинал ее писать, мне следовало выбрать, о чем именно я буду рассказывать: о вещах, которые были найдены при раскопках; о людях, которые посвятили себя поискам и раскопкам, или о том, как я ездил в разные экспедиции и что там видел. Три пути лежали предо мной, но я выбрал четвертый и решил рассказать о самой науке, о том великом процессе познания, который равным образом охватывает вещи, страны, людей, их чувства, озарения и заблуждения. Я решил показать, как работает археолог; как ценность найденного предмета измеряется объемом новых идей, вызванных его появлением; показать, какими методами пользуется современная наука, как накапливается знание и под лопатой, ударившей об еще скрытый в земле предмет, начинает оживать История.

Ну, а если кто-либо из молодых читателей этой книги, перевернув последнюю страницу, почувствует в себе решимость пойти по стопам людей, которые здесь действуют, посвятить жизнь поискам и исследованию еще неведомых лабиринтов истории, не страшась ни трудностей, ни столь обычных в науке неудач, — археология ждет его.

Июнь 1970 г.



Глава первая

ВОЗЛЕ КРАЯ ЛЕДНИКА

1

В один из последних дней жаркого июля 1957 года через сутолоку московских улиц пробиралась экспедиционная машина с порыжевшим брезентовым верхом. Если бы кто-либо из многочисленных пешеходов, разморенных духотой и солнцем, заглянул в ее кузов, он увидел бы груды спальных мешков, свертки палаток и юных пассажиров, облаченных в белесые от дождей и солнца ватники. Под их ногами поблескивали оковкой ребра вьючных ящиков, громыхла связка новых лопат, скрипели распатавшиеся стойки кузова. Нам, собравшимся здесь, звуки эти казались самой лучшей на свете музыкой — музыкой дороги.

Москва для нас уже не существовала. За паутиной проводов, перекрывшей улицы, за перемигающимися светофорами, лышущими полдненным жаром домами мы видели плавные волны зеленых холмов, синеющие поля, шумящие под ветром перелески и блеск извилистых речек...

— Мне кажется, — сказала Ирина, — сейчас самое время, чтобы Сережа рассказал нам, куда мы едем...

Она сидела, закутавшись в ватник, на развернутых спальных мешках. В сумраке машины мерцали ее темные большие глаза.

— А что С-сержу рассказывать? — отозвался Лева, один из главных наших скептиков и резонеров. — Отто Ник-колаевич все объяснил: едем копать п-палеолит. Под Владимир. Все знают, что такое п-палеолит...

— Ты знаешь, а я не знаю, — спокойно ответила ему Ирина. — Вы археологи, а мы с Машей — этнографы. К тому же Сережа там уже был...

Сергей откинулся в угол между кабиной и стенкой кузова, чтобы видеть одновременно и нас, и дорогу. Из-под его распахнутого ватника светилась голубая рябь тельяшки. Он был настолько белобрый, что на его красном от загара лице брови казались мазками белой краски, и от этого контраста голубые глаза наливались густой синевой, под стать небу.

— Там, Иринушка, мечта, а не стоянка! Самая северная из

всех пока известных, если не считать стоянки Талицкого на Каме. Верхний палеолит... А места какие! Владимир рядом. Через овраг — Боголюбово. Внизу, у Нерли, — знаменитая церковь Покрова. А за Клязьмой до самой Оки идут муромские леса...

— «Едут с товарами, ночью с Касимова, муромским лесом купцы...» — отчаянно фальшивя, пропел Коля, сын начальника нашей экспедиции и наш сокурсник.

— А ты сам, что ли, эту стоянку отырл?

— Нет, Иринка, я только обследовал. Отто Николаевич в прошлом году послал...

— Сережа, а ты нам все сейчас и расскажи, — присоединилась к просьбе Ирины Маша, ее подруга.

— А другим не скучно будет?

— Давай, давай, Сержик! — поддержал Коля. — Если девочки просят, значит, надо...

— Так вот, — начал Сергей. — Несколько лет назад на окраине Владимира построили кирпичный завод, возле села Доброго. Глина рядышком, целое поле. Заложили карьер. Ходит по краю карьера экскаватор по рельсам, ковшами глину выбирает...

— Ты прямо как по писаному! — поехидствовал Лева.

— А не нравится тебе — ты не слушай!.. Работал там хороший человек, экскаваторщик Начаров. Он и заметил, что с глиной в ковше попадают какие-то большие кости. Сначала Начаров просто на них смотрел и удивлялся, а потом взял несколько костей и принес во Владимирский краеведческий музей. Там определили: кости мамонта. Потом он вместе с костями принес и битые кремни. Вот тогда из музея и написали в Москву, в Институт археологии, Бадеру. А Бадер решил, что раз с костями мамонта найдены и кремни, здесь может быть стоянка палеолитического человека. Вот он и послал в прошлом году меня посмотреть и обследовать...

— Ну, а ты что там нашел? — не отставала Ирина.

— Ч-что нашел? Стоянку нашел! — возмущенный непонятливостью Ирины, ответил вместо Сергея Лева. — Что на стоянке нах-ходят?..

— Экскаватор там культурный слой обнажил у стенки, — не обратив внимания на раздражение Льва, ответил Сергей. — Мне оставалось только зачистить его лопатой. В слое угольки есть, косточки, зола, отщепы кремневые... А подальше — даже очаг. Около него я несколько скребков нашел и пьес экайе.

— Что-что? Это что такое?
— Про п-пес экайе ты, Серж, загибаешь! Н-не похоже, что-бы было...

— Спроси у Отто Николаевича!..

— Точно, Левушка, п-пес экайе. Папа смотрел, — подтвердил Бадер-младший. — Это, Ира, орудие из кремня, вроде топорика маленького, клинышек такой...

— А что им делали?

— М-мамонтячи кости рубили, — снизошел Лева, сдавшийся перед авторитетом Бадера-старшего.

— Сережа, а это что — очень интересно?

Сергей вытарашил глаза.

— Ну как же! Ведь не какая-то там неолитическая стоянка, каких много, а палеолитическая! Я же говорю — самая северная!

— А может, мы там погребение найдем?

— Погребение! Может быть, и статуэтки еще?! А почему нет?! В Костенках есть же скульптура!.. То в Костенках!.. — заговорили все разом.

Машина вырвалась из толчи московских улиц и покатила быстрее.

Нас было восемь, и мы были очень молоды. Восемь студентов исторического факультета МГУ, уже считавших себя археологами. Нам казалось, это право нам давали те несколько экспедиций, в которых мы успели побывать, эти ватники, тюки палаток, только что полученные со склада, а главное — новенькие бланки командировочных удостоверений, заверенные печатью Института археологии Академии наук. Теперь я думаю, что нам удивительно повезло: наш путь в большую науку начался с палеолита, с юности человечества, которая каким-то образом перекликалась с нашей собственной молодостью, еще восторженной и самонадеянной.

— Ты лучше скажи, много ли там осталось после экскаватора? — поинтересовался Женья. — Глубоко слой лежит?

— От поверхности метра четыре. Экскаватор его только с края задел. А так все цело!

— А чем он сверху перекрыт? Мореной? — спросил Коля Бадер.

— Нет, там суглинки. Знаешь, такие, похожие на лесс! А морены нет.

— П-поздняя твоя стоянка! И не палеолит это вовсе, а мезолит, — скептически проворчал Лева.

— Тебе, Левушка, только мезолит и мерещится! Ты еще скажи — неолит! А мамонты, по-твоему, тоже в мезолите бегали?

— Если в раннем, то п-почему бы им и не бегать? — философски отпарировал Лева. — Никто не знает, какой он, мезолит...

— Ну вот ты узнаешь и всем расскажешь!

— Да уймись вы, мальчики!

— А ч-чем т-тебе мезолит не нравится? — уже воинственно допрашивал Сергея Лева и от этого больше заикался. — В-во всяком случае, здесь он реальнее м-может быть, ч-чем п-палеолит...

Из всех находившихся в тот день в кузове экспедиционной машины Сергей, пожалуй, был наиболее «созревшим» археологом. Все мы еще только «начинались», немного растерянно и робко выбирая свою тропу в сложной и романтической науке, какой представляла перед нами археология.

Мы учились на одном курсе и даже в одной группе. Разделение произошло только в этом году. Первыми ушли девушки — из археологии в этнографию. Теперь происходило внутреннее деление, вероятно самое трудное.

Каждая экспедиция, в тот или иной отрезок прошлого, открывала перед нами свой мир — притягательный и заманчивый.

Крещение археологией все мы прошли после первого курса в Новгороде, и, наверное, мало кому из нас тогда не казалось, что смысл его дальнейшей жизни заключается в поисках и расшифровках берестяных грамот, в изучении топографии древних улиц, в классификации вещей, деревянных мостовых и водопроводов, где еще струилась вода, которую пил Садко или Василий Буслаев. Действовали на воображение не только сырые котлованы раскопов, бревенчатые настилы и коричневые, трухлявые срубы, но и свинцово-синий Волхов, слепящая гладь озера Ильмень, белые стены церквей, хранившие в своем полумраке строгие и таинственные фрески.

Потом «смысл жизни» оказывался совсем в другом. На смену зримой истории Древней Руси приходил теплый и шершавый мрамор античных статуй, стремительные фигуры греческих героев на черном глянце расписных ваз, зеленые кружочки древних монет. Сквозь теплые волны маячили призраки затонувших городов, зарывшиеся в ил и обросшие ракушками остовы погиб-

ших кораблей, остродонные амфоры, разбросанные среди камней, из которых выплывали пестрые пучеглазые рыбки.

И везде маячили свои загадки, опяняла возможность близких открытий — таких близких, что казалось непонятным, как до сих пор проходят мимо них наши учителя.

Найти... себя? Найти свою тропу, свое время... Или происходит наоборот и не мы находим свое дело, а это дело находит нас? Теперь, когда пути всех нас давно определились, я думаю, что выбор каждого можно было бы предсказать еще тогда.

Разве случайно выбрала Ирина этнографию, а не археологию? Неторопливая, спокойная, она казалась несколько медлительной из-за своей обстоятельности. Ирина заботилась обо всех «мальчиках» в экспедиции и также ненавязчиво, мягко входила в доверие «бабушек», поивших ее чаем и рассказывавших о своем житье-бытье.

Или Лева, Левушка, как называли его все, пока вдруг не обнаружилось, что это не «Левушка», а «Лев Владимирович». Невысокий, плотный, аккуратист до мозга костей, он любил во всем порядок и классификацию — качества, особенно необходимые для той области археологии, которую он выбрал. Мы шутили над его увлечением мезолитом, средним каменным веком, которого на самом деле нет. Мезолит — это переход от палеолита к неолиту: от эпохи оледенений к современному геологическому периоду — голоцену. Как всякий переходный период, мезолит вызывал нескончаемые споры. Слишком мало было известно стоянок, слишком неопределенными казались каменные орудия того времени.

Во всем этом ему приходилось разбираться, и делал он это так же аккуратно и педантично, как каждый вечер складывал и развешивал на веревочке в палатке свои брюки и куртку...

И был Сергей. Его любили все — за веселый, общительный характер, за бесконечную жизнерадостность. Его шутя называли неандертальцем — такой же сильный, неутомимый, цепкий, с сильной челюстью и развитыми надбровьями. Сергей был мастером на все руки, любил тяжелые и сложные маршруты, охоту и даже в тот раз захватил с собой ружье, предвкушая осенние зори на озерах за Клязьмой.

Еще на первом курсе Сергей выбрал себе палеолит.

Что привлекало его в эпохе, казавшейся мне до этой экспедиции несколько фантастической и нереальной? Обилие загадок? Трудность изучения? Стоянку эпохи палеолита найти не-

легко. Два лета провел Сергей на Каме, пройдя ее почти целиком, чтобы найти хоть один новый палеолитический памятник, и все безрезультатно.

«Палеолит» в дословном переводе — «древний камень». Эпоха древнейшего прошлого человечества, которая охватывает около миллиона лет. Древний каменный век. От первых галек, которые раскалывали обезьяноподобные существа, чтобы сделать себе самые примитивные орудия, до человека нашего облика. От условной речи-сигналов, вроде криков обезьяны, до исключительно сложного и изящного искусства в виде фресок на стенах палеолитических пещер и вырезанных из кости статуэток.

— ...Так вот, считается, что было четыре периода оледенений,— рассказывал Сергей Ирине и Маше.— Гинц, мивдель, рисс и вюрм. Названия этих четырех швейцарских деревень, возле которых впервые нашли следы разновременных оледенений, стали символами четырех огромных эпох, которые и сформировали человека. Эпохи наступления ледника сменялись потеплениями, межледниковыми эпохами...

— Кстати, мы как раз живем в такое межледниковье,— ввернул Коля, любивший находиться в центре внимания.— Так что ждите следующего ледника!

— Ну, следующее оледенение ожидается не раньше чем через десять—двенадцать тысяч лет! — успокоил всех Сергей.— Самое значительное оледенение — рисское, или днепровское. Около пятидесяти тысяч лет назад ледник продвинулся далеко к югу двумя языками, по Дону и по Днепру.

— И добавь еще, что не все геологи согласны, что было четыре оледенения! — не унимался Коля.— Некоторые считают, что было только одно, большое...

Верно. Так тоже считают, но — единицы. Трудно спорить о количестве ледников и оледенений, когда вся эта схема строится на различии состава и залегания морен — той глины с камнями, которую оставляли, отступая и сокращаясь, ледники. Здесь принимается во внимание все: состав и цвет глины, породы валунов, штрихи, прочерченные ледником на скалах...

А как выглядел этот ледник? Действительно ли был огромный ледяной «щит», покрывший почти всю Европу, от которого остались ледники Гренландии? Или только местные, не связанные между собой ледники?

Обычно считают, что толщина ледяного щита достигала нескольких километров. Под его тяжестью продавливалась земная

кора, сглаживались горы, дробились скалы. Казалось бы, самое явное тому доказательство — так называемые «бараньи лбы» в Карелии и Финляндии. Это скалы, стертые движением ледника до зеркальной гладкости, причем только с одной стороны. С той, откуда двигался ледник.

Так ли это? Однажды мы заговорили о леднике с моим приятелем, геологом. Много лет он работал в Карелии и на Кольском полуострове. К моему удивлению, этот геолог вообще воспротивился такому пониманию ледника. По его наблюдениям, верхняя точка нахождения «бараньих лбов» в Карелии не превышает ста метров над уровнем моря. Иначе говоря, ледник был не толще ста метров! Больше того, этот геолог начисто отказывался верить, что ледник «полз на юг от собственной тяжести». Он вычертил график, привел расчеты и доказал мне, что при толщине ледяного щита даже в два-три километра и протяженности не меньше тысячи километров лед может лишь изгибать под своей тяжестью земную кору, продавливать ее, но ни о каком движении не может быть и речи. На мой вопрос, как же тогда объяснить появление валунов определенных пород за тысячи километров от месторождений, холмы морен и многое другое, он ответил, что это дело специалистов, но стоит вспомнить о старой теории, по которой валуны могли путешествовать в дрейфующих льдинах. Я хотел возразить, но вовремя вспомнил, что подобную точку зрения отстаивает и украинский геолог И. Г. Пидопличко, и промолчал.

Как бы ни была велика разница в точках зрения исследователей, все они сходились на одном: ледниковый период был. Были резкие колебания климата, какие-то грандиозные сдвиги, менявшие карту Земли. И были люди, которым приходилось бороться за жизнь в условиях жестоких морозов и вечной мерзлоты...

— Постой. А почему ты считаешь, что на этой стоянке жили люди, пришедшие из Костенок, с Дона? — спорил Коля с Сергеем. — А может быть, из Крыма или с Кавказа?

— Н-ну, и Сталинградская на Волге опять же, — вставил Лева.

— Да стоит ли спорить сейчас, ребята? Приедем, раскопаем — вот и увидим! — спокойно проговорил Женя.

Женя считался на курсе у нас первым красавцем — стройный, идеально сложенный, с черными кудрями. Незаметно он всегда оказывался душой общества — и шутил, и пел, и играл на гитаре. В той «системе предопределенности» человека про-

фессии, о которой я говорил выше, Женя, казалось, не находил места. И вот почему.

Заинтересовавшись сначала эпохой бронзы, Женя выбрал себе наконец неолит. Но я готов был голову дать на отсечение, что никакой он не «неолитчик»! Кто угодно: историк, биолог, физик, например... Мне казалось, что в его характере, в его наклонностях не было тех обязательных черт охотника и рыболова, без которых просто не может в этой области работать археолог. Смешно? Но это действительно так. Выбор профессии невозможен без такого внутреннего соответствия, особенно важного для ученого. Ведь выбираешь не специальность — выбираешь жизнь!..

Вероятно, такое соответствие характера, симпатий, увлечений помогает археологу ощутить и понять психологию людей выбранной им эпохи. Рыбак — рыбака; охотник — охотника. Психологический «ялоч» — интуиция — занимает далеко не последнее место в арсенале ученого.

И действительно, в дальнейшем Женя нашел для себя в археологии новую область: он стал химиком, изучающим древние сплавы...

Погромыхивают под ногами лопаты. Оранжево-зеленый частокососеп, потом лес расступается, и видны холмистые поля, деревни, выросшие вдоль старой «Владимирки», двухсотлетние ветлы, своими длинными ветвями скребущие брезентовую крышу нашей машины...

Дорога.

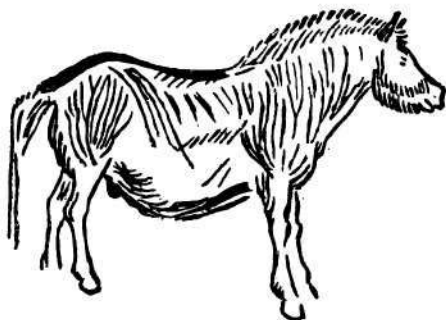
Вся археология — это тоже дорога — дорога времени. Может быть, поэтому она так заманчива? Ведь мы разбираемся не в пластах инопланетной цивилизации — мы ищем истоки самих себя.

Историк имеет дело с документами. К его услугам библиотеки, архивы — тысячи, десятки тысяч книг, миллионы листов газет и журналов. Воспоминания, письма, фотографии. Рисунки, схемы, планы, чертежи. Порой историк может проследить по дням жизнь интересующего его человека. Заглянув в справочник, он узнает, когда кончился совет в Филях, когда прогремел последний выстрел мировой войны, когда был заложен первый камень Метрополитена...

Дальше в сумраке времени все с большей скоростью редет и пересыхает этот поток свидетельств, поток информации. Далеко не о всех событиях русской истории рассказывают наши

летописи. О многом они молчат, другое — искажают. На помощь приходит археология. Все чаще приходится историку спускаться в раскоп, чтобы увидеть, понять и расшифровать своеобразный язык вещей — единственных свидетелей и участников той жизни.

Для Северной и Восточной Европы предел письменных свидетельств — X век нашей эры. В Средиземноморье, в центрах



античной культуры, мы можем «спуститься» еще на пятнадцать-шестнадцать веков. Дальше письменная эпоха с перерывами продолжается для историка лишь на Востоке, в Египте и Месопотамии. А остальной мир? А еще дальше, глубже?

Так возникает иной расчет времени. Он идет не по дням, неделям, месяцам и годам. В лучшем случае можно определить столетие, век. Чаще — только тысячелетие. Здесь столетия мелькают, как столбы вдоль шоссе, по которому мчится наша машина. И все чаще провалы во времени. Теперь они следуют друг за другом. Я пытаюсь заглянуть в прошлое, и этот путь похож на длинную дорогу в густой осенней ночи, где лишь изредка высвечивается случайным, очень тусклым фонариком маленький «пяточок». От «пяточка» до «пяточка» — интуиция, догадки, гипотезы...

«Нас опять увлекла любовь, ее холодное пламя, что неведомой птицы крыло — белый парус над нами!..» — поют девушки. Для всех нас так и останется в памяти наша экспедиция с этой песней. Песней о парусе, о романтике, которая неотделима от нашей профессии.

И ветер, не по-летнему холодный, врывается под откинутый

брезент передка вместе с синевой неба и пухлыми облачками. Холодный ветер! Мы кутаемся в ватники, как будто и впрямь эта машина везет нас в прошлое, к сверкающему обрыву последнего ледника...

2

Проснулся я от тесноты, зябкой сырости и легкой боготни над головой.

Утреннее солнце высветило крышу палатки. Она стала похожа на зелено-желтый экран, по которому двигались расплывчатые тени пичужек и четкие растопырки их лапок. Вокруг в зеленой полутьме присвистывали, всхрапывали и вздыхали мои сокурсники.

Приподняв разметавшегося во сне Колю, я выбрался из спального мешка и вылез из палатки. Сергей успел встать, разжечь костер, и над огнем уже фырчал и плевался чайник.

— Ну как? — спросил он, подняв голову от костра. — Здорово? Пойдешь умываться — захвати ведро. Ручей внизу...

Вечером, когда наспех ставили палатки — одну для девочек, другую для себя, — осмотреться было некогда. Мы сваливались в какие-то ямы, карабкались по буграм, вырубая колья.

Сейчас все было залито солнцем, сверкало в мелких капельках росы. От сохнувшего брезента палаток поднимался легкий дымок.

Место для лагеря Сергей выбрал идеальное.

Палатки встали на небольшой площадке между высоким валом маленького славянского городища и крутым, лесистым спуском к реке. За вершинами елей, едва достигавших нашей площадки, открывалась широкая долина Клязьмы. Владимир был не виден — его скрывали кусты. Сквозь редешущий молочный туман просвечивали пойменные луга, изгибы реки, зарастающие кривины стариц. За рекой начинался болотистый кустарник, озера, а дальше, вверх, по террасам правого берега, поднимались сосновые боры, переваливающие за высокий горизонт, на юг, к Мурому...

Налево, где долина расширялась и туман поднимался плотным куполом, постепенно закрывая солнце, стояли стога, а вдаль, среди кучи деревьев, светилась маленькая и стройная белая церковка.

— Церковь Покрова на Нерли, — перехватив мой взгляд,

подсказал Сергей. — Та самая!.. Вон там Боголюбово. Видишь купола и колокольню?

Крыши Боголюбова едва виднелись в густой зелени садов, а над всем этим, над холмами, садами, поднимались стены, купола и колокольня старинного монастыря.

— А где стоянка?

Сергей мотнул головой в сторону городища и поля, которое открывалось за валом.

— Рядышком. Метров двести, не больше! Позавтракаем, займемся лагерем, и как раз шеф придет. Он должен был вечером приехать, прямо в Боголюбово...

Осматриваясь, я подумал, что волею судьбы мы встали своим лагерем как раз в центре собственно Русской земли, у самых истоков ее истории, которая началась Владимиро-Суздальским княжеством. Москва возникла позже. Может быть, именно вот это маленькое городище, под защитой вала которого встали наши палатки, и было тем первым славянским поселением в здешних местах, из которого возникли и Владимир, и Боголюбово — резиденция владимирских князей, — и все остальное, вплоть до железной дороги, чьи рельсы блестили внизу сквозь ветви?

С полотенцем и мылом я отправился по краю сжатого поля, к ручью. Тропинка свернула через кусты вниз, к железнодорожному полотну и будке обходчика. В стороне, вырываясь из оврага, сверкал на солнце ручей.

Вода была холодна и приятна на вкус, как будто ручей собрал ее поутру с каждого листа, сверкающего росой. От нее ломило зубы, но оставалась свежесть.

— Доброе утро, Андрей! Что, все уже встали? — раздался за моей спиной характерный мягкий голос, отчетливо выговаривавший слова.

Я не заметил, как подошел Отто Николаевич Бадер — наш университетский профессор и начальник экспедиции.

В белом, без единого пятнышка, полотняном костюме, с фотоаппаратом и полевой сумкой через плечо, он показался мне помолодевшим за те сутки, что прошли после нашего прощания в Москве.

— Хорошо доехали? Без приключений? А я иду и думаю: какая красота! Неужели мальчики проспят все это? И поглядите, — он повернулся, — поглядите, как сверкает Покров на Нерли!

Пожимая его мягкую, но крепкую в пожатье руку, я поду-

мал, как меняется человек, встающий «на тропу»! С Бадером в экспедицию я выехал впервые. В Москве он был занят, озабочен, сдержан. И вот совсем другой человек! Серебро седины уже тронуло его виски, коротко подстриженные волосы, разделенные косым пробором, треугольную щеточку усов и клинышек бородки. Но пристальные зеленоватые глаза светились, лучились совсем юношеским задором и радостью. И даже морщины, обычно столь четкие в ярком свете, сейчас растягивались и разглаживались под утренним солнцем...

...После завтрака, после того как был намечен распорядок дня, назначены дежурные и экспедиционная жизнь вошла в обычную колею, мы отправились осматривать стоянку.

Когда Сергей, шедший впереди, остановился, нашим глазам открылся длинный и широкий карьер. Он был неглубок. Дно в ямах и рывинах, кое-где уже успели вырасти ромашки и васильки. С одной стороны над краем карьера тянулись поржавевшие рельсы, на которых стоял одинокий экскаватор.

— Итак, мы ждем ваших объяснений,— проговорил Бадер, обращаясь к Сергею.— Вы — первый исследователь этого памятника.

Сергей, собиравшийся прыгнуть вниз, остановился.

— Я, Отто Николаевич, вчера уже рассказывал в машине...

— Это ничего! Я не слышал вашего рассказа, Сережа. Считайте, что у нас просто продолжаются семинарские занятия!

— Значит, так,— начал Сергей.— Черный слой сверху — это наша. Ниже идут лессовидные суглинки, а в самом низу, у дна,— вон там, видите? — серенький слой. Это и есть слой стоянки...

Мы спустились в карьер и медленно шли вдоль его стенки, освещенной поднявшимся солнцем.

Здесь время становилось материальным. Его можно было пощупать, измерить протяженностью в метрах и сантиметрах.

Сверху, над обрывом стенки,— синева неба, желто-белые звезды ромашек. Под ними — черный слой, сантиметров сорок, не больше. Слой пахоты. Пахать начали славяне, те самые, что насыпали валы нашего городища. Это значит — тысяча лет назад. До их прихода на этом месте стоял такой же лес, что виден на другом берегу Клязьмы. Славяне его срубили, сожгли и провели первые борозды своей деревянной сохой.

Тысяча лет — много ли это?

Когда стоишь на обочине асфальтового шоссе, по которому несутся машины, и смотришь даже не на городище — на Бого-

любово или церковь Покрова, тысячелетие кажется огромным. Но вот здесь, на дне карьера, куда почти не долетает из-за кустов шум машин, тысяча лет сжимается в сорок сантиметров пашни. И эти сорок сантиметров так перемешаны, что при всем желании их нельзя разделить даже на века.

Тысяча лет становится просто современностью.

Так меняется масштаб, меняется «скорость» времени, хотя спускаешься не к древнейшим пластам планеты, не к центру Земли — всего лишь на четыре метра.

Эти четыре метра — рваные, растрескавшиеся под сегодняшним солнцем столбики темно-желтого суглинка. Итак, их верхняя граница — современность. Нижняя, вот эта серая, выделяющаяся полоса, — слой стоянки, «погребенная почва». Та древняя почва, по которой неторопливо брели стада тяжеловесных коматых мамонтов. Земля ледниковой эпохи. Что было здесь — лес? Скорее всего, тундра. Мокрая, холодная тундра, на которую пришел и поселился человек двадцать или тридцать тысяч лет назад. Пусть двадцать тысяч.

И это время сжато в четыре метра суглинков, из которых делают теперь кирпичи, черепицу, посуду, керамические трубы...

Сергей зачистил лопатой срез культурного слоя.

— Смотрите, друзья, — обращается к нам Бадер. — Обратите внимание на структуру этой древней почвы. Как разнится она от современной! Во-первых, она гораздо светлее. Все органические вещества — гумус, перегной — уже разложились в ней и вымыты водами в древности. Но их и тогда было мало! Ведь современная почва — это итог очень долгой деятельности растений, которые образуют ее структуру, превращают и накапливают химические вещества... На этой почве приледниковой области была очень чахлая растительность. А вот и след деятельности человека!..

В слое погребенной почвы видны черные крапинки угольков и белые — костей. Дальше угольков становится больше, почва темнеет, и в разрезе отчетливо видно темное пятно, похожее на остатки очажной ямки.

Под лопатой Сергея хрустит, раскалываясь, кремь. Нагнувшись, он вытаскивает красноватую широкую пластинку, на которой хорошо заметны сколы, сделанные рукой человека.

— Вот и первая находка, — говорит Отто Николаевич, осматривая пластину. — Хватит, хватит, Сережа! Остальное мы узна-

см из раскопок. Но вот что, мальчики: надо назвать памятник! У стоянки нет имени...

— Почему, Отто Николаевич? Добросельская стоянка! — протестует Сергей.

— А вам нравится такое название, Сережа? Ну что это — Добросельская? Кто знает, где находится Доброе село? И потом, уж очень обычно: Добросельская, Старосельская... Кстати, а как называется ручей, из которого вы берете воду?

— Сунгирь.

— Сунгирь? — переспрашивает Бадер. — А что, хорошее имя! Древнее и необычное... Давайте так и назовем — стоянка Сунгирь. Тем более, что в то время Сунгирь был не ручьем, а настоящей речкой. И стоянка находилась как раз на его берегу... Согласны?

Он берет из рук Сергея лопату и с силой вонзает в землю.

— Итак, мы начинаем раскопки стоянки Сунгирь! Сунгирцы, слушайте меня внимательно. Сегодня надо оборудовать лагерь, поставить все палатки, а главное — чтобы к вечеру раскоп был готов! Завтра утром начинаем раскопки...

К вечеру, когда Бадер вернулся из Владимира, по дну карьера протянулись первые ряды колышков, отмечающих квадраты раскопа. Идеальные квадраты, метр на метр. Бадер осмотрел их внимательно и придирчиво. Но даже по диагонали колышки стояли совершенно ровно!

Квадраты на раскопках нужны для удобства. Это не только границы раскапываемого участка, но и сетка координат. Сколько бы ни прошло лет после раскопок, любой археолог, взяв планы и собранную коллекцию вещей, по этим квадратам всегда может установить, где и что было найдено. Памятник остается жить в коллекциях, планах, чертежах, зарисовках, фотографиях и записях дневника.

...Копчался первый день Сунгиря. Полукругом возле вала белели палатки. Трещали сучья в костре. Внизу, над лугами, потянулись первые полосы ночного тумана. Под пальцами Жени пачинала оживать настраиваемая гитара.

И вдруг кто-то воскликнул:

— Смотрите, комета!

Яркая, огромная комета висела над валами городища. Ее длинный светящийся хвост, устремленный вверх, четко вырисовывался на фоне темневшего неба, где прокалывались первые звездочки.

В то лето об этой комете говорили по радио, писали в газе-

тах. Астрономы следили за ее движением уже около месяца. Но увидели мы ее только сейчас, когда уехали из города и остались лицом к лицу с природой. Наедине с прошлым. Ведь и сама комета возвращалась к солнцу из прошлого! Очень возможно, что точно так же, с чувством восхищения — или страха? — смотрели на эту странницу космоса обитатели маленького славянского городища, рядом с которым стоял наш лагерь. И несомненно, она появлялась здесь еще раньше, когда по этой земле ходили древние сунгиры...

Изменялась жизнь на Земле. Давно вымерли мамонты, сменились поколения людей, но комета все так же возникала через несколько веков в звездном небе, распуская свой длинный хвост из мерцающей космической пыли и газа. Пусть это была случайность. Но в тот вечер каждый из нас верил, что комета явилась специально отметить второе рождение Сунгира!

3

— А ведь будет когда-нибудь машина для раскопок! И слой разбирать, и находки классифицировать...

Лева фантазирует, потирая рукой уставшую поясницу.

— Как же! — подхватывает Сергей, ехидно скаля зубы. — Обязательно будет! А ты, Левушка, только сиди да кнопки нажимай!

— Зачем ему кнопки нажимать? — протестует Женя. — Если уж автоматика, так полная. Самоходный комбайн! Он и место выбирает, и раскоп закладывает, и находки вынимает, и шифрует их...

— И статьи пишет...

— А сзади уже сброшюрованный и переплетенный том «Материалов и исследований по археологии СССР» выходит! Только с издательством заранее договориться, чтобы очередной номер указывали...

Пятьдесят минут работы, десять минут отдыха. Но без таких разрядок и пятьдесят минут двумя часами казаться станут!

Нет, никогда такой машины не будет! Лопата — вот самый универсальный, самый точный и удивительный инструмент, та «машина времени», с которой можно делать чудеса на раскопе. Согнувшись или встав на колено, точными движениями снимаешь со всего квадрата тонкую земляную стружку. Тогда в

чистом срезе земли, в переплетении желтых, красновато-коричневых, черных прожилок, перед тобой открывается ее история.

Первые дни с непривычки болит спина. На ладонях вздуваются мозоли. Пальцы становятся толстыми, скрюченными, не хотят разгибаться.

У каждого по четыре квадрата. Мы растянулись цепочкой вдоль стенки карьера. Находок мало. Попадают отдельные косточки, кремневые отщепы. Скребок — уже событие!

Отмечает находки Сергей. Он ходит с папкой и планом вдоль раскопа, подбадривает нас шуточками, иногда сам берется за лопату.

— Сережа, отметь вот эту косточку! — просит Коля.

— Где? Ага... Ты смотри, рангифер тарандус — северный олень! — восхищено говорит Сергей, присаживаясь рядом. — Рог... Что же они дырочку сделать позабыли?

— А тебе как — сразу батон де командеман подать? Может, и статуэтку хочешь?

— Давай и статуэтку, мне не жалко!..

«Батон де командеман» в переводе с французского — «жезл военачальника». Родина палеолита — Франция. Вот почему археологи часто пользуются французскими названиями предметов.

«Жезл» — как раз такой вильчатый кусок рога с отверстием в развилке. Иногда на кости встречаются гравированные рисунки, иногда — рельефные изображения животных. Чтобы как-то объяснить назначение этих предметов, их назвали «жезлами» — знаками отличия воинов. В самом деле, уж очень тщательно и изящно они бывают украшены! Но это только одна из гипотез. По другим выходило, что «жезлы» употреблялись для вытягивания и размягчения сыромятных ремней, а те, что с резьбой и скульптурой, служили застегками на одежде. Сейчас большинство археологов считает, что «жезлы» — выпрямители. Приблизительно такими же орудиями пользовались еще недавно индейцы и народы Сибири, чтобы выпрямлять тонкие деревянные дренки стрел.

Но были ли стрелы в палеолите? Был ли известен охотникам ледниковой эпохи лук?

— Лук только в мезолите появился! — горячился Лева, когда завязался один из таких споров. — Это же всем известно!

— А как же законечники из Костенок? — наседали на него

Сергей и Женя. — Для дротиков? А вчерашний наконечник — что, тоже для дротика? Или, может быть, для копья еще?! Он же маленький!..

В один из первых дней раскопок на Сунгире произошло событие. Кремневые орудия редки, но все же в культурном слое иногда встречались резцы, которыми древние сунгирцы обрабатывали кость и дерево, скребки для шкур, ядрища-нуклеусы, с которых скалывали пластинки кремня... Но в этот раз под лопатой Коли Бадера появился наконечник.

Треугольной формы, вытянутый, с чуть вогнутым основанием, этот наконечник был сделан из тонкой, почти прозрачной пластинки розовато-желтого кремня. И как сделан! Тонкие, «струйчатые» следы на поверхности говорили, что этот наконечник делали долго и старательно. Мастер не оббивал камень, а снимал костяным отжимником только лишний материал.

Но важность этой находки заключалась не в ее красоте. Этот наконечник, который с равным успехом мог вооружать и легкое метательное копье — дротик, и длинную стрелу, помогал определить место Сунгира среди других, уже известных стоянок эпохи верхнего палеолита.

Подобные наконечники археологи находили на большом пространстве: начиная от Чехословакии, где были открыты памятники так называемой селетской культуры, до Костенок на Дону, под Воронежем. Возле села Костенки было открыто много палеолитических стоянок, о которых еще придется говорить.

Сергей сиял. Его предположение, что древние сунгирцы пришли на берега Клязьмы из района Костенок, получало новое подтверждение!

— Что ж, мальчики, теперь ищите статуетку! — сказал Отто Николаевич, когда восторги по поводу наконечника приутихли. — Сунгирь начинается хорошо...

Слой на первом раскопе подходил к концу. И так не богатый находками, он совсем обеднел. Все чаще мы поглядывали на середину карьера, где должен был начаться новый этап раскопок.

Справа от меня копал Юра, студент из Перми. Летом он работал у Бадера в Камской экспедиции, а теперь приехал сюда. Коренастый, молчаливый, с огромной шевелюрой, целое лето не видевшей ножниц парикмахера, Юра походил на буйвола, когда пытел и сопел от напряжения, стараясь скорее закончить свой

участок. Бедняга! До сих пор ему не попалося ни одного орудия — только кремневые отщепы.

Слева работал Коля Бадер — методично, не разгибаясь, рассматривая землю и старательно очищая ножом и кистью каждый маленький кусочек кости.

В очередной перерыв, когда Коля отправился к девочкам, работавшим на другом конце карьера, ко мне подошел Жева. По его непроницаемо-серьезному виду я почувствовал, что он что-то задумал. И не ошибся. Встретив мой недоуменный взгляд, Жева достал из кармана ржавый болт.

— Как думаешь, пойдет?

— Болт? Зачем?

— Разве не видишь, как Коля переживает, что находок мало?

Переживает. Что верно, то верно! Очень хочется Коле найти что-нибудь замечательное...

— Ну так как? Поможем ему?

Осторожно, стараясь не потревожить слой, мы вдавили болт в край Колиного квадрата и замаскировали его землей.

После перерыва на раскопе появился Отто Николаевич.

— Что, ребята, порадуем начальника находками? — обращается к нам Коля. Он весел и оживлен.

Мы работаем сосредоточенно, не поднимая головы, и только Сергей скалит зубы:

— Давай, давай, радуй!..

Коля нажимает на лопату. Внезапно он останавливается, берет нож, ложится на землю и начинает сосредоточенно что-то чистить.

— Папа, у меня, кажется, охра, — серьезно произносит Коля, когда Бадер-старший приближается к нам. — И еще что-то...

— Где?! Коля, — осторожно! — Отто Николаевич присаживается на корточки. — Действительно, как будто охра... Не трогай ножом!

Идут томительные минуты. Коля совсем распластался на земле. И вдруг растерянный возглас:

— Это что-то железное...

Он держит злополучный болт, и вид у него совсем убитый.

— Болт? — Начальник экспедиции тоже растерян. — Неужели здесь слой нарушен?

Жева склонился над лопатой и кусает губы от смеха.

Бадер быстро оглядывает нас, на его лице появляется чуть заметная улыбка, и он кладет болт в карман.

— Я думаю, Коля, этот болт не имеет никакого отношения к твоему квадрату. И знаешь, следи лучше за грунтом...

По раскопу катится громкий смех. Коля краснеет и зло отворачивается. Но сейчас же раздается голос Юры:

— Отто Николаевич! И у меня что-то...

— Два раза — это уже много, друзья! — с мягкой укоризной говорит нам Бадер. — Шутки хороши в меру.

— Да нет, у меня действительно какая-то красная кость... Я сломал немного...

В руках у Юры маленькие кусочки кости, на которых хорошо видны следы красной охры. Охра — земляная краска. Красная. Любимая краска людей древности. Они растирали ее с жиром и костным мозгом, раскрашивались ею сами и раскрашивали свои вещи. В древних погребениях — и в палеолите, и в более позднее время — порошком красной охры посыпали усопших. Кость от долгого времени пропитывалась краской и становилась совершенно красной. Отсюда пошло даже специальное название — «окрашенные костяки».

В земле, рядом с лопатой, виден какой-то обломок кости.

— Только ножом и кистью, только ножом и кистью! — как заклинание, повторяет Бадер, склоняясь над находкой.

Сейчас он сам взял бы нож и кисть — раскрыть, расчистить. Каждое неловкое движение Юры он переживает, как будто тот задевает не обломок чего-то неведомого, а нерв большого зуба.

Юра чистит. Почти не дыша, он отколупывает кончиком ножа кусочки глины. Едва дотрагиваясь жесткой щетиной кисти, очищает кость от крупинок земли.

Мы столпились вокруг. Пришел даже Коля, все еще мрачный и надутый.

Теперь уже видно, что в земле наклонно торчит тонкая костяная пластинка, розовая от охры.

— Осторожнее, осторожнее! — повторяет Отто Николаевич.

И вот...

— Лошадка! — ахает кто-то из девочек.

Да, лошадка. Маленькая, всего сантиметра четыре, не больше. Да и лошадка ли? Скорее, схема лошадки, вырезанная из пластинки мамонтового бивня. Горбоносая голова, прогнутая спина, отвислый живот. Два выступа, изображающие ноги. В одном из этих выступов, как раз в том, что так неосторожно задел Юра, — дырочка. Подвеска? Амулет?

Лошадка окрашена охрой в красновато-розовый цвет. По ее телу с обеих сторон идут линии ямок, как бы повторяющие схему фигурки. Целая. Совершенно целая... Если бы не этот удар лопатой!

Бадер держит лошадку на ладони и боится на нее дохнуть. За десятки тысячелетий в сырой глине кость стала мягкой и ломкой.

Юра ползает на коленях, перебирая рыхлую землю. Вот еще крупинка!

— Юра, смотрите лучше! всю землю перебрать, каждый комочек, но найти все, что откололось! Ах, ну разве можно быть таким неосторожным!..

К вечеру вся земля в этом месте просеяна сквозь решето, найдены все крупинки, отлетевшие от фигурки. Все.

— Это открытие, друзья! — подводит итог Бадер. — Сунгирь оправдывает ожидания.

— А есть еще такие лошадки? Вы не знаете, Отто Николаевич? — спрашивает Сергей, зарисовывая лошадку в дневник.

— Еще? — Отто Николаевич поворачивается всем телом к Сергею и несколько секунд молчит. — Нет. Знаю, что больше таких лошадок нет. И нет ничего похожего. Это что-то совершенно новое! Самое интересное — ее форма. Приглядитесь — ведь это схематичное изображение! А искусство палеолита, как вы знаете, очень реалистическое искусство. А мы знаем, что схематизм, условность возникают в искусстве на поздних этапах его развития...

— Может быть, это доказательство, что Сунгирь — поздняя стоянка? — осторожно предполагает Лева.

— А наконецник? А толщина суглинков, которые перекрывают слои? А кости мамонта и северных оленей? — набрасываются на Льва Сергей и Коля, не давая ответить Бадеру-старшему.

— Да, все это позволяет думать, что Сунгирь не так уж молод... — задумчиво произносит Бадер. — Но, мальчики! Ведь мы только начинаем раскопки! Так будем же терпеливы!..

4

Археология учит терпению. И настойчивости. Удачи кажутся случайными, но на самом деле они закономерны. Разве не случайностью было открытие этой стоянки? Но не случайно наш

руководитель начал раскопки с самого, казалось бы, «неперспективного» участка карьера, где находок было мало, а слой частично разрушен экскаватором. И выбор этот вознаграждал нас в первые же дни. А потом — потом начались будни.

На листьях орешника появились коричневые пятна. Четче выступили за Клязьмой темные сосновые боры. По кустарнику, по осинам и березам побежали россыпью золото и осенний багрянец. Стали холоднее ночи. По краю сжатого поля мы успели протоптать тропки — к ручью, в карьер, к реке.

Иногда сыпал дождь. Глина вспухала, скользила под ногами. Мы отсиживались в палатках, выправляя планы и разбирая находки.

Теперь у нас работали школьники из Суромны — большого села, раскинувшегося неподалеку на холмах, в верховьях Сунгиря. По утрам они приезжали в лагерь на велосипедах, разбирали лопаты, сложенные в хозяйственной палатке, и с песнями и гиканьем отправлялись впереди нас на раскопки.

Изменился и сам карьер. Между ям и рытвин появились ровные площадки раскопов. Среди колышков белели большие кости мамонта, чаще всего массивные обломки бедер, стоящие в земле вертикально или чуть наклонно. Каждую такую кость мы заносили на специальный план. Пытаясь уловить закономерность в их расположении, мы искали следы жилищ древних сунгирцев, но — увы! — кости лежали без всякого порядка. Правда, и так удалось многое узнать и выснить. Цель мелких каждодневных открытий постепенно вычерчивала нам контуры древней жизни.

Вот этот маленький кусочек кости — квадратик и ложбинка посредине. И еще один — в ложбинке сделана дырочка. Это — бусины, вырезанные каменным ножом или резцом из бивня мамонта. Почему их так много? Бадер говорит, что это тоже особенность Сунгиря.

И здесь же, в обломках, какие-то плоские лопаточки из бивня, стержни... Неподалеку — сломанные остря. Шилья? Булавки? Их делали из естественных «заготовок» — грифельных косточек диких лошадей. Сунгирцы охотились на дикую лошадь. Кстати, такие же дикие лошади — тарпаны — на территории Восточной Европы жили еще в начале прошлого века. На много тысячелетий они пережили и мамонтов, и диких быков, и северного оленя.

Но, кроме бусин и этих шильев, мы находили на Сунгире и другие украшения его древних обитателей. То, что на других

палеолитических стоянках было чрезвычайной редкостью, мы обнаруживали десятками: подвески из клыков песца с просверленным отверстием, плоские галечки серого сланца с дырочкой у края, раковины, совершившие долгий путь от южных морей... Все эти украшения составляли когда-то ожерелья, пришивались на одежду. Похоже было, что на стоянке жили удивительно богатые охотники. А одеваться приходилось тогда тепло.

Разбирая лопатами и ножами слой стоянки, мы могли видеть следы древних морозов, оставивших широкие и глубокие трещины, заполненные рыжим суглинком верхних слоев.

Сантиметр за сантиметром вглубь. Угольки. Косточки. Кремень. Бусинка. То здесь, то там мелькают ярко-красные крупинцы охры. Охры много. И опять непонятно: почему? Случайно просыпалась? Такими уж перьями они были? Или специально?

А вот слой темнеет, и проступает углистое пятно очага.

Очаг — ямка, в которой горел костер. Вероятнее всего, внутри шалаша, чума. Поскольку никаких следов долговременных и утепленных жилищ на Сунгире нет, остается думать, что сунгирцы жили здесь только летом, довольствуясь легкими, разборными вигвамами или чумами.

Кстати, этому есть еще одно подтверждение.

Уже потом, в Москве, определяя кости, собранные нами при раскопках, зоологи обратили внимание на любопытную деталь. Среди всех костей и черепов северных оленей не нашлось черепа со сброшенными рогами. Все они были или с крепкими, осенними рогами, или с молодыми, летними. Получалось, что на оленей сунгирцы охотились лишь летом и осенью. Может быть, весна, когда у оленей рождается потомство, а сами они сбрасывают рога, считалась заповедным для охоты временем? Но может быть, здесь просто не было охотников? В таком случае зимние жилища сунгирцев находились в ином месте. Не в теперешних ли Костенках?..

По костям удалось узнать о Сунгире много интересного, в первую очередь — представить тот животный мир, который окружал древнего человека.

В Сунгире водились волки, зайцы, бурые медведи, зубры, дикие лошади, песцы, из клыков которых сунгирцы делали украшения. Много было различных мелких зверей и птиц. Лемминги, пеструшки, чайки — самые характерные обитатели Заполярья. По этим находкам, по определенным видам деревьев — угольки в слое! — по зернам цветочной пыльцы, сохранившим-

ся в почве, оказалось возможным представить и общий вид этих мест.

На высоких берегах полноводной широкой реки, какой была тогда нынешняя Клязьма, расстилалась лесотундра: березники, больше похожие на кустарник, чем на лес, чахлые елочки, сосенки, низкий стланник полярной ивы — и все это на кочковатом болоте, среди бесчисленных ручьев, мелких и крупных озер. Холодный ветер с севера, с ледника, гонит над землей низкие, ровные облака. Клубятся туманы. По холмистой тундре неторопливо передвигаются тяжелые мамонты — мохнатые, черно-рыжие глыбы... И наш маленький ручеек, где мы берем воду, тогда был внушительным притоком огромной древней пра-Клязьмы.

Мир суровый, холодный, неудобный. Первозданный мир! У него — все в будущем. Но вряд ли об этом будущем думают обитатели маленького стойбища на берегу реки. Слишком тяжела и полна опасностей их настоящая жизнь. Жизнь — в борьбе за тепло и пищу.

Черное пятно кострища, в котором плясали язычки огня, — вот «центр» их жизни.

Но когда начинаешь расчищать очередной очаг, какое разочарование! Не ямка, а бугристая, расплывшаяся, как клякса, впадинка. Все перемешано, перекручено. И сам почвенный слой, если посмотреть на него в разрезе, кажется разорванным и мешаным, словно в древности его кто-то старательно сминал, растягивал, топтался по нему...

Однажды, потратив целый день, чтобы точно зарисовать все эти изгибы, я не выдержал и спросил Бадера, почему на Сунгире этот слой ведет себя не так, как все другие, лежащие ровно.

— Да, — сказал Бадер. — Это надо объяснить! В самом деле: почему бы он стал таким?

Казалось, Бадер размышлял, но я поймал его чуть лукавый и быстрый взгляд в мою сторону.

— Знаете что? Давайте позовем всех и подумаем, — предложил он внезапно. — Это будет интересно...

— Итак, — начал Отто Николаевич, когда собрались все «сунгирцы», — Андрей задал вопрос, который имеет самое непосредственное отношение к памятнику: почему культурный слой стоянки в таком состоянии?

— Склон здесь, вот и смешались слои, — проговорил Коля.

— Ну, склон небольшой, — тотчас же возразил Лева. — Уклон еле виден! Может, потоки какие-нибудь?

— А вы, Сережа?

— Отто Николаевич, я же знаю, что такое солифлюкция!

— Да, я забыл! Так вот, друзья, все это — типичные следы солифлюкции.

— Короче, здесь была вечная мерзлота, так, папа?

— Да, Коля. Вечная мерзлота. Об этом вы могли догадаться по тем огромным морозобойным трещинам, которые нам все время встречаются. Видите ли, друзья, такие явления хорошо изучены в районах Севера. Весной и летом солнце может прогреть только небольшой слой почвы. Он становится пластичным и стекает вниз по склону. Стекает — не совсем точно: сдвигается. И если это происходит достаточно долго, в течение тысячелетий, получается такая картина — все слои смешаны, сдвинуты. Такое явление и называется солифлюкцией. А вы обратили внимание, куда было направлено движение этого слоя?

— На восток, к Сунгирию, — раздалось несколько голосов.

— Да, в ту же самую сторону, куда и теперь обращен склон! Это значит, что за десятки тысяч лет формы окружающей местности мало изменились. А как вам кажется, когда происходила солифлюкция? До жизни на стоянке, во время или после?

Мнения разделились. Спорили все. Большинство считало, что человек поселился на этом месте в период наибольшего похолодания, когда валдайский последний ледник продвинулся к югу до своих крайних пределов, то есть когда уже была «вечная мерзлота». Мы же с Сергеем полагали, что это произошло несколько позднее, уже после того, как суровые зимы прогнали с берегов Сунгирия здешних обитателей.

Самый основательный аргумент был на нашей стороне: солифлюкционные изгибы слоя захватывали не только древнюю почву, но и лежащие над ней слои. Иначе говоря, после ухода людей со стоянки на поверхности почвы успел отложиться слой суглинков примерно в десять сантиметров, и только потом наступили «арктические» холода и начались солифлюкционные движения. Кстати, морозобойные трещины открывались в грунте при раскопках тоже значительно выше культурного слоя.

Максимум оледенения приходился на время, когда на Сунгире уже не было людей...

Бадер терпеливо выслушал все «за» и «против», по своему обыкновению помолчал и сказал, что он считает более пра-

выми нас с Сергеем, хотя в этом вопросе еще не все достаточно ясно...

Уже потом, когда я сам стал начальником экспедиции и вел самостоятельные раскопки, мне приходило на ум, что у Бадера мы учились не только археологии. Конечно, было и это: тщательная методика раскопок, умение читать слои земли, выбирать и проследживать самое основное, вести записки, планы, делать зарисовки, обрабатывать коллекции. Все это заполняло наш день до отказа. Фактически это и была «школа Бадера». Но заключалась она не только в этом.

Бадер был совершенно исключительным воспитателем. Именно воспитателем, старшим товарищем, интереснейшим собеседником и только потом — начальником экспедиции.

На первый взгляд казалось, что никакого начальства нет. Что все, включая раскопки, делается лишь по желанию каждого из нас. Бадер никогда не спорил. Он выслушивал человека до конца, выслушивал серьезно и озабоченно, а потом начинал задавать вопросы. В результате спорщик приходил к мысли, порой совершенно противоположной первоначальной, не догадываясь, что это и есть мнение Бадера. И торжествовал, что так легко ему удалось уговорить начальника экспедиции! Отто Николаевич учил нас не только археологии, но и вниманию к людям.

Кремень на Сунгире встречался самый различный — красный, желтый, коричневым, сероватым, в полоску. При взгляде на него становилось ясно, что сунгирцам приходилось довольствоваться, по большей части, валунным кремнем, тем, что лежал на поверхности. Будь поблизости коренные месторождения этого универсального материала древности, все орудия на стоянке были бы сделаны из кремня одного сорта и цвета. А вот охра у древних сунгирцев находилась совсем рядом. Выходы ее на поверхность геологи обнаружили неподалеку от Красного Села, по-видимому и получившего свое название от этой краски. Но я начал рассказывать о кремне и о кремневых орудиях. Как ни странно, всю технику обработки камня мы смогли изучить по костям мамонта, в частности по большим полушариям бедренных суставов.

Чтобы сделать орудие, мало было найти подходящий камень. Вероятно, чтобы вернуть валунному кремню пластичность, сунгирцы сначала его долго вымачивали в воде. Затем каменными же отбойниками они сбивали с кремневого валуна корку — шероховатую, неровную, сохранявшую частицы известняка и дру-

гих пород. Затем двумя резкими ударами на противоположных концах валуна делались две площадки. Так получалось ядрище — нуклеус. Теперь камень был подготовлен к работе.

Обычно считается, что в каменном веке человек «обкалывал» кремьнь. Это неверно. Древние мастера не раскалывали нуклеусы, а «отжимали» с них тонкие кремневые пластинки. Для этого были нужны «наковаленки» — вот эти крупные головки бедренных костей, на поверхности которых сохранились выбоины и порезы, занимавшие всю вершину полушария.

Укрепив нуклеус в выбоине кости, мастер упирался в край камня костяным стержнем отжимника. Усилие — и от нуклеуса отделяется тонкая кремневая пластинка. Стержень чуть сдвигается, и все повторяется сначала. Работа была тяжелой. Она требовала большой силы, споровки и точного расчета, чтобы от давления костяным стержнем отделилась пластинка нужной формы и нужных размеров. На отжимник давили и руками, и всей грудью. Именно так, на глазах европейцев, изготавливали свои каменные орудия папуасы, о которых рассказал Н. Н. Миклухо-Маклай, и американские индейцы, давшие наглядное представление ученым об образе жизни и технике людей каменного века.

Но кремневая пластинка — это еще не орудие, а «полуфабрикат». Окончательный вид ей придавала вторичная обработка — ретушь.

Поставив отщеп или пластину на ту же наковаленку, сунгирец, уже более тонким отжимником, принимался отщеплять, отдавливать мелкие кремневые чешуйки, «оформляя» край. Он делал его то более острым, то, наоборот, притуплял, чтобы нож или скребок можно было взять в руку и не порезать пальцы. Именно так получались тончайшие наконечники стрел, острия, скребки, различные проколки и сверла, которые попадались нам при раскопках...

Слой за слоем. Лопата, нож, кисть, снова лопата. От черенка, отполированного руками, пальцы становятся непослушными, не хотят разгибаться. Мельтешит перед глазами мозаика прослоек, крапинок, пятен и линий, в которых затерялись следы человека, ходившего по этой земле.

Выпрямисься — вокруг колышки, белые кости, листы бумаги с находками на каждом квадрате. Все те же кости и кремни, мимо которых раньше равнодушно проходил в музее. А теперь они, как буквы, складывающиеся в слова и фразы, рассказывают тебе о жизни, скрытой за плотной завесой времени.

В то лето неожиданно для себя я понял, что самое главное в археологии — не вещи, даже не сам процесс раскопок. Все это лишь средства, та лазейка, при помощи которой входим в мир бесчисленных вопросов и проблем. И лишь тогда появляется настоящий интерес, вопросов все больше, каждый ответ ведет тебя еще дальше, и незаметно это становится твоей жизнью...

5

Следующим летом я приехал на Сунгирь уже полноправным «сахемом», «вождем», как называли у Бадера начальников раскопок. После наших первых открытий на стоянке карьер под Владимиром получил мировую известность. Правда, второй год раскопок ничего существенно нового нам не принес: еще два наконечника дротиков (или стрел), много бусин, сланцевые подвески, костяные острия, «лопаточки» из бивня мамонта. Все это дополняло найденные раньше находки, позволяло сравнивать Сунгирь с другими стоянками, но не больше.

Это был последний сезон моей работы на Сунгире. Той же осенью я уехал в свою экспедицию — раскапывать неолитические стоянки на берегу Плещеева озера под Переславлем-Залесским. О последующих открытиях и находках, о все растущей славе Сунгирия я узнавал потом лишь из рассказов Бадера...

И вот в один из августовских дней 1964 года, вернувшись с раскопок на базу экспедиции, я увидел на столе письмо, написанное характерным бадеровским почерком. Письма этого я ждал уже несколько дней. Мне удалось найти интересную стоянку на Плещеевом озере, и я приглашал Бадера приехать после Сунгирия ко мне в Переславль. В ответном письме Бадер благодарил за приглашение, но сообщал, что приехать не может. «Дело в том, — писал он, — что на Сунгире событие: два палеолитических погребения, причем одно — богатейшее в Европе!»

Ай да Сунгирь! Я представил себе желтые, осыпавшиеся стенки карьера, ряды колышков, наши раскопы, Бадера, довольного и озабоченного; представил, с каким восторгом расчищают это погребение неизвестные мне молодые «сунгирцы», и в душе шевельнулась зависть, что я не был при открытии, не могу и сейчас туда поехать...

Осенью, когда мы встретились с Бадером, оказалось, что право на зависть у меня было большее, чем у кого-либо.

Погребение — оно оказалось все-таки одно — нашли всего в полутора метрах от края моего последнего раскопа. Если бы в то, второе, лето мы смогли достать бульдозер, срезать в этом месте стенку карьера и расширить раскоп, открытие свершилось бы на шесть лет раньше!

Все началось в 1963 году, за год до находки, когда на Сунгире собрались участники Международного симпозиума археологов и геологов. К приезду гостей Бадер не только расширил раскоп, но даже снял первые горизонты культурного слоя на новом участке. Гости с интересом рассматривали большое розовое пятно охры, хорошо проступившее на зачищенном слое. Его сфотографировали, обмерили, и кто-то даже пошутил, что под пятном обязательно должно быть погребение древнего сунгирца! После симпозиума раскоп был снова засыпан. Только на следующий год Бадер возобновил здесь работу и почти сразу же наткнулся на человеческий череп.

Череп расчистили, установили его несомненную связь с культурным слоем и отправили в Москву к известному антропологу М. М. Герасимову. Но пятно охры не исчезло! Оно шло вглубь, становилось ярче, а в грунте начали попадаться угольки и бусины.

— Представляете наше состояние? — рассказывал мне осенью Бадер. — Череп — следовательно, здесь было погребение! С одной стороны — удача, с другой — огорчение: погребение разрушено солифлюкцией. Сначала мы решили, что охра и бусины — от того же погребения. Но, как вы помните, солифлюкция не проникала глубже, чем на двадцать — тридцать сантиметров в слой. А тут и слой кончился, а пятно не исчезает! Невероятно! И только уже потом, когда вместо бесформенного красного пятна перед нами появилась длинная и узкая яма, мы поняли, что настоящее открытие еще впереди. Этот череп, первый, — не погребение, а, вероятнее всего, жертвоприношение погребенному! Ну, а теперь смотрите...

Бадер потушил свет в своем кабинете и включил проектор со вставленным цветным диапозитивом.

На экране возник расчищенный скелет, лежащий на спине в узкой длинной яме. И он сам, и все вокруг него было красным от охры. Большими пустыми глазами он смотрел на нас холодно и выжидающе.

— Видите? — Голос Бадера немного дрожал от волнения. — Вот здесь, на костях? Это все бусины! Такие же бусины, как те, что мы с вами находили еще в первый год раскопок! Только

здесь их — больше трех тысяч! Вот здесь, на руках, вдоль ног, на груди, на лбу... И все они лежат рядами.

Он замолчал, давая мне возможность рассмотреть диaposитив, потом произнес медленно и с расстановкой:

— Это — следы одежды. По-видимому, сунгирцы так же расшивали свою одежду костяными бусинами, как северные народы свой костюм — бисером. Теперь по расположению этих бусин можно довольно верно восстановить первый...— он с силой произнес это слово,— первый костюм человека эпохи палеолита! И даже шапочку, которая была у него на голове!

Да, это было открытие, о котором может только мечтать археолог! Ничего подобного не было найдено за всю историю археологии. И это — наш Сунгирь!

Не менее интересным оказался и сам скелет древнего сунгирца. М. М. Герасимов, который сделал потом его скульптурный портрет, и Г. Ф. Дебец, крупнейший из советских антропологов, изучая этот скелет, пришли к единодушному мнению, что при жизни своей сунгирец очень мало отличался от современных людей. Больше того. По своему сложению он мог служить идеальным типом человека вообще: стройный, высокий, мускулистый, с широкими плечами... К моменту смерти сунгирцу было около шестидесяти лет — возраст по-своему исключительный, если учесть, что в ту эпоху из-за болезней, сурового климата, тягот жизни и опасностей охоты у человека почти не было шансов дожить до старости.

Это была редчайшая удача! Погребения людей эпохи верхнего палеолита можно пересчитать по пальцам. И было ясно, что для Сунгирия эта находка — единственная. В тех случаях, когда покойника хоронили прямо на поселении, люди уходили и больше, как правило, на это место не возвращались. Разве что спустя очень долгое время, когда всякая память об этом событии исчезала. А Сунгирь, как мы знаем, был обитаем только однажды. И последующие несколько лет раскопок, казалось бы, подтвердили этот печальный прогноз.

Вспоминая время от времени Сунгирь, я не без грусти думал, что он окончательно ушел из моей жизни, вместе со всей ледниковой эпохой, столь далекой от меня и моего неолита.

Однако случилось иначе.

В те годы, приезжая в Ленинград, я неизменно оказывался в Музее антропологии и этнографии, самими ленинградцами обычно называемом «Кунсткамерой», так как музей этот помещается в здании Петровской кунсткамеры, неподалеку от первого Российского университета — в здании «Двенадцати коллегий».

Однажды, не успев переступить порог археологического отдела музея, я услышал решительный воэглас Киры, художницы отдела, обращенный не столько ко мне, сколько к Эмилю Фрадкину.

— Эмиль, голубчик! Покажи ему скорее фотографию! И пусть ответит, что это такое! Нет-нет, безо всяких отговорок!..

— Ну зачем же так сразу, Кирюша! Дай человеку отдышаться. Ведь в гости приехал! — возразил Фрадкин, научный сотрудник отдела и мой добрый приятель.

— Никакой пощады! Посмотрим, что скажет этот москвич! — настаивала раскрасневшаяся Кира.

Эмиль Евсеевич Фрадкин был маленьким, живым, немного суматошным человеком с худым лицом и длинными, почти ниспадающими на плечи волосами. Он вечно носился с какими-нибудь идеями. Порой мне казалось, что Эмиль воспринимал науку как бесчисленное количество кроссвордов, задач, психологических тестов, в которых следовало разобраться, продираясь сквозь дебри музейных коллекций и научных публикаций. Вероятно, поэтому Фрадкин так и не стал «узким» специалистом, облюбовавшим какой-либо один раздел археологии, а занимался то орнаментами на одежде, то сибирским неолитом, то историей кочевников, то раскопками ранних славян.

— Видишь ли, — говорил Эмиль, доставая большую фотографию из ящика стола, — тут у нас одна фотография объявилась. Что такое — не знаем. Вот и показываем всем — авось определят!

На фотографии был изображен мамонт. Вернее, это была фотография скульптуры, высеченной из крупной глыбы, как мне казалось, сероватого известняка. Короткое, массивное туловище с горбом спины отделялось от крутой головы неглубокой впадиной. Видимо, скульптор специально избегал всяких деталей, стремясь сообщить изображению лишь наиболее характерные черты животного, — не было ни бивней, ни шерсти, ни даже ног... И все-таки в том, что это именно мамонт, сомнений

не возникало. Поражала только монументальность, величественность статуи. Ничего подобного я не видел. Больше того, даже не слышал о такой крупной скульптуре.

— Ну как? — прервал Фрадкин затянувшееся молчание. — Не сможешь ли вспомнить, где это было найдено?

В растерянности я развел руками.

— Я же все-таки не специалист по палеолиту, Эмиль! Ты уж у кого-нибудь другого спроси...

— И никогда этой фигуры не видел? — допытывался он.

Я признался, что не видел. Никогда.

— И как только таких археологов терпят! — с уничтожающей иронией протянула Кира. — Двойки вам всем ставить надо, вот что!

— Ладно, не смущай человека! — вступился Эмиль. — Не ты первый, не ты последний! Все вы от этого зверя отрекаетесь. Даже палеолитчики! А ведь знаете его, и очень хорошо! Думаешь, он такой? — Эмиль привстал на цыпочки и потянулся пальцами вверх. — Смотри...

И, достав из стола спичечный коробок, Фрадкин положил мне на ладонь маленькую фигурку из серого мергеля.

Ну и ну! Честное слово, становилось стыдно! Действительно, фигурку эту знал каждый археолог. Вместе с другими подобными скульптурами она была найдена при раскопках Костенковской стоянки на Дону, той самой стоянки, что мы так часто вспоминали на Сунгире. А Костенки обязан знать каждый студент, сдающий курс археологии.

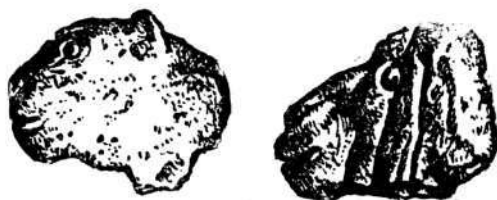
Что же произошло? Почему я ее не узнал? Потому ли, что на самом деле она миниатюрная, а здесь...

— Миниатюрная? — взорвался Эмиль. — Скажи пожалуйста, в чем ты видишь ее миниатюрность? Терминология у нас миниатюрная! Говорим, а сами не знаем что... Маленькая — значит, миниатюрная. Большая — значит, монументальная. А ведь это не к размерам относится, а к технике исполнения! Вот и привыкли все думать и писать, что палеолитическая скульптура — миниатюрная... А она самая что ни на есть монументальная!..

Фрадкин был прав. В самом деле, если увеличить любую миниатюру, так она и останется миниатюрой, с мелкой, тщательной проработкой всех деталей. Она никогда не станет монументальной, где главное — общий образ, то впечатление, которое производят на зрителя глыба камня или большое полотно...

— Понимаешь, в чем дело, — говорил уже более спокойно

Эмиль.— Из-за этой путаницы никто не подумал, что люди палеолита мыслили образами! Вспомни пещерные росписи. Рисуя, например, бизона, они не заботились о деталях тела, хотя, как всякие охотники, лучше нас разбирались в анатомии. Нет, образ создавался контуром, где цветные пятна выделяли лишь самое существенное! Все остальное домысливало воображение. Вспомни знаменитые фрески в пещере Альтамиры: там фигуры бизонов подсказаны естественными буграми и впадинами на своде. Художник увидел не бугры, а стадо бизонов! В Кастильо художник краской только дополнил сталагмитовый натек на



стене, превратив его в бизона, а в пещере Пеш-Мерль точно так же из сталагмита сделан мамонт...

— А как ты додумался до этого? — спросил я его с интересом.

— Никак! Несколько лет, да еще ни один раз в день, ходишь мимо витрины с костяными скульптурами, смотришь — вот что-то в голову и придет. А когда сфотографировал этого мамонта и увеличил... Но подожди, это не главное! Это только начало. Сейчас я принесу тебе костяную коллекцию, и ты увидишь...

Пока Фрадкин доставал из шкафов лотки с коллекциями, я припоминал, что мне было известно о Костенках.

Большое село Костенки находится на берегу Дона, недалеко от Воронежа. Когда-то здесь стоял маленький сторожевой городок Костенск. Название возникло не случайно. Из высоких обрывов дожди и весенние воды до сих пор вымывают множество костей мамонта. Кости эти еще Петр Первый показывал путешественнику Корнелию де Бруину и объяснял, что здесь лежат остатки слонов войска Александра Македонского. В конце XVIII века об этих костях писал ученый и путешественник Гмелин, а сто лет спустя ими всерьез заинтересовался натуралист и археолог И. С. Поляков. Он произвел небольшие раскопки в

Костенках и обнаружил в земле не только кости мамонта и других животных, но и много кремневых орудий.

Так произошло открытие одного из самых интересных и самых загадочных памятников эпохи палеолита. Самые большие и основательные раскопки в Костенках-I провел П. П. Ефименко — крупнейший советский исследователь первобытной эпохи. После его раскопок, пожалуй, не появилось ни одной работы о верхнем палеолите Восточной Европы, в которой не ссылались бы на Костенки-I.

Объясняется это двумя причинами.

Во-первых, П. П. Ефименко открыл в Костенках следы огромного жилища. В плане оно походило на вытянутый овал — 36 метров в длину и 16 метров в ширину, всего около 540 квадратных метров площади. По центру, по длинной оси жилища, Ефименко обнаружил девять очажных ям, а по краям — несколько ям-землянок. Если согласиться с исследователем, что все жилище сверху было покрыто шкурами мамонтов, которые поддерживались шестами, впечатление получается грандиозным!

И была вторая причина, не менее важная. На месте этого жилища археолог собрал при раскопках много кремневых орудий, а главное — коллекцию скульптур. Основное место в этой коллекции занимали фигурки женщин из кости мамонта и из мергеля, а затем — изображения различных животных. Если учесть, что находки скульптур на палеолитических стоянках крайне редки — вспомним хотя бы Сунгирь! — то казалось, что в Костенках собран целый музей первобытного искусства...

Вернулся Фрадков с двумя лотками, на которых лежали костенковские скульптуры. Он поставил их на стол, посмотрел на меня, потом на лотки, сжал руки и словно в растерянности сделал шаг назад.

— Даже не знаю, с чего начать! — покачал он головой. — Коллекция и все документы Костенок, как ты знаешь, хранятся у нас. Ну, и не надо говорить, что Ефименко опубликовал все изображения! Я начал смотреть, сверяясь с его книгой, и стал в тупик...

Эмиль нагнулся над лотком и подал мне конический кусочек мергеля.

— Что это такое, ты знаешь...

Да, эту вещь я знал. В моих руках был обломок так называемой «хвостатой женщины»: нижняя часть фигурки, у которой сзади что-то похожее на хвост. Специалисты считали, что это изображение набедренной повязки.



— Да? Вот и я так думал, пока...
Фрадкин повернул кусок мергеля горизонтально, наклонив его в сторону света.

— Погляди!

Передо мной оказалась волчья морда.

— Волк?..

— Да, волк! «Хвост» — всего лишь складка кожи у пасти. Вот тебе скула, глаз, даже чуть вздернутый нос... А женщина где, скажешь ты? Нет ее! И никогда не было...

На следующем камне столь же четко проступала морда медведя: массивная голова, чуть открытая пасть.

В книге же, которую пододвинул мне Фрадкин и где имелся рисунок этого камня, черным по белому было написано: «Обломок женской статуэтки». Еще один «обломок», но поворот — и хорошо видно туловище животного, скорее всего, лошади...

Признаться, я не находил слов от удивления. Что же произошло? Ведь не могли камни измениться или археологи быть такими слепыми?

— Теперь ты понимаешь, в какое положение я попал, когда все это увидел? — говорил Фрадкин. — Чем дальше я разбирал костяковскую коллекцию, тем меньше находил соответствий! Ефименко разделил все скульптуры на группы: целые фигурки, заготовки, изображения животных... А теперь большая часть обломков женских фигур оказывается головками или фигурками животных! Ты понимаешь, что это значит? Теперь же совершенно иначе приходится смотреть вообще на все палеолитическое искусство! До

сих пор считалось несомненным, что древние скульпторы из кости и камня вырезали изображения женщин. Объяснялось это тем, что эпоха палеолита — время матриархата, время «господства женщин». Поэтому и женские статуэтки считали изображениями родоначальниц, покровительниц рода и племени.

Однако за последние годы большинство археологов усомнилось в правильности такого предположения. В самом деле, трудно допустить, что в эпоху, когда вся жизнь племени зависела от успешной охоты, от труда мужчин, власть оказалась в руках



женщин. И только лишь потому, что женщина была хранительницей огня и домашнего очага? Потому, что она воспитывала детей? Но что могли сделать женщины и дети без мужчин, без мужской силы?

Так постепенно, в спорах и дискуссиях, археологи пришли к мысли, что матриархат — вовсе не время «господства женщин», как звучит точный перевод этого слова, а всего лишь счет родства по материнской (по женской), а не по мужской линии. Мужчина, женившись, переходил в род своей жены. Их дети наследовали родовое имя не отца, как сейчас, а матери. Такие порядки этнографы еще застали у некоторых народов мира. Отсюда был сделан неверный вывод, что подобный обычай — пережиток «господства женщин»...

Сомнение в правильности прежней теории возникло давно, еще в первых десятилетиях нашего века, когда, познакомившись с палеолитическими рисунками на стенах пещер, археологи не нашли там ни одного женского изображения. Единственным аргументом оставались скульптуры, и в первую очередь именно костяные. Теперь Фрадкин уничтожил и этот аргумент.

— А как отнеслись к твоему открытию другие археологи? — осторожно спросил я его.

— Примерно так же, как и ты. Сначала удивились, потом согласились. Даже сам Ефименко. Но это еще не все! Самое удивительное произошло дальше, когда я добрался до «резерва» коллекции...

Фрадкин пододвинул ко мне еще один лоток с камнями.

Если бы эти серые, невзрачные камешки лежали на дороге или на берегу ручья, никто на них и внимания не обратил бы. Камни как камни, самые обычные. И то, что почти сорок лет они хранились в шкафах музея, объяснялось отнюдь не их достоинствами. В музейной описи так и значилось: «резерв», сопровождающий материал.

П. П. Ефименко не выбросил ничего, что было найдено при раскопках Костенок-I. И этот «резерв» являл собой скопище случайных камней, в которых не было видно ни фигур, ни следов резца.

— Ага, — сказал Фрадкин, покопавшись, — вот этот. Видишь здесь что-нибудь? Ты не спеши, смотри внимательнее...

Поданный им кусочек мергеля, чуть удлиненный и изогнутый, походил на обыкновенную гальку. Как я ни всматривался

в его очертания, как ни вертел, то ставя стоймя, то кладя набок, ничего особенного в нем я не замечал.

— Неужели не видишь? — искренне изумился Эмиль и даже, как мне показалось, расстроился. — Но ведь это так ясно видно!..

Он взял у меня камень и чуть заслонил рукой свет от окна.

И произошло чудо. С камня глядел овальный глаз бизона! Да и сам камень, потеряв бесформенность, превратился в тяжелую голову со свисающими мясистыми губами, широкой линией лба и обрюзгшей нижней челюстью. Две близкие точки-впадинки обозначали ноздри, глаз был вырезан тонко и точно, передавая даже припухлости век. Ничего больше в камне не было тронуто. Скульптор «увидел» бизона в кусочке мергеля, и для его «оживления» оказалось достаточным только этого глаза и ноздрей, чтобы скульптура была готова.

— А теперь вот так!..

Поворот — и с тыльной стороны, где должна была начаться «грива» бизона, на меня смотрела столь же легко намеченная морда львицы...

Еще один камень. На этот раз я уже сам пытаюсь найти нужное освещение. Сначала возникает голова барана, потом появляется еще какая-то морда... Но главное изображение — голова медведя.

Третий, четвертый, пятый камень. Они похожи на картинке-головоломки, где в путанице линий надо отыскать охотника, его собаку и спрятавшуюся дичь...

— Видишь? Видишь? — спрашивал, радуясь, Фрадкин, подавая мне один камень за другим. — Не одно, не два — до восьми изображений на каждом камне!

Вот тонкая пластинка желтоватого мергеля. Положи на ладонь под ярким светом лампы — камешек. Поверни, чтобы тени упали на выемки, — и возникает лицо человека. Плавный изгиб высокого лба, длинный нос, почти касающийся толстых губ и маленького подбородка. Вместо глаз — небольшая выемка.

И тут же какие-то «лишние» линии, точки, детали. Кажется, что неумелый скульптор долго водил резцом по камню, не решаясь начать...

Но Фрадкин позорачивает пластинку «вверх ногами». И вот нос превращается в подбородок, губы остаются на своем месте, щель глаза — скула. Передо мной уже не человеческое лицо, а... морда льва!

Камни-перевертыши, камни-оборотни. Не случайно, а очень расчетливо древний скульптор использовал естественные неровности камня, «узнавал» в них те образы, которые он только подправлял своим резцом, очень точным и умелым. Суровые и грубые охотники на мамонтов и северных оленей обладали, оказывается, не только очень зорким глазом, но и неумной фантазией, предвосхитив за несколько десятков тысяч лет то увлечение «игрой природы», которое появляется сейчас на выставках в виде чуть подработанных корней, наростов на деревьях и таких же камней, напоминающих своими очертаниями то зверей, то птиц, то фигуры людей...

Но почему же всего этого не видели раньше? Ведь этот «резерв» просматривали десятки археологов! Опять оказалось предвзятое мнение?

— И вот что получается,— продолжал Эмиль, когда я смотрелся на эти удивительные камни.— Сложилось представление, что палеолитические художники создавали как бы «одноплановые» скульптуры. А стало быть, однозначные, однофигурные... И что сюжеты их сугубо реалистические, нечто вроде фотографии или зеркального отражения окружающего мира — по форме, конечно, не по содержанию! Вот и не могло никому прийти в голову, что на таком маленьком кусочке камня одновременно могут существовать и баран, и заяц, и птица, и волк, и лев...

— Но почему не предположить, что здесь работал не один скульптор? Или каждый кусочек камня использовался несколько раз? — попытался я у Фрадкина.

— Что же, сомнение справедливо! Допустить можно. Но тогда как ты объяснишь, почему для нового изображения они не брали новых камней?

Замечание вполне резонное. В самом деле: почему? Таких камней вокруг было сколько угодно! И потом, рассматривая все это, я не мог отделаться от ощущения, что, внося один образ за другой, художник приходил как бы в иступление от собственной фантазии, опьянялся каждой новой удачей и, поворачивая камень, находил всё новые и новые возможности, открывавшиеся ему в игре светотени...

— Задумался? — прервал Фрадкин мои размышления.— Давай думать вместе. Что получается? Во-первых, вопреки распространённому мнению, все эти скульптуры целые, а не обломки. Даже если на них изображены только части фигур — тело, голова,— так они и были задуманы. Во-вторых, вот эта «много-

образность». В любом случае художнику было важно передать самое существенное, самые характерные черты того, что он хотел изобразить. Согласен?

Логика Фрадкина казалась безупречной.

— Теперь смотри дальше. Искусство в первобытном обществе, как ты знаешь, было совсем не забавой, а очень важным делом, от которого, как верили эти люди, зависела и удача охоты, и победа над врагами, и благосостояние всего племени. Короче говоря, искусство было магией, колдовством, попыткой воздействовать на силы природы. Им могли заниматься только жрецы, колдуны. И каждая черта, каждый штрих на изображении был призван усилить магическое действие.

— Согласен. Но как объяснить многочисленность изображений? Фигурки животных можно объяснить охотничьей магией. Изображение людей — какими-то культами, связанными с человеком. Но ты же сам показывал, как человеческое лицо превращается в морду льва, а лев — в сову или зайца!..

Эмиль довольно потер руками.

— Так это же оборотни!

Хм, оборотни! Может быть, он прав?

— Иначе говоря, воплощенные в камне мифы? — уточнил я.

— Вот именно! Следы древнейшей мифологии людей палеолита!

Черт побери, в самом деле! Достаточно вспомнить хотя бы волшебные сказки, которыми мы все зачитывались в детстве. В этих сказках герои — и люди, и звери, и птицы. Больше того. С легкостью поистине волшебной герои сказок превращаются то в серого волка, то в сокола, то в медведя. Даже в камень.

А сказка, особенно волшебная, — почти всегда столь же древняя, как эти камни-перевертыши, которые обнаружил Фрадкин. Сказки пришли к нам из глубин тысячелетий. Для нас теперь они только «сказки», «сказываемые». На самом же деле это измененные, полузабытые древние мифы, объясняющие происхождение людей, зверей, птиц, земли и неба. И очень возможно, что в камнях, собранных при раскопках палеолитической стоянки, — прообразы «Иванов-царевичей», добывающих «смерть Кощееву», «жар-птицу» и многое другое.

Только для тех людей это не было сказкой. Для них эти камни действительно оживали. Уже много времени спустя, когда на смену домыслам пришло настоящее знание, древние мифы превратились в сказки.

Открытие Фрадкина поражало своей очевидностью и неожиданностью. На самом деле ничего неожиданного в нем не было. За Фрадкинскими подобные «полиэikonические» скульптуры стали находить и в других коллекциях, правда далеко не в таком количестве. Новое название Эмиль образовал от двух греческих слов: «поли» — много, «эйкон» — образ, «многообразные» скульптуры. Оказалось, что к этому приему, показывающему динамику превращений в статичном изображении, прибегали многие народы. В первую очередь, таким «многообразием» отличались древние мексиканские статуи, изображения тотемов, мифических родоначальников американских индейцев, и многие африканские скульптуры.

Это обнаруживалось везде, где живы были древние мифы, в которых герои проходили через ряд воплощений: вместо действия, развернутого во времени и пространстве, как бы отдельные «кадры», совмещенные друг с другом.

Я напомнил Эмилю, что подобное открытие произошло недавно при раскопках на Чукотке древних эскимосских могильников.

Большинство своих орудий древние эскимосы выделывали из моржовой кости, подобно тому, как люди палеолита — из бивня мамонта. Части составных гарпунов, упоры колье-металок, рукоятки ножей и скребков, различные подвески, бляшки, снеговые очки и прочие предметы были украшены сложной резьбой и скульптурными изображениями.

Надо сказать, что древние эскимосы сохранили в своем быту очень много черт, позволяющих сравнивать их с людьми палеолита и находить в их жизни разгадки многих возникающих при раскопках вопросов. В первую очередь именно с эскимосским костюмом пытались археологи сравнивать одежду на палеолитических фигурках со стоянок Мальта и Буреть под Иркутском. С эскимосским и североамериканским костюмом назалась сложней одежда древнего суи-гирца, открытого Бадером.

Так вот, на костяной втулке одного древнеэскимосского гарпуна оказался вырезан кит, из пасти которого выглядывает голова человека. Распластанная человеческая фигура вырезана и на спине кита. Что это — эскимосский вариант библейской легенды об Ионе или всего лишь причуда художника? Сюжет казался загадочным, пока не догадались обратиться к эскимосским

сказкам. В одной из них, записанной уже в начале нашего века, содержался рассказ о «человеке, который рожден китом».

Этот охотник мог по желанию превращаться в кита, чтобы пригонять стадо к берегу. Затем он снова превращался в человека и охотника. Отзвук древнего мифа, в котором объяснялось происхождение эскимосов от китов, дошел до наших дней в виде сказки. А изображению, которое нашли археологи, больше двух тысяч лет!

— Вот-вот! — обрадовался Фрадкин. — Я же об этом и говорю! А кита и охотника я видел — мне их Дорриан Сергеев показывал. Он их и нашел на Чукотке...

— Но почему именно в Костенках такое количество скульптур? Почему ни на одной другой стоянке, ни в одном жилище археологи ничего подобного не находили?

Прищурившись, Эмиль посмотрел на меня.

— А ты уверен, что в Костенках было жилище?

Я вспомнил, как старательно искали мы на Сунгире хотя бы малейшие признаки человеческого жилья, как присматривались к остаткам кострищ — не вытянутся ли они в одну линию, как на Костенках? Ведь если кремневые орудия похожи, то это сходство должно распространяться и дальше?!

— Но ведь так считает большинство?!

— Большинство так уже не считает, — сказал он. — Хотя большинство, как известно, ошибается чаще, чем меньшинство! А то, что на Костенковской стоянке открыто вовсе не жилище, — в этом теперь многие уверены...

— Из-за такого обилия скульптур?

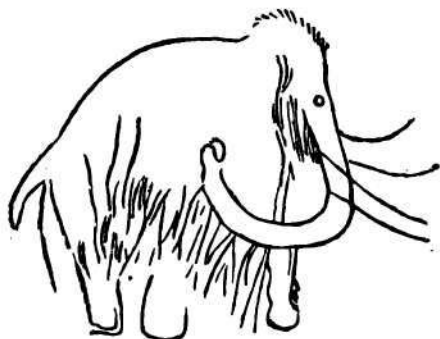
— Не только, хотя это тоже важный аргумент! Как тебе известно, вопросами палеолитического жилища занимался специально Пидопличко. И, по-моему, он собрал очень веские доказательства против Ефименко...

Еще перед войной, раскапывая стоянки верхнего палеолита, украинские археологи обнаружили остатки жилищ, которые никак не походили на костенковские. Судя по их остаткам, люди палеолита строили жилища двух типов. Летнее жилище, временное, напоминало северный чум или вигвам: легкая основа из тонких шестов, вроде шалаша, покрытая сверху шкурами. В разобранном виде его легко могли нести два человека. И, конечно, после его разборки на земле оставался лишь след от костра да разве еще песколько камней, которыми придавливали полы

покрытия. Вероятнее всего, такие жилища были и на Сунгире. Ведь даже по костям животных палеонтологи определили, что на этом месте сунгирцы жили только в летнее время!

Гораздо более интересным был второй тип жилища — зимнего и долговременного. По своей конструкции эти жилища повторяли (за исключением самого материала) конструкцию чукотской или эскимосской яранги.

По кругу в землю вкапывались черепа мамонтов, затылочной костью вниз. С наружной стороны их прикрывали лопатками и челюстями. Получалось прочное основание стенки с зава-



линой из утрамбованной глины. Затем в черепа вставляли тонкие песты и бивни. Естественная изогнутость бивня образовывала полукруглый свод хижины. Сверху свод покрывали шкурами, придавливая их тоже бивнями и тяжелыми костями. Получалось надежное теплое жилье. Размеры его невелики: обычно 8—12 квадратных метров. Такие небольшие жилища с одним очагом археологи нашли в Гонцах, Добраничеве, Мезине, Межиричах и на Кирилловской улице в Киеве. Они настолько повторяли размеры и конструкцию друг друга, что казалось, были выстроены по одному «типовому проекту». А в Костенках — 540 квадратных метров! Почему такое большое?

Напрашивался естественный вывод: площадка в Костенках не жилище, а что-то иное... Но что именно?

— Такие же сомнения были и у меня, — разгадал Эмиль ход моих мыслей. — Вот поэтому я решил подойти к загадке с самого начала. Ефименко в ножки надо кланяться, что он не только

все собрал, но и чрезвычайно тщательно все в полевых дневниках описал! Мне нужно было увидеть, как лежали эти скульптуры в момент их находки. И вот что получилось...

С этими словами Фрадкин расстелил на полу большой план костенковского «жилища», перекрытого сеткой квадратов. Здесь были и очаги, и три маленькие полуземлянки, две из которых располагались на средней линии, почти друг против друга. На плане в натуральную величину были нарисованы все скульптуры из камня и кости. Конечно, размеры квадратов были значительно уменьшены, но масштаб оказался достаточным, чтобы представить себе расположение и соотношение фигурок.

Первое, что бросалось в глаза, была их «парность». Мамонты образовывали три парные группы, двумя парами лежали львы. Да и другие статуэтки заметно группировались на смежных квадратах. Но вот что интересно: большая часть скульптур, в том числе и мамонты, найдены были в полуземлянках!

Эмил присел на корточки над планом.

— Смотри, что получилось! Вот группы, — показал он, — где изображения одних только животных. Есть и такие, где вместе с животными лежат изображения людей. А теперь скажи: знаешь ли ты хоть одну стоянку, где бы чуть ли не основными находками были произведения искусства?

— Нет, не знаю. Да ведь это возможно только в одном случае — в пещерах, в святилищах... Постой! Не хочешь ли ты сказать...

— ...что это святилище? Именно это и хочу!

— Но ведь здесь орудия, очаги...

— А почему в святилище не должно быть очагов? Наоборот, обязательно должны быть! А орудия... Ты посмотри, какие именно орудия здесь найдены!

Надо признаться, что набор орудий, найденный на Костенковской стоянке, оказался довольно специфическим. В большинстве своем это были кремневые резцы, острия, ножевидные пластинки с одним притупленным, а другим приостренным краем, скребочки.

— Именно те орудия, которыми, по заключению специалистов, и были вырезаны все эти скульптуры! И такие «наборы» орудий палеолитического скульптора встречены как раз в полуземлянках! Кстати, насколько можно судить по описаниям и рисункам Ефименко, даже конструкции сводов этих полуземлянок совпадают с конструкцией постоянных палеолитических жилищ! Конечно, они меньше по размеру, но ведь жила в них

не семья, а... — тут Эмиль перешел даже на шепот, — а колдуны, жрецы!

— Знаешь, все-таки... — я с трудом подыскивал слова сомнения, — ведь не знаем мы еще ни одного жилища колдуна!

— Ну, это ты просто у себя в неолите не находил! — отмахнулся Фрадкий. — И я так думал. А когда пришлось заняться этим всерьез, то оказалось, что они давно известны.

— Где же, например?

Эмиль начал перечислять.

В конце 20-х годов Н. С. Замятнин раскопал в селе Гагарино небольшое круглое жилище, относящееся к той же эпохе, что и Костенки. В этой полужемлянке он нашел девять превосходных женских статуэток из бивня мамонта. Восемь стояло вдоль стенки, а одна — возле небольшой ямки, где находились не менее любопытные вещи: 30 кремневых орудий, несколько клыков песка с отверстиями, вроде тех, что мы встречали на Сунгире, костяная игла и игольник. Наконец, здесь же лежал хвост мамонта — конечно, не сам хвост, а только позвонки, расположенные в анатомическом порядке. Но Замятнин раскопал только часть жилища. Совсем недавно его работы продолжил Л. М. Тарасов и нашел там еще множество вещей: кремневые резцы, ножевидные пластинки, обломки костяных игл, подвески из клыков песка. И — что особенно важно — две женские фигурки, еще до конца не вырезанные из одного куска бивня.

Столь же интересные находки были сделаны М. М. Герасимовым при раскопках пятого жилища на стоянке Мальта под Иркутском. Площадь его тоже невелика — около 8 квадратных метров. Стены сложены из массивных плит известняка. Внутри находился очаг. В самом жилище ученый нашел кремневые ножи, резцы, скребки, пластинки, костяной кинжал, стружки от бивня, бусы и пуговицы. И скульптуры, изображавшие птиц — гагару и лебедя.

Похожее жилище, фундаментом которому служили черепа мамонта, было открыто в Мезине, на правом берегу Десны. От других мезинских жилищ оно отличалось тем, что внутри, в одном из углов, находились лопатки и челюсти мамонта, украшенные геометрическими узорами из полос красной охры...

— Довольно, убедил! — взмолился я, когда Эмиль обрушил на меня поток этих сведений.

— Нет, подожди! Самое интересное еще впереди! Ведь тебе известна стоянка Дольни Вестоницы в Чехословакии? Да? Так

вот. Эта стоянка относится к так называемой селетской культуре, с которой связана культура Костенок и Сулгирия. Там при раскопках археологи нашли тоже небольшую и тоже круглую землянку. И большую ее часть занимала — что бы ты думал? — печь! Большая печь, сложенная из камней. Скажешь: зачем печь, когда в других землянках очаги? Вот то-то и оно! В этой печи первобытный скульптор-колдун обжигал фигурки из глины! Почти такие же фигурки, как в Костенках вырезали из мергеля!..

— Подожди! Но в Костенках культурный слой...

— А где он? — перебил меня Фрадкин. — Он очень тонкий! Скорее, то, что Пидоплячко называл «топтальцем» — натопанное место, где постоянно ходили... К тому же культурный слой, как правило, накапливается из отбросов за пределами жилища. А здесь за оградой — ограда была! — ни кремней, ни скульптур. И эти небольшие полуземлянки — тоже жилища колдунов-скульпторов! Недаром в них найдены наборы необходимых инструментов и заготовки материала, не говоря уж о самих фигурках...

Возразить было нечего. Тем более, что в этих же землянках Ефименко обнаружил лапы пещерного льва, волка и череп овцебыка, — в прошлом, вероятно, это была целая голова, необходимая для церемоний, так же как хвост мамонта в Гагаринском жилище...

Да, в Костенках раскопали отнюдь не «большой дом». Четкая граница культурного слоя на площадке — свидетельство ограды вокруг. В ограде горели костры. Друг против друга располагались жилища колдунов. Была еще третья полуземлянка, значительно большая, чем эти две. Вероятно, она была необходима для тех церемоний, тех ритуальных действий, которые происходили в этой ограде. Мы можем только догадываться, что это были за действия: какие-то обряды, связанные с удачной охотой, с жизнью племени, как, например, инициации.

Инициация — посвящение. Под этим обычно подразумевается вся совокупность сложных, порой мучительных испытаний, пройдя которые юноша становился полноправным членом рода и племени — мужчиной, бойцом и охотником. Но подобно тому, как посвящению в рыцари средневековья предшествовали настоящие бои и победы на турнирах, как посвящению в высокое звание врача предшествует самостоятельное лечение больных, а званию ученого — научные работы, инициации точно так же включали в себя испытания на смелость и выносливость, на

мужество и самообладание, знание приемов охоты и повадок диких зверей. И еще знание мифов и преданий своего племени.

Глубокие подземелья пещер с палеолитическими рисунками по стенам — как раз такие святилища. В пещерах Тюк д'Одубер, Нио и в других пещерах Франции на глине пола сохранились отпечатки ног палеолитического человека. По этим следам можно видеть, как двигались в танце процессии юношей и девушек, как расходились они и снова соединялись перед скульптурами и рисунками животных... Для чего создавались эти изображения, рассказали сами художники. На многих рисунках можно увидеть нарисованные раны с сочащейся кровью, изображения влившихся в тело дротиков. Бизоны, львы и медведи, вылепленные из глины с потрясающим реализмом, буквально истыканы ударами копий и дротиков. Победа над изображением должна была обеспечить победу над живым зверем в реальной охоте. Эти магические действия совершались обязательно вдали от глаз непосвященных. Насколько важным считалось сохранение тайны, видно из того, что путь в такие первобытные святилища ведет исследователя по запутанному лабиринту ходов: ему приходится переплывать подземные реки и озера, иногда нырять в темноту, в ледяную воду подземных потоков.

На Русской равнине не было пещер. Поэтому площадку для ритуальных действий приходилось прятать за высокой, надежной изгородью, вход в которую охраняли вот эти самые скульпторы-колдуны.

Может быть, и тот сунгирец, которого раскопал Бадер, тоже был одним из таких колдунов?

Вспомнив о Сунгире, я не мог тогда предположить, что вскоре снова попаду в места, где начиналось мое знакомство с палеолитом.

8

Удивительные повороты происходят в жизни! Начав эту главу, я собирался закончить ее рассказом об открытии Фрадкина. Мне оставалось дописать несколько последних страниц, когда неожиданно приехал знакомый археолог.

— Ты уже слышал про Сунгирь? — начал он с порога. — Бадер нашел новое погребение! Поезжай! Там еще идет работа...

Подробностей он не знал. Слухи были слишком противоречивы, но все сходилось на одном — это сенсация.

...И вот я снова еду на Сунгирь, через двенадцать лет после того, как впервые услышал это название. Ехал и вспоминал прошедшие годы, своих товарищей, которые давно стали учеными, сделали немало важных и интересных открытий. Но все равно, когда заходил разговор о том, первом лете, когда мы начинали раскопки Сунгирия, воспоминания становились живее и ярче.

Стояла поздняя осень, последние дни октября. Уже облетела листва на деревьях, ветер был холодный, но он разогнал серые сплошные тучи, и над Клязьмой, над холмами Боголюбова и такой знакомой церковью Покрова, видневшейся вдалеке, сверкало голубое осеннее небо. Прежде ровное поле между кирпичным заводом и стоянкой теперь было взрыто карьерами, ямами, и только на обочине, возле дороги, невесть как сохранившиеся в холода, голубели сунгирские васильки.

А вот и наш карьер! Я чуть было не прошел мимо, так он зарос бурьяном, и только небольшой деревянный вагончик на колесах, из трубы которого вился дымок, позволил мне догадаться, что раскоп где-то рядом.

Не рядом — почти под ногами. Под коричневым клеенчатым навесом, растянутым на шестах, я увидел легкий складной столик с чертежами и фотоаппаратами. Рядом с ним стоял Бадер. В плаще, ватянутаю поверх шубы, в теплых ботинках, в перчатках, он стоял полуобернувшись ко мне, то ли размышляя, то ли рассматривая что-то в глубине навеса.

Я задержался на краю раскопа, чтобы еще продлить странное, несколько тревожное ощущение пульсирующего времени, когда отсчет тысячелетий вдруг перебивается отсчетом годов, а потом кажется, что не было этих лет, ты просто отлучился на десять—двадцать минут — может быть, за ножом или кистью в лагерь бегал — и сейчас возвращаешься на свое рабочее место...

Подошвы скользят по вырубленным в глине ступеням, я чуть не падаю и съезжаю вниз.

Бадер поворачивается, с минуту вглядывается в меня.

— Андрей? Вот неожиданность! Как вы узнали? Ведь я никому не велел говорить!..

Я объясняю. Он качает головой.

— Уже вся Москва, говорите, знает? Ну, совсем работать

нельзя будет! Нет, к вам это не относится. Ведь вы сунгирец, один из первых...

Я объясняю, что приехал не только посмотреть. Если есть работа...

— Ну что вы! Видите, у меня и рабочих уже никого нет! Все сделано, расчищено. Теперь жду реставраторов и художников, чтобы начать разборку. Пойдите! Ведь мы с вами говорим, а вы ничего не видели!

Под навесом в глубине раскопа из земли вырезан «стол» — узкий, длинный. На нем, как в музейной витрине, очищенные даже от мелких крупинок земли, лежат два красных скелета — головами друг к другу, как те фигурки из Гагаринского жилища, вырезанные из одного куска бивня.

Вот оно, то сокровище, о котором мы так мечтали двенадцать лет назад! Вторая — или уже третья, четвертая? — сенсация Сунгиря! Я не могу даже как следует рассмотреть погребение, у меня с непривычки рябит в глазах, и я засыпаю Бадера вопросами:

— Отто Николаевич, а почему они такие маленькие? Подростки? Ведь это второй раскоп? И здесь где-то было и первое погребение? Как нашли? И опять масса бусин?

Бадер, помолодевший, радостный, совсем такой же, как в прежние годы, уже готов отвечать, но спохватывается, смотрит на часы и серьежает.

— Андрей, давайте разговаривать потом! Вечером, позже, — сколько угодно! Сейчас должны приехать геологи из Москвы, завтра — археологи-ленинградцы... А столько еще надо успеть сделать! Пока смотрите...

Это — мальчики. Два скелета, головы вместе. Сначала мне показалось, что они усыпаны крупинками розовой земли. Но это бусины. Сотни, тысячи просверленных овальных и прямоугольных бусин покрывали кости. Они лежат рядами поперек груди, вдоль костей рук и ног, как и у первого скелета. Несколькими рядами они охватывают запястья и щиколотки, как браслеты. А рядом с ними, на руках, — настоящие браслеты из пластинок бивня, по два, по три сразу.

Бадер склонился с планом над костяками. В его руках цветные карандаши — синий, желтый, зеленый. На плане бусины нанесены простым карандашом. Он вглядывается в их положение на скелетах, закрашивает рисунки то одним, то другим цветом, в зависимости от того, как они лежат — выше или ниже, и постепенно становится видно, что одноцветные цепочки

бусия повторяют очертания одежды, на которой они были нашиты.

Самые крупные бусины сверху. Под ними ряды более мелких. Разные бусины — разные части костюма. Вот эта цепочка бусин идет вдоль руки: она была нашита на рукав и сохранила его очертания. Такие же «цепочки» вдоль ног — своеобразные «лампасы», которыми расшиты штаны. Сверху их перехватывают ряды крупных бусин — следы каких-то поясков. А здесь, на черепе, мелкие бусины лежат рядами, и от них спускаются другие «цепочки». Это остатки шапочки. Выше бусин, на темени, в определенном порядке — концами в стороны и вниз — лежат просверленные клыки песка.

Так вот почему мы и раньше находили на Сунгире в таком количестве бусины и клыки-подвески! Я уже не помню, кто из нас рисовал воображаемый портрет сунгирца, и невольно приходит мысль: как мало мы знаем и по каким крупинкам приходится это знание собирать!..

Бусины, «шапочка», браслеты — это было и в первом погребении. Оно представлялось совершенно исключительным по своему богатству. Но здесь еще и перстни: целиком вырезанные из бивня, тонкие, изящные, по два-три на пальце.

На груди у каждого погребенного — длинные острые булавки. А мы-то принимали их за обломки пилев!

Я не выдерживаю молчания. Бадер приостановился, чтобы отдохнуть, и я забрасываю его вопросами. Он и доволен и доволен: работа не ждет, но кто из археологов откажется поделиться радостью такого открытия?

— Вы знаете, каким событием для науки стал первый сунгирец. Так вот, теперь мы можем уже уверенно говорить о «сунгирском костюме». Он был почти однотипен. Смотрите...

Но смотреть пришлось в другую сторону.

У края карьера остановился автобус. Затем другой. Вереница людей спускается по скользким ступеням в раскоп, и Бадер со вздохом складывает план. Приехали московские геологи.

— И вот так, Андрей, уже вторую неделю! — со смешанным чувством досады и гордости говорит мой старый учитель и идет встречать гостей.

...Сунгирь, Сунгирь! Пока раздавались восклицания восторга и удивления, я отправился бродить по заросшему карьере и, собираясь на многолетние отвалы земли из раскопов, пытался

найти остатки наших, первых... Напрасное дело! За эти годы на Сунгире раскопали больше трех тысяч квадратных метров площади. Пожалуй, ни одна палеолитическая стоянка не может похвастаться таким размахом работ. Казалось, все изучено, все открыто, кончается культурный слой... Но вот еще один сезон раскопок — и все начинается сначала...

Вернулся я, когда Бадер уже рассказывал.

— ...Мы ждали это погребение. Первое, найденное в 1964 году, находилось всего в нескольких метрах от того, что вы видите сейчас. В этом году мы начали с участков, окружавших первое погребение. И выяснилась любопытная картина...

Все это я представляю: как шел сначала пустой суглинок, как потом появились первые косточки, пятна, клянья от морозобойных трещин... Место первого погребения окружали остатки нескольких костров и яма. В ней лежали роговые мотыжки, служившие древним сунгирцам вместо лопат. Они делали их из трубчатых костей лошади и бизонов. Вместе с мотыжками лежали комки охры, два куса бивня и... хвост пса.

Так, может быть, действительно древние сунгирцы похоронили здесь своего колдуна?!

— Когда мы начали разбирать культурный слой в том месте, где вы видите сейчас это двойное захоронение, — рассказывал Бадер, — мы наткнулись на человеческий череп, сильно поврежденный солифлюкцией. Вокруг него лежали бусинки, клыки пса, колечко-перстень, две каменные подвески и кремневый наконечник. Ну что ж! Конечно, было очень обидно, что от погребения так мало осталось! Но я помнил, что над первым погребением точно так же лежал человеческий череп. Может быть, и здесь так? Действительно, чем глубже становился наш раскоп, тем больше попадалось пятен и полос охры в почве...

Полтора месяца, с 18 августа до 3 октября, сантиметр за сантиметром ножами снимали слой. Не лопатами, не совками — ножами. Иногда переходили на специально выструганные лопаточки, узкие, не шире плакатного пера: на одной стороне — лопаточка, на другой — острие для рыхления земли. Чтобы ничего не нарушить, чтобы не повредить бусину или кость, если на нее наткнешься...

— И вот... — Голос Бадера стал прерывист. Я видел, что он снова переживает все, о чем рассказывает. — Это было третьего октября. Фактически мы достигли уровня погребения — яма была хорошо видна. На следующий день при расчистке возле одной

из ее стенок мы наткнулись на кость. Бедренная кость! Нога? Значит, вторая нога возле другой стенки? Копаем. Есть нога — толстая! Но они лежат слишком далеко друг от друга... Великан? Нет, таких великанов не бывает! Копаем дальше, в конце ямы. Еще две ноги! На этот раз стопы, осыпанные бусинами... Что за черт! Два покойника? Тогда один должен лежать между ног другого?.. Начинаем расчищать другой конец ямы — и здесь пара ног! Три пары ног — это уж слишком! Расчищаем второе бедро, которое нашли вслед за первым, и видим, что это не бедро, а прямая и гладкая кость. Палица из бивня мамонта? Вот интересно! Таких палиц еще никто не находил. Чистим дальше, дальше... Позвольте, у мамонта таких длинных костей не бывает! Это не палица! Но что же? И вот, — Бадер делает эффектную паузу, — перед вами громадное копые, два метра сорок два сантиметра!..

Трудно рассказывать о переживаниях, о разговорах и восторгах. Об этом не пишут в научных статьях и отчетах, но именно эта атмосфера, которая окружает каждое открытие, и составляет главное в жизни археолога. Я знал, что впереди целый вечер, когда, точно так же как в былые годы, мы отправимся в сумерках к Клязьме и мой учитель будет снова рассказывать о раскопках, волнениях и находках. А пока, протиснувшись поближе к погребению, старался рассмотреть его как можно лучше и представить, что здесь когда-то произошло...

Охра. Алая, словно брызги крови. Ею засыпаны скелеты, вещи, дно могилы. Кое-где под охрой видны белые крупинки — то ли мел, то ли пепел, и мелкие угольки, которыми выстлано дно ямы.

Специально насыпали угли? Или кострами оттаивали мерзлую землю, а потом долбили ее роговыми мотыгами? Все-таки холодно и неудобно тогда было, наверное, куда как холоднее, чем сейчас. И низкие серые тучи, и мокрая земля, и резкий ветер от далекого ледника... Может быть, по Сунгирю уже шел осенний лед. И хлопья мокрого снега. А из тумана, из далей — низкий грубый голос мамонтов...

Ладно, пускай все это я придумал. Могло так быть! Вот только для чего угли и охра? Охра тоже символ огня? Или, как повелось считать уже давно, охра — это имитация крови, символа жизни? Все это повторяет первое погребение. Значит, у сунгирцев погребальный ритуал был четок и определен.

А потом в эту узкую и длинную яму одного за другим поло-

жили двух мальчишек. Доисторических мальчишек. Бадер успел мне сказать, что приезжал профессор В. В. Бунак и ориентировочно определил, что младшему шесть-семь лет, а второй на два-три года старше. Но М. С. Акимова, которая была здесь уже после Бунака, считала, что по зарастанию швов на черепе и по зубам младшему было лет девять-десять, а старшему — двенадцать-тринадцать. Правда, все эти определения предварительные, основные — потом, в лабораториях, в Москве...

Голова к голове. Почему не рядом? Сколько всегда возникает этих «почему» с каждым новым открытием!

Теперь одежда. Какая она была? Кожаная? Скорее всего, меховая: рубашка — мехом внутрь, а куртка — мехом наружу.

Очертания рубашки хорошо видны по «нитям» бусин. Вот они идут до запястий, а в запястьях и у плеча рукава перехвачены бусинными повязками. Штаны такие же, как рубашки: расшиты бусинами и перехвачены повязками под коленом и на щиколотках. И конечно, сапоги-унты! Расшитые бусинами, как бисером, они похожи на меховые унты северных народов и, возможно, как и те, были украшены вставками из разного меха и цветных кожаных аппликаций...

Поверх рубашек — куртки, расшитые более крупными бусинами. Куртки доходили почти до колен. Их надевали через голову, а на груди был разрез, который закалывали большими тонкими булавками. У каждого мальчика сохранились такие булавки под подбородком: совершенно одинаковые, воткнутые наискосок и вниз.

Бадер полагал, по расположению этих булавок, что оба мальчика были «правшами»: так, справа — сверху вниз — булавку можно воткнуть только правой рукой. Может быть. Но вероятнее, что покойников одевали уже после смерти. Однако вот еще возможное доказательство правоты Бадера. Именно в правую, а не в левую руку старшего мальчика положили кремневый нож и тончайшую, ничем не отличающуюся от современных костяную иглу! И на правой же его руке — костяные перстни. Первые. Уникальные. Каких еще нигде не находили.

Тут же лежат клыки пса. Это уже не костюм. По-видимому, клыками и бусинами была расшита небольшая кожаная сумка, висевшая на поясе у старшего мальчика. «Заглянуть» в нее удастся только потом, когда все это погребение вместе с землей привезут в Москву и реставраторы, закрепляя специальны-

ми составами каждую косточку, начнут его разбирать, восстанавливать и реконструировать одежду...

На груди у старшего мальчика лежит какой-то предмет, на котором росла известковая корка, как и на некоторых костях. Я наклоняюсь, чтобы лучше рассмотреть, и Бадер замечает мое движение. Он прерывает рассказ:

— Посмотрите, Андрей! Неужели не узнаете?

Я вглядываюсь, пытаюсь уловить форму предмета, и неуверенно спрашиваю:

— Лошадка?!

— Ну конечно. Ведь точно такую мы нашли в первый год! Пойдите, ведь вы ее, кажется, и нашли?

— Нет, Отто Николаевич! Ее Юра нашел, помните, тот, из Перми?

— Ах да, совершенно верно! Правда, эта немного крупнее той. И смотрите, как она лежит: на груди. Вероятно, амулет...

Вторая лошадка. А ведь нигде больше «сунгирские лошадки» не известны! Только здесь. Что это, амулет? Или знак рода, изображение мифического предка тех людей, быть может называвших себя Людями Дикой Лошади? Ведь каждый род вел в те времена свою родословную от мифического предка, тотема — животного, растения — подобно тому, как у индейцев был род Ворона, род Оленя, род Волка, род Бобра...

Бадер продолжает рассказ, и оказывается, что самое главное здесь не одежда и не лошадка. Самое удивительное открытие заключено в вещах, которые положили с мальчиками их соплеменники.

— Вот оно, «бедро великана», на которое мы наткнулись вначале, — показывает Бадер на кость, лежащую возле левой руки старшего мальчика. — Действительно, это бедренная кость! Сейчас трудно определить, чья она: человека или пещерного льва. Но поглядите, это не просто кость: в середине она выскоблена и вся заполнена охрой. Может быть, это футляр для краски? А вот второе «бедро» оказалось копьем...

Какое было оружие у человека ледниковой эпохи? До последнего времени никто не сомневался, что человек делал копыя и дротики из дерева, оснащая их кремневыми наконечниками. Или костяными. Дерево так долго не сохраняется, а каменные наконечники, как и костяные, находят при раскопках.

Здесь же настоящий склад древнейшего оружия: два копыя, множество тонких дротиков и кинжалов. И все они сделаны целиком из бивней мамонта.

В первый момент, рассматривая прямые длинные стержни, воспринимаешь это как должное. И лишь потом охватывает изумление: как же это сделано? Ведь бивень мамонта изогнут дугой! То, что сунгирцы умели расщеплять твердые бивни, было известно и раньше. Но выпрямлять!..

И тем не менее вот они: длинные, тяжелые копыя с острейшими концами.

Сейчас мы не знаем, как можно сделать слоновую кость мягкой и пластичной. Кажется, таким секретом владели древние греки, но рецепт они нам не оставили.

— Я думаю, что сунгирцы все-таки размачивали кость в воде и распаривали ее над огнем, — говорит Бадер. — А потом выпрямляли. Ведь рядом с этим великолепным оружием лежат выпрямители, или, как их обычно называют, «жезлы военачальников».

— А это действительно выпрямители? — спрашивает Бадера кто-то из геологов.

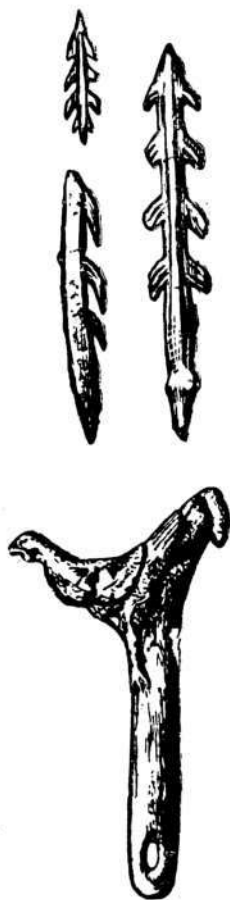
— Во всяком случае, теперь мы имеем право так думать! Здесь их два, они положены с оружием... По-видимому, это действительно выпрямители!

Бусы, подвески, иглы, перстни, браслеты, копыя, дротики, кинжалы, «жезлы»... Настоящий музей палеолита!

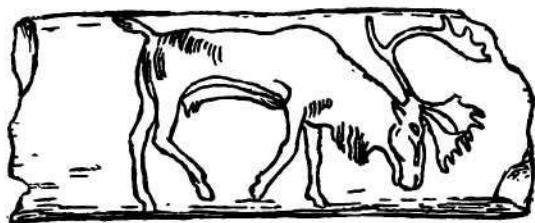
Но что это было за оружие? Охотничье? Или военное? Ведь с такими копиями и дротиками можно не только успешно защищаться от нападения пещерного льва или медведя, чьи кости обнаружили на Сунгире палеонтологи.

Бадер считал, что это охотничье оружие. Однако в своем рассказе он упомянул об одной любопытной детали, которая, на мой взгляд, опровергала его точку зрения.

Расчищая дротики, Бадер заметил, что у боевых концов некоторых из них, вдоль костяного стержня, лежат полоски мел-



ких кремневых отщепов — «чешуйки» чуть крупнее булавоочной головки. Они начинались в двух-трех сантиметрах от конца и тянулись ровной полоской в двадцать пять—тридцать сантиметров вдоль стержня. Бадер полагал, что сунгирцы смазывали концы своих дротиков смолой или клеем, а сверху насыпали кремневые чешуйки совсем так, как делают наждачную бумагу. Гладкое острие становилось как бы зазубренным. Попадая с дротиком в тело, чешуйки расширяли, разрывали рану, а часть из них оставалась в ней, препятствуя заживлению. Следовательно, все это было сделано в расчете, чтобы рана от такого оружия мучила как можно дольше. «Но кого? Зверя? Сомнительно!» — думал я. Охотничья рана должна быть смертельной и



поражать зверя как можно скорее. Действие же этих чешуек рассчитано на гораздо больший срок, чем охота. К тому же зверь не вытаскивает — он может только сломать попавшее в него копьё. Зато именно такими «сюрпризами» оснащают свои боевые стрелы индейские племена Южной Америки. Боевые, а не охотничьи!

Наконец, следовало принять во внимание, что все народы, живущие охотой, хоронят даже самых знаменитых своих охотников не как охотников, а как воинов. Охота считается делом важным — это жизнь. Но для того чтобы стать мужчиной, например у прокезов, сиу, делаваров, юноша должен был «вступить на тропу войны» и вернуться к старейшинам племени со скальпом, по крайней мере, одного из врагов.

Может быть, и та «сумочка», которая представлялась нам висящей на поясе старшего мальчика, — именно такие скальпы, украшенные просверленными клыками?

И была еще одна загадка, в спор о которой включились все присутствующие, и каждый отстаивал свои соображения.

В могильной яме находилось два совершенно одинаковых

прорезных диска из кости. В центре каждого диска — круглое отверстие, а вокруг — десять овальных. Диски стояли вертикально, на ребре, возле правого виска каждого мальчика. Только у младшего такой диск был надет на один из дротиков, а у старшего он «припаялся» своим краем к большому копыю. С первого взгляда они казались похожими на эфесы мечей японских самураев. А для чего они предназначались в действительности?

Украшения? Но диски связаны с оружием, а не с костюмом погребенных. Эфесы, то есть «ограничители» рукояток кинжалов, служившие защитой руки? Но один лежал сам по себе, а другой надет на дротик, а никак не на кинжал! Кстати, Бадер предположил, что диск, лежащий возле головы старшего мальчика, первоначально тоже был надет на дротик, только сделанный не из костей, а из дерева, почему он и не сохранился. Положение, в котором был найден этот диск — стоямя, — как будто подтверждает такую догадку. Ведь они так и лежат — у правой руки каждого мальчика. Возможно, к овальным отверстиям привязывали пучки окрашенных волос или тонкие кожаные ремешки. Такие «жезлы» могли служить знаками отличия во время каких-то церемоний, происходивших внутри святилищ, подобных Костенковскому жилищу, боевыми знаменами или... Но тут открывается простор уже фантазии.

«Так что же такое Сунгирь?» — задаю я себе вопрос. Стоянка? Или первое из известных науке родовое кладбище людей палеолита? Не потому ли здесь до сих пор не удается найти следов долговременных жилищ? Тогда все эти костры, все орудия и украшения связаны с погребениями, с тризнами на могильнике, а стоянка — настоящая стоянка! — еще ждет нас где-то в стороне.

9

Вечером, когда гости уехали, а погребение было закрыто специально сделанным из пенопласта саркофагом — чтобы его не повредили ночные заморозки — мы с Бадером отправились к церкви Покрова на берегу Нерли. По той же тропинке, что ходили и много лет назад.

На черной воде колыхались блики от встающей над дальним лесом луны, в тонком, холодном тумане темнели стога на пойме. Под ногами чуть похрустывала начинающая подмерзать трава.

— Знаете, Андрей, — Бадер, шагавший впереди меня, остановился, — сейчас мне показалось, что и не было тех лет! Как будто мы приехали на Сунгирь вчера и лишь начинаем раскопки. А знаете почему? Ведь Сунгирь нам открывается только теперь! И все вы для меня такие же мальчики, какими были тогда...

— А мы, увь, уже не такие. И вокруг все изменилось...

— Да-да, конечно! Но ведь и Сунгирь не тот, что раньше! Тогда — вы помните? — это была самая северная палеолитическая стоянка. А теперь на Каме и на Печоре открыт не только верхний, но и средний палеолит! Открыты рисунки Каповой пещеры на Урале. Мы знаем теперь, что человек достиг берегов Ледовитого океана еще в конце мустьерской эпохи. В прошлом году я был на Печоре. Там найдено два памятника возле деревни Бызовой — Бызовая и стоянка Крутая Гора. На Крутой Горе два слоя: нижний, мустьерский, и верхний, очень похожий по вещам на Сунгирь и Костенки. Так что очень возможно, что там жили родственники сунгирцев!..

— А как теперь датируется Сунгирь? — спросил я Бадера, когда мы снова пошли вдоль реки.

— По-разному. Мнения геологов очень разноречивы. Да и радиоуглеродные даты только теперь начинают приближаться к датам археологическим. Как вы помните, вначале я очень осторожно датировал Сунгирь примерно двадцать пятым тысячелетием до нашей эры. Первые же радиоуглеродные даты были смехотворно малы: одиннадцать — четырнадцать тысяч лет. Однако последние результаты анализов — двадцать две и двадцать три тысячи лет. Это хорошо! И я думаю, что произойдет еще небольшое «удревнение»... А все-таки какое ваше впечатление от этих мальчишек?

— Я же сунгирец! — отшутился я. — Завидую тем, кто их расчищал! Такое богатство, столько всего нового... Правда, я больше думаю, кто они: сыновья вождя, которого вы нашли пять лет назад, или оруженосцы его? Ведь в первом погребении оружия не было, а здесь больше, чем нужно...

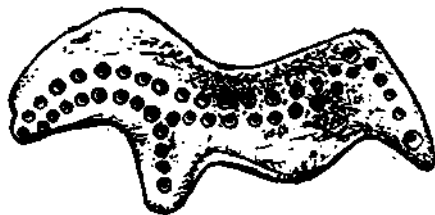
— Да-да, вы сунгирец! — не слушая меня, продолжал размышлять мой учитель. — И сколько после вас уже здесь побывало сунгирцев! У вас стояло три палатки под валами. Бы были там сегодня? (Я кивнул.) Ну конечно, были! А в этом году с другой стороны городища стоял уже целый палаточный городок...

Вперед, за стогами, выступая из-за деревьев, смутно белела церковь Покрова.

— Вы знаете, — вдруг сказал Бадер, — всю жизнь я занимался палеолитом. Но только сейчас, с этими открытиями, я ощутил, как мало мы знаем о нем. Как мало знаем о тех людях, которые и создали нас с вами! А узнавать, — он повернулся ко мне и улыбнулся прежней доброй улыбкой, — узнавать человека — это всегда так интересно! Да, именно человека, потому что историю делают люди...

Он замолчал. От реки поднималась сырость, и становилось вябло. Издалека, за Нерлью, мелькнул яркий глаз паровоза, и раздался далекий гудок, отразившийся эхом на противоположном берегу. Поеживаясь, я представил, как тысячелетия назад отсюда, вслед за уходящими ледниками и стадами мамонтов, двигались на север сунгирцы, оставив на стоянке своего вождя и его оруженосцев, погибших в какой-то стычке с враждебным соседним племенем. По холодной и мокрой тундре, с кустарником и редкими лесками, шла маленькая группа людей, останавливаясь на берегах озер и рек. Сменялись поколения. Вымирали мамонты. Иногда встречались такие же группы, с которыми то вступали в сражения, то объединялись для совместной охоты и жизни.

Небольшие группы людей, разбросанные по огромному пространству, — это и было человечество, долго и упорно заселяющее и осваивающее землю, которую мы называем своею...





Глава вторая

БЕРЕНДЕЕВО ЦАРСТВО

1

Берендей, берендей... Откуда пришли они вместе со Снегурочкой и веселым солнечным богом Ярилой в эту чудесную сказку? И сказки такой не было, и Снегурочка родилась меньше, чем сто лет назад под пером А. Н. Островского, а вот сказочное царство существует на самом деле! Но в детстве своем, тревожном и военном, я этого не знал. Только много лет спустя, уже окончив школу, я попал вместе со знакомым художником в Переславль-Залесский, стоящий на берегу огромного Плещеева озера, на родину сказочной Снегурочки.

Эта поездка была возвращением в сказку. Она шумела по сторонам дороги густыми дремучими лесами, отаивалась головами птиц. С высокой горы мы увидели большой густо-синий овал с черточками лодок, белые церкви в зелени садов, ветшающие башни и стены монастырей-крепостей над озером, высокие, крутые валы, насыпанные Юрием Долгоруким еще в XII веке... На Трубеже, в Рыбачьей слободе, под вековыми ивами качались на волнах длинные осадистые лодки, сушились сети, а вдали уходили за горизонт темные леса древнего Залесья.

Переславль походил на живой музей. И озеро, где при Петре родились первые корабли русского флота, и леса, и поля, и деревни, и древние валы укреплений, и зеленые оспины разрытых когда-то курганов — все это тоже было необъятным музеем истории и природы. Земля древнего города была жирной, черной, набитой стеклом, железом, кусочками созревшей кожи, берестой, камнями и бревнами древних строений. На берегах Трубежа лежали черепки тысячелетней давности, грузила от рыбацких сетей: новые, неотличимые от древних, и древние, совсем такие же, как делают рыбаки сейчас. В городском музее хранились остатки кольчуг, секиры и топоры, каменные и чугунные ядра, глиняные кубышки, возле которых лежали россыпи мелких серебряных монет, — все то, что по весне переславцы находят на своих огородах.

Здесь вместе с мальчишками, своими сверстниками, бегал

будущий князь Александр Ярославич Невский. Мне показывали место, где, по преданию, стоял его загородный дворец,— на Ярильной горе! На противоположном берегу, на горе Гремяч, через пятьсот лет после князя Александра строил свою «потешную флотилию» молодой и нетерпеливый Петр I. А еще через двести лет после Петра в этом же домике М. М. Пришвин написал одну из самых сказочных своих книг, которая и повела меня сюда,— «Родники Берендея».

Эти впечатления сыграли решающую роль? Или путь в Берендеево царство был подготовлен сказками детства, впервые открывшими мне страну мечты? Наверное, одинаково важным было и то и другое. Но через несколько лет я вернулся в эти края уже как археолог. На берегах Плещеева озера, на речках и озерах, окружавших его, я нашел стоянки эпохи неолита.

Неолит — новый каменный век, новый по сравнению со старым палеолитом. Из года в год выезжала наша маленькая экспедиция на берега Плещеева озера, чтобы вести раскопки неолитических стоянок. Раскапывая поселения древних обитателей Переславщины, исследуя слои земли, сохранившей остатки исчезнувшей жизни, мы словно двигались по дороге, ведущей к истокам Берендеева царства. Об этом я рассказал в книге «Голубые дороги веков»: об открытиях, гипотезах, приключениях, о нашей жизни. Здесь же я расскажу, как неожиданно чуть было не осуществилась одна моя мечта. Ведь у каждого археолога есть своя заветная мечта...

2

Тот день проходил, как все остальные,— обычный день раскопок. Шумели сосны. Из-за леса, с озера доносились плаксивые крики чаек. Солнечные лучи вонзались в сумрак корабельного бора, и кора сосен вспыхивала и светилась. Мы раскапывали стоянку, расположенную на древнем берегу Плещеева озера. Раньше озеро было гораздо больше, чем сейчас, но потом начало усыхать, мелеть, сокращаться, и теперешний берег отстоял от древнего иногда на полкилометра.

Возле небольшого прямоугольника раскопа желтели кучи выброшенного песка. За ними блестели два рельса узкоколейки, по которым совсем игрушечный паровозик вывозил вагончики с торфом.

...Песок резался лопатой легко, с чуть слышным шуршанием. Копать неолитические стоянки на песчаных дюнах значительно легче, чем палеолитические, погребенные в толще глины и лесса. Они лежат почти всегда на поверхности, чуть прикрытые слоем современной почвы. Когда привыкнешь к песку, лопате и находкам, почти всегда по звуку можно определить, что именно задела лопата. Кремень рождает в металле короткий звон, а черепок — звук глухой, мягкий и вкрадчивый.

Крупные черепки, которые то и дело вынимал из-под лопаты Олег, принадлежали когда-то одному сосуду. Пока Таня Одинцова, полная и серьезная девушка, студентка исторического факультета и моя помощница, отмечала их на плане, я сидел над расстеленным листом бумаги и пытался подобрать черепки друг к другу, чтобы сложить бок горшка. Этим можно было заняться и после работы, когда черепки будут вымыты и высушены, но лучше все сделать на раскопе сразу.

Под лопатой Олега опять что-то звякнуло.

— Андрей Леонидович! Посмотрите, какой наконецник копыя! И до чего же тонко сделан...

Олег на раскопках впервые. Обычно я приезжал с двумя-тремя студентами-археологами, а работали у нас местные школьники. Олег — тоже студент, но к нам попал случайно. Он приехал в Переславль, чтобы посмотреть старину, отправился бродить вокруг озера и наткнулся на нашу экспедицию. Раскопки его заинтересовали. Сначала он только смотрел, потом попросил разрешения поработать да так и остался с нами. Но с лопатой на первых порах ему приходилось трудновато. Если бы просто землю кидать! А вот так, осторожно и медленно, снимая по сантиметру, чтобы вовремя остановиться перед находкой, — на это нужна привычка...

— Олег, там в стенке не остался еще черепок?

Вот еще бы один — и получится полный бок горшка! Ничего, что горшок разбит. По одной стенке можно восстановить его форму, узор, которым он был украшен в древности. А форма и орнамент сосуда — это, так сказать, «визитная карточка», по которой археолог может установить и время, и культуру.

«Археологическая культура» служит для археолога условной меркой, с помощью которой он может систематизировать свои находки и сравнивать различные стоянки и поселения друг с другом. Понятие это охватывает комплекс признаков, куда входят орудия труда, оружие, украшения, посуда, устройство

жилиц, одежда, способ погребения, хозяйство и технологические рецепты, — короче говоря, все то, чем отличалось когда-то одно племя от другого. И самым лучшим указателем здесь служит керамика, потому что узор, украшающий сосуд, и формы сосудов, вместе с определенным составом керамического «теста», у разных племен были разные.

— Вот этот черепок подойдет? — спрашивает Олег.

— Посмотрим... Да, как раз часть донца, видите?

— Перерыв! — объявляет Таня, посмотрев на часы.

Ребята с гиканьем выскакивают из раскопа. Перерыв, чтобы отдохнуть, но они все равно будут бегать и возиться. Тело просит движений. Только Олег так увлечен, что продолжает чистить квадрат.

— Олег, отдыхайте! Успеете еще...

— Я сейчас. Вот только дочищу...

Под его лопатой опять появляется черепок.

— Смотрите, какой черепок интересный! Слово на нем отпечатались сетка...

Действительно, на внутренней поверхности черепка хорошо виден отпечаток мелкой рыболовной сетки, так четко, что можно различить даже волокна и узелки. Это редкая находка. Уже давно предполагают, что такие толстые и крупные сосуды делали на специальных болванках из мха и травы, обтянутых сетью или шкурой. Когда глина подсыхала, набивку вытряхивали, а сам сосуд изнутри заглаживали, но отпечатки сетей иногда оставались.



Толя, самый старший из наших рабочих — он пошел уже в десятый класс — и самый серьезный на раскопках, повертев черепок, хмыкнул:

— Рыбнадзора у них не было! А то с такой ячеей враз бы порезали...

Ребята смеются. Все знают, что этой весной Толя с отцом ставил в озере сетки и попался рыбнадзору. А в Плещеевом озере разрешено ловить рыбу только удочкой.

— Чего смеетесь? Уклея здесь даже не пройдет, не только плотва! Ячейя — сантиметр, не больше! — обижается Толя.

— Андрей Леонидович, а эти сети для рыбы, да? И крючки у них были? А из чего они крючки делали?

И сетками ловили, и заколы на реках устраивали, загородки. Ставили в ручьях и заводях верши, «морды». А крючки вырезали из кости. Еще били рыбу острогами, как и сейчас это делают браконьеры. На огромных щук, налимов и сомов охотились с гарпуном, били рыбу из луков. Так до сих пор охотятся на рыбу обитатели тихоокеанских островов и индейцы Южной Америки...

Перерыв почти всегда затягивается — ребята хотят всё знать о неолите.

Я рассказываю им, как изменился мир после отступления ледника. Как вместо тундры и редколесья, где бродили стада северных оленей и мамонтов, поднялись густые леса с озерами и реками. Почему исчезли мамонты? Об этом до сих пор спорят ученые. Одни полагают, что мамонты вымерли сами, не смогли приспособиться к новым природным условиям, к теплу. Другие считают, что последние мамонты стали добычей последних палеолитических охотников: их просто всех перебили. Ведь такая же судьба совсем недавно постигла североамериканских бизонов.

Если спросить археолога, что определяет неолит, он не задумываясь ответит: три вещи — лук со стрелами, обожженная глиняная посуда и каменный топор, как самый необходимый в лесу инструмент. И уже потом добавит, что именно в неолите таким важным промыслом стало рыболовство, человек приручил почти всех известных сейчас домашних животных, научился возделывать почву, сажать растения и собирать урожай, прясть, обрабатывать дерево, резать, шлифовать, сверлить камень.

Но, может быть, самое главное — человек стал более осед-

лым, стал селиться на озерах и реках маленькими поселками, остатки которых мы раскапываем.

Плохо только, что в песке сохраняется лишь камень да черепки. Все остальное — дерево, кость, кожа, пряжа, — все бесследно исчезло. В лучшем случае можно встретить отпечаток ткани или сетки на черепке, вроде того, что нашел Олег.

Правда, выпадают еще на долю археолога такие фантастические удачи, как свайные и болотные поселения. Торф и вода сохраняют все. Они даже надежнее, чем абсолютная сухость. Только очень высокая влажность почвы сохранила для археологов древний деревянный Новгород. Торфяные болота сейчас расположены на месте бывших озер. На мелководье, на островах, а то и прямо на торфе селились древние рыболовы, если сухой берег был слишком далеко от воды. Иногда так селились для безопасности — на воде легче заметить приближение врага. Свайные и болотные поселения были открыты на озерах в Швейцарии, на болотах Дании и Англии, в Эстонии и на Урале. Но, как правило, такие стоянки находят не археологи.

На Урале, в Шигирском и Горбуновском торфяниках свайные поселения нашли золотоискатели. Под слоем торфа лежали золотоносные пески, и, когда торф стали убирать, рабочие наткнулись на сваи и жилые настилы. В Историческом музее в Москве хранятся остатки лодок, деревянные лыжи, лук, стрелы, деревянные идолы, кусочки ткани, различные фигурки из дерева, весла, чашки, ложки, берестяные сосуды — все это сберег от разрушения торф.

— А у нас на Талицком болоте лося нашли, — говорит кто-то из ребят. — Рога — во! В болото провалился, одни кости остались...

— Кости! Вон Морковников топор каменный нашел на Куванском, в музей сдал... А черепков-то там нет!

Нет черепков, верно. Каждый год я спрашивал рабочих торфопредприятия, обходил торфяные поля, но, кроме кремневого топора, о котором вспомнили ребята, невесть как попавшего в торф, ничего не находилось. А ведь должны здесь быть болотные поселения!

Я не подозревал, что эта мечта исполнится так скоро и просто.

Под вечер, уже перед концом работы, на велосипеде приехал Сережа Добровольский — научный сотрудник местного музея. Сергея здесь знали все: он вел экскурсии и читал лекции. Ма-

ленький, чернявый, живой, с чуть припухшими умными глазами, он умел к каждому человеку найти особый подход, заинтересовать зевающих экскурсантов забавным случаем из прошлого и под этот случай «подвести» всю историю края. Знакомы мы были давно и собирались как-нибудь вместе отправиться путешествовать по Переславщине. Но все это откладывалось «на потом»: то у меня раскопки, то у него уже кончился отпуск.

— Ну, как дела, как неолит?—говорил он, здороваясь.—Что, не выкопали еще для нашего музея мертвеца? А то у нас и витрина готова!..

Ребята при виде Сергея радостно загалдели. Он любил с ними возиться, обращался с ними как с равными, и поэтому школьники всегда просили, чтобы по музею их водил Сергей Иванович.

Мы отошли под сосны. Сергей положил в заросли папоротника велосипед и вытер платком взмокший лоб.

— Жарко! Осень уже на носу, а лето не уходит... Я по делу к тебе. Скоро думаешь закончить этот раскоп?

— Что, поехать куда-нибудь? Дня через два закончим. А у тебя ведь отпуск вроде уже был?

Сергей лукаво посмотрел на меня.

— Плясать будешь?

— А может, нам лучше Таня спляшет?

— Ладно, не добьешься от тебя! Держи!

Он сунул руку в карман и вытащил небольшой сверточек из грязной, потершейся на сгибах газеты. Сверточек был легким и тощим.

Я развернул его... и, наверное, в эту минуту у меня был очень смешной вид, потому что Сергей расхохотался и с размаху хлопнул меня по плечу:

— Бывает, старина! Не ты только копать умеешь...

На газете лежало пять наконечников неолитических стрел. Не кремневых, а костяных! Они были похожи друг на друга — и они были разными. Одни тонкие и длинные, как иглы, только с черешком для насада. Другие толстые, «биконические», с утолщением в середине, по которому проходила узкая бороздка нарезки. Третьи — просто четырехгранные брусочки, короткие, с плоским черешком и приостренным жалом. И все же все они были одинаковые, потому что от времени кость стала равномерно черной, плотной и крепкой. Перекатываясь в руks, наконечники

даже позванивали, ударяясь друг о друга. Так сохраниться кость может только в торфе!

Подошедшая Таня поняла это тоже с первого взгляда.

Ребята толпились вокруг, побросав лопаты и заглядывая через плечи.

— Но откуда это, Сережа? Кто их нашел? Где? — Я с трудом подбираю слова от волнения.

Все произошло до обидного просто. Накануне, в обычный будний день, когда в музее мало посетителей, Сергей сидел в научном отделе и проверял инвентарные книги. Уже перед закрытием музея одна из смотрительниц привела к Сергею парнишку лет тринадцати, который давно торчал у витрин археологического отдела, что-то записывал, а потом попросил отвести его к «самому главному археологу». Археологов не было в музее вообще, а из двух научных сотрудников — только Добровольский.

Мальчик назвал себя Шуриком Коняевым. Он жил на втором участке Берендеевского торфопредприятия, на Волчьей горе, в двадцати пяти километрах от Переславля. Берендеевское болото считалось одним из самых крупных торфяников этого района.

Затем проговорив: «Если для науки надо, то возьмите», Шурик положил на стол пакет. Из расспросов Сергей узнал, что все находки Шурик собрал на двенадцатом комплексе второго участка торфозаготовки; там вообще много костей, черепков и каменных орудий, но он не был уверен, нужно ли все это. Поэтому и приехал в музей посмотреть.

Еще он сказал, что из торфа там бревна торчат...

Таня тихо ахнула:

— Бревна?! Так ведь это свайное поселение!

— Что, свайное поселение нашли? — Олег даже не был удивлен, словно такие открытия происходят каждый день.

— Поехали, скорей поехали!

Сергей растерялся от моей оперативности.

— Куда, куда? Постой! Ничего не случится. Я уже позвонил в Берендеево, попросил директора, чтобы они ничего там не трогали. Оказалось, на этом участке еще с мая находки идут! Пришлось отругать, что не сообщили. А теперь они все равно здесь прекращают работу — торф кончается. Так что все в порядке. Через два дня и поедем — меня завтра директор непустит...

— А точно они не будут трогать? А если мальчишки начнут копать?

— Да не волнуйся ты, все наше будет!..

3

Разговоры и толки не смолкали весь остаток дня. Сергей уехал, оставив мне наконецники, с которыми я не мог расстаться. Ну, один... Бывают такие находки! На том же Берендеевом болоте, на огородах, нашли костяную стрелу — не такую, как эти, граненую, более позднего времени. И — ничего больше. Как она там очутилась? Загадочна и таинственна страна берендеев! Каждый год я собирался поехать на это болото, и все что-то мешало. Неужели от стоянки ничего не осталось? Нет, все равно! Как бы ни была она разрушена, для археолога это клад.

Вечером, после ужина, я отправился звонить в Москву.

Дом, в котором находилась база экспедиции, стоял на берегу маленькой речки Вексы, текущей из Плещеева озера в озеро Сомино. На два километра по правому ее берегу растянулись дома поселка. Эти два километра можно было пройти берегом, но, живя здесь, я привык всюду передвигаться на лодке, как это делали местные жители.

Река петляла в извилинах берега, подмывала нависшие темные кусты, журчала на перекатах. Дома поселка то нависали над самой водой, то скрывались за кустами. На противоположной стороне к реке подступал лес.

Начав заниматься неолитом и приехав в Переславль, вот так, спускаясь на лодке по реке, я открывал новые и новые стоянки. Почти на всех песчаных мысах виднелись остатки неолитических поселений. В обрывах над водой чернели полосы культурного слоя. То там, то здесь из него высовывались черепки и куски кремня. Я не мог пройти мимо даже самого маленького черепка. Каждая новая находка, каждый новый наконецник стрелы из желтого, красного или лилового кремня, каждый скребок рождали удивление и восторг.

Через это проходит каждый археолог. Путь в науку похож на длинную лестницу со множеством ступеней, по которой равнодушно шагать могут только ограмиченные люди.

Одно из первых чувств, приобщающих молодого археолога к будущей работе, к истории, — это тот восторг, который подни-

мается в нем, когда в его руке впервые оказывается такой вот кусочек давным-давно исчезнувшего мира. С годами это чувство притупляется, но никогда не проходит полностью. Оно особенно сильно в юности. Ты сам еще молод, тебе недавно исполнилось двадцать лет или даже не исполнилось, а на твоей ладони лежит кремневый нож или кусок сосуда, который сделал человек пять тысяч лет тому назад. Пять тысячелетий — и двадцать лет! От ощущения огромности времени невольно кружится голова. И не один кусочек — их много. Ты вглядываешься в них до боли в глазах, хочешь понять, какие тайны они несут в себе, но черепки молчат. Заговорят они потом, значительно позже. И сейчас, в сущности, тебе важен не сам предмет, а время, которое в нем как бы заключено.

Уже значительно позднее — когда приходят опыт и знание, когда вещи перестают быть разрозненными предметами, превращаясь скорее в символы, свидетельства сложных исторических процессов, указывающих путь племен и судьбы культур, — странствуя по лесам и рекам, ведя раскопки, ты оказываешься свидетелем событий, которые не могли понять и уловить даже их современники. В спокойной зелени болот ты услышишь плеск волн умершего озера. На пустых буграх поднимаются перед тобой небольшие хижины и вигвамы рыболовов. Сквозь сизый вечерний туман ползет дым костров. И даже мелкие угли, которые собирают на раскопе рабочие, обжигают тебя горячим огнем прошлого.

Ты научаешься видеть сквозь современный пейзаж тот, древний, угадываешь русла давно высохших и заросших ручьев и речек, слышишь плеск рыбы и чувствуешь, как бьется она на конце костяной остроги, предвидишь судьбы людей и их потомков на протяжении тысячелетий.

На первый взгляд это фантазия. На самом деле — наука.

Чтобы понимать закономерности истории и предугадывать их, понимать язык вещей, надо понимать и чувствовать тех людей, историей которых ты занимаешься. Их жизнь можно описать. Но по-настоящему понять ее и разобраться в ней можно, только почувствовав изнутри. Так изнутри, как этнограф вживается в быт исследуемого им племени, я проникал в неолит, становясь попеременно то рыбаком, изучающим повадки рыб, то охотником, который читает у водооя и на звериной тропе жизнь обитателей леса.

Теперь, с открытием поселения на Берендеевом болоте, я

слова становился учеником. Чтобы правильно понять это открытие, чтобы войти в новый для меня мир, раскрыть его секреты, я звонил в Москву Никите Александровичу Хотинскому, научному сотруднику Института географии.

С Хотинским мы познакомились недавно и удивились, что не были знакомы раньше. Последние три года он работал как раз в Переславском районе, изучая здешние болота. Болота были не просто «кладовыми солнца» — это была одна из самых точных и подробных летописей климата.

О климате мы привыкли говорить как о чем-то установленном. Мы живем в полосе умеренного климата. Есть климат пустынь, климат субтропиков и тропиков, есть горные луга и степи. На географических картах пунктирной линией отмечена зона вечной мерзлоты. С точностью до нескольких дней обрушиваются на Индию муссоны, принося с собой дожди.

Климат — это определенные колебания температуры в течение года, количество осадков, преобладающие ветры, влажность. Но с другой стороны, климат — это и растительность. Географ, зная климатические условия данного места, точно определит, что в этом месте растет. И наоборот, по составу растительности можно определить климат.

После окончания ледникового периода климат несколько раз менялся. От холодного и влажного он перешел в холодный и сухой, потом стал влажным и теплым, затем теплым и сухим, наконец, снова началось похолодание и повышение влажности.

Вместе с климатом менялась растительность.

Тундру сменили еловые леса, потом ель потеснили береза и лиственные породы. Когда началось потепление, стало меньше березы и ели, но зато стало больше сосны. В теплый и сухой период далеко на север распространились такие теплолюбивые широколиственные породы деревьев, как дуб, клен, бук, липа. В то время дубы росли даже на берегу Белого моря. Теперь их редко встретишь севернее Ярославской области.

Но при чем здесь археология?

Человек жил в лесу и зависел от леса. Изменялся климат — изменялись породы деревьев, изменялся животный мир. Там, где раньше шумели леса, теперь расстилались степи или пустыни. Людям приходилось сниматься с места, искать себе новые охотничьи угодья.

И даже не это было для нас главным. Палеоклиматология позволила довольно точно определить время жизни на том или ином поселении.

Впрочем, как можно определить время каких бы то ни было климатических изменений, если для живого человека они почти не ощутимы? Да и от древних лесов никакого следа не осталось...

Следы-то как раз остались! Не деревья, не леса, а нежная цветочная пыльца, каждый год в начале лета покрывающая лужи и озера тонкой желтой пленкой.

Еще в школе (на уроках ботаники) нам показывали цветочную пыльцу под микроскопом. Почти невидимые простым глазом зернышки оказывались при увеличении очень сложными и разными. Пыльца ели не похожа на пыльцу сосны, а пыльца березы — на пыльцу осины. Специалисты-палеоботаники определяют по зернам пыльцы не только породы деревьев, но и виды одной породы. Нежная цветочная пыль может сохраниться в почве миллионы лет. Каждое дерево дает примерно равное количество пыльцы. Если летом собрать пыльцу у берега озера, определить по ней виды растений и подсчитать примерное соотношение зерен пыльцы каждого вида, то цифры покажут соотношение этих видов в окружающих озеро лесах.

На дне озер ежегодно откладывается тонкий слой ила со всей пыльцой, принесенной ветром за лето. Когда озеро превращается в болото, каждый год нарастает примерно один миллиметр торфа с заключенной в нем за этот год пыльцой.

Большинство болот было когда-то озерами.

Если сделать разрез торфяной залежи до самого дна и, как это делают палеоклиматологи, взять снизу доверху образцы торфа через каждые десять сантиметров, обработав каждый образец и определив пыльцевые зерна, можно составить «пыльцевую диаграмму», показывающую изменение климата через каждые сто лет.

Изменялся климат в последлениковое время на всем пространстве Европы почти одинаково, но в каждом районе всегда есть небольшие отклонения от общей картины.

На обычных дюнных стоянках, в песке, пыльцевых зерен немного, и они смешаны с более древней пыльцой, сохранившейся в этих песках. Лучше сохраняется пыльца там, где есть перегной, культурный слой. Но из культурного слоя можно получить не диаграмму, а только один «пыльцевой спектр» — соотношение климата и растительности в то время, когда на стоянке жил человек. Чтобы определить время стоянки, этот спектр надо сравнить с полной пыльцевой диаграммой района, найти на ней его место.

Хотинский занимался изучением болот вокруг Переславля. Он работал и на Берендеевом болоте. Его знания и опыт должны были помочь нам не только определить время свайного поселения, но составить точное представление о природе, которая окружала человека в то время, — составить общую шкалу, на которой остальные известные мне стоянки могли занять свое место.

В Берендеевском свайном поселении был ключ ко всей древнейшей истории этого края.

...Переславль долго не соединял с Москвой. В трубке слышались чьи-то невнятные голоса, сухой треск далеких грозовых разрядов. Когда Хотинский взял трубку, его голос оказался заглушенным репортажем с футбольного матча. Мы оба старались перекрыть помехи и плохо понимали друг друга. Кажется, мне удалось объяснить. Последнее, что я услышал, было: «...послезавтра, машина послезавтра... Понял?..»

Оставшиеся два дня прошли в лихорадочной работе.

Обычно, когда раскоп не радует находками, в душу закрадываются меланхолия и сомнения. На этот раз мы были рады, что слой в раскопе на Плещеевом озере почти пуст. Небольшой очаг с углем, черепки, редкие кремневые орудия — вот и все. К обеду второго дня под лопатами показался чистый белый песок древнего озера.

Культурный слой кончился. Как положено, мы перекопали этот песок на глубину лопаты, убедились, что находок нет, и засыпали стенки раскопа. До будущего года.

Вечером этого же дня на экспедиционной машине приехал Хотинский, и я позвонил Сергею Добровольскому, что утром мы заедем за ним...



Мутвое солнце висело в ржавых вихрях над Берендеевым болотом. Казалось, пожар, тлеющий до поры до времени в этой громадной котловине, расщеченной зарослями кустов по заброшенным карьерам, вот-вот вспыхнет с полной силой, взвоется и испепелит все вокруг — и холмы, на которых сгрудились деревеньки с белыми церковками, и леса, и дальние, уходящие на юг поля...

Весь август стояла великая сушь. Ветер здесь, на Волчьей горе, довольно умеренный, поднимал торфяную пыль, сдувал ее с караванов, и над черными полями стлался коричневый дым.

Едкий запах торфа сушил горло и нос.

Внизу, в рыжей мгле, двигались вереницы странных, фантастических машин. Они засасывали в бункера высохшую торфяную крошку и взрыхляли поле.

— Да как же там работают? — с испугом выдохнула Таня. На ее полном загорелом лице промелькнул ужас.

— Что вы, Таня! Это же обычный день на торфоразработках. Если бы действительно был сильный ветер, машины ушли бы с поля, чтобы не было пожара. Это вам не археология! Здесь грязь и грязь...

Хотинский стоял возле машины, разложив на капоте схему Берендеевских торфоразработок. В резиновых сапогах, в штормовке, натянутой поверх серой клетчатой куртки, в финской шапочке, возвышавшейся над его большим и тяжелым лицом, он был похож на геолога, выступающего в трудный и долгий маршрут. Да и мы все преобразились: в таких же резиновых сапогах, в куртках с капюшонами, в брезентовых плащах, несмотря на солнечный и жаркий день. Сандалеты и тапочки, легкие спортивные шаровары и шорты, в которых мы ходили на Плещеевом озере, — все это пришлось оставить.

Сергей и Олег отправились разыскивать Шурыка.

Волчья гора была настоящей горой, поднимающейся не только над болотом, но и над всеми соседними холмами и лесами. На вершине и на северных ее склонах толпились домики, поднимались высокие плетни огородов, а с востока и юга под крутыми обрывами начиналось болото. Над обрывами торчали островерхие крыши погребов, напоминавшие маленькие жилища — полуземлянки древних славян. Возле сараев желтели высокие поленницы, в которых просыхали выкорчеванные на болоте пни.

На востоке, километрах в пяти-шести за болотом, белели новые здания центрального поселка.

Если судить по заброшенным и заросшим кустарником карьерам, торф на Берендеевом болоте начали добывать где-то здесь. Потом разработки расширились, переместились к востоку, и новый поселок вырос на другом месте, ближе к железнодорожной станции и старому Берендееву.

— Вот посмотри, что получается, — подозвал меня Хотинский к развернутому плану и ткнул карандашом в то место, где на заштрихованных полосках полей стоял жирный черный крест. — Я вчера просматривал разрезы торфяной залежи по участкам и отметил на плане границы глубин. Если стоянка здесь, — он постучал карандашом по черному кресту, — то поселок должен был стоять на сваях, или на открытой воде, или на торфе у самой воды. Думаю, что так оно и есть. Никаких суходолов — островков — поблизости нет. А от озера оставалась уже одна пятая часть, если не еще меньше...

На плане Берендеево болото представлялось огромной амебой, распутившей в разные стороны множество островков-заливов. Кое-где красной краской отмечены были суходолы — песчаные острова. На юге между суходолами петляла речка, до сих пор питавшаяся водой древнего озера.

— Вот куда нам попасть! — указал я Хотинскому на речку. — Если озеро было заселено, наверняка и там есть стоянки. Песок!

— Как-нибудь соберемся... На Берендееве есть несколько разрезов, откуда мы брали образцы на анализ. Так что привязать стоянку к общей диаграмме будет несложно...

Берендей... Берендей... Почему это болото получило имя небольшого степного народа, воевавшего когда-то с Киевской Русью? Те берендей жили далеко на юге, оставив о себе память в имени города — Бердичев. Раньше он назывался Берендичев, «берендеев город». Как они попали сюда? А может быть, попал только один берендей, поселился, захватил себе эти земли?..

Рядом с центральным поселком торфопредприятия есть маленькая деревня — Милославка. В XI—XII веках там был небольшой городок — сохранился культурный слой, в котором встречается много славянских черепков, оружие и стеклянные браслеты.

На сельских поселениях обломки таких браслетов редки.

Может быть, был не городок, а княжеская или боярская усадьба? Не Милослава, а Мирослава? Мирославов известно не-сколько. Один из них, Мирослав Нажир, был боярином при Владимире Мономахе. Другой, киевский боян Мирослав Андреевич, выполнял дипломатические поручения Всеволода Большое Гнездо. Третий Мирослав, боярин Галицкий, неоднократно появляется в истории Владимирской и Суздальской земли...

А берендеи осели как раз в Галицком княжестве и служили в дружине князя.

Но почему обязательно берендеи? Может быть, не от них пошло это название. Всегда болота тревожат, «бередят» душу человека, к ним не привыкшего.

В наши леса славяне пришли с юга, из лесостепи. Там нет таких болот. Пришли земледельцы, пахари, которым предстояло воевать здесь не со степняками, а с лесом, освободить землю для полей и деревень. А рядом — болото, топь. Не лес, не луг, не пашня, не озеро. Одно слово — болото. Загадочный и никчемный кусок. И лес не вырос, и вода погибла. Бродят над болотами туманы, свиваются, скрывают их от человеческого взгляда. По кочам вспыхивают и плывут над кустами огоньки. А что там? Что скрывается? Какие тайны? Вот и населило людское воображение болота всякой нежитью, враждебной человеку, отдало в полную власть лешему и всему его роду. Порой длинноногий лось прорвется с треском сквозь кусты, разбрызгивая топь, да по осенним ночам на суходолах воют на луну волчьи выводки, собираясь в набеги. На глухой, укрытой лесом горе воют — на Волчьей горе...

— Что они так долго? — нервничал Хотинский, который спешил скорее попасть на болото. — Я же предлагал прямо к дому подъехать!..

Тане тоже скучно в машине. Один только наш шофер, пожилой и флегматичный Виктор Михайлович, привыкший к экспедициям, спокойно дремлет, откинувшись в кабине на спинку сиденья.

— Таня, вам не видно: идут наши мальчики?

Она высунулась из-под тента и осмотрелась.

— Нет, не видно их. Андрей, а правда, что на Берендеевом болоте погиб Евпатий Коловрат?

— Это какой Евпатий? О котором Ян писал в «Батые»? — спросил Хотинский. — А он на самом деле был? Я слышал что-то, когда здесь работал...

— Конечно, был! Евпатий Коловрат — лицо историческое.

А вот его последняя битва на Берендеевом болоте, скорее всего, легенда. Конечно, все быть могло: и оборона островка-суходола, и стенобитные орудия, и бой с татарской конницей...

— Верно, верно, молодые люди. Правильно все это! — раздался за нашими спинами чей-то голос.

Мы обернулись.

Во время разговора к нам незаметно подошел дед в ватнике, перехваченном ремешком, в замусоленной кепке на коротко стриженной голове, в старых широких штанах с заплатами. На ногах деда были обрезанные до щиколоток головки валенок с калошами.

На коричневом морщинистом лице под седыми бровями в узких щелках век светились голубые старческие глаза, а подбородок и щеки покрывала густая седая щетина.

— Здравия желаю! — приподнял он свой картуз. — Экспедиция какая, что ли? Чего искать на наше болото приехали?

Мы ему объяснили. Геологов старик видел, а археологи были для него вновь.

— Это за костями да за черепками, что ли? Вот там и бился Евпатий с татарвой! — охотно откликнулся старик на объяснения. — Своих-то всех хрестьяне чином похоронили, а татар так и оставили, их это кости! — убежденно говорил дед. — Мне внучек и стрелки оттеля носил — нешто разумный человек стрелку из кости делать станет? Татарское это! Нехрестьями были, хуже немца... А Евпатий Коловрат никакой не рязанский — наш, берендеевский! Потому и в болото их завел, что все тропки знал...

— Дед, да ведь Евпатий шестьсот лет назад жил, а мы раскапывать приехали сюда древних людей, когда и болота-то не было. Здесь же озеро было — озеро, понимаешь?

Старик был глуховат, и Никита прокричал ему в самое ухо.

— Во-во, озеро, это точно! — обрадовался тот. — Это тебе, милоч, всякий у нас скажет, что озеро! Было озеро. А потом Матрена заклала его — вот оно и болотом зашло...

— Какая Матрена, дед?

— А та, что камнем стала. Нешто не слышали? Ну вот меня, старика, теперь послушайте. Было это еще до Евпатия Коловрата. И татар никаких не было — православные жили! А вместо болота — озеро. Ха-арошее озеро, — произнес старик со смаком, — лучше, чем в Переславле! А здесь на Волчьей горе вдова с сыном жила, Матреной ее звали, а как сынка ее — не знаю. Парень

ейный все рыбачил. Ну, мать, известно, женщина — все боялась, чтоб не утонул он, жалела. А ему хоть бы что, все смехом!.. Уехал он как-то сети ставить, а тут гроза началась. Он возьми да и утони. А Матрена, как только сынок ее в озеро, сейчас на берег. И ходит, и смотрит, ждет, значит. Не вернулся он к вечеру, а она все ходит. Потом и лодку к берегу прибило. Вот тогда и прокляла она это озеро — стало озеро болотом! А сама Матрена хотела утопиться, да с горя камнем обернулась. С тех пор и стоит на берегу у нас баба каменная. Руки на животе сложены, а коса на спине платком покрыта. И как неастье какое, гроза будет — так словно пот по ней проступает или слеза, ей-богу! Лучше, чем прогноз, было...

— Андрей, может быть, это древний идол? — толкнула меня Таня.

— Нет, девушка, не идол. Баба Матрена! — ответил с живостью старик.

— А где же эта баба, дедушка? — спросил я у старика, заинтересованный легендой. Что, если это действительно древний идол? Славянский? Или тех, исторических берендеев?

— А вон там под горой стояла, когда я еще мальчишкой был, — ответил дед. — Свалили ее потом. Да что-то с войны не видать! Свезли ее куда, что ли? А только в войну у нас тут пленные работали, баню, бараки строили. Может, разбили нашу Матрену на камень, под фундамент на баню пошел...

— Ну, баню не сломать, — равнодушно проанес Хотинский. — Так, значит, толком никто и не знает, куда Матрена делась?

— Не знаю, сынок, не знаю! — Дед потряс головой и зачем-то снял картуз. — А была она — это точно! Это ты у всех стариков спроси — лучше прогноза действовала Матрена-то наша...

В это время к машине подошли Олег и Сергей в окружении ватаги мальчишек.

— Ну, где этот краевед? — нетерпеливо прищурился Никита.

Сергей развел руками.

— Нет его. Говорят, на болото ушел. Да ребята знают, как туда проехать!

— Мы покажем! Мы знаем, где Шурка черепки нашел! — загалдела ребятня и облепила машину. — Это за гаражом!..

— Тихо, армия! — весело произнес Сергей и поднял руку. — Кто у вас здесь главный?

Ребята замолчали и начали переглядываться.

— Нет главного? Тогда главным буду я. Всех не возьмем — только одного. И копать сегодня не будем. Так что смотреть вам нечего! А когда будут раскопки, тогда будете помогать, все будете. Договорились? Ну и ладно. Ты знаешь, где это место? — спросил он у самого старшего паренька, стоявшего с независимым видом чуть поодаль.

Тот вытащил руки из карманов и подошел ближе.

— Знаю. Это за гаражом, ближе к магистральному...

— Ну и залезай в кабину! Как тебя звать? Костя? Вот, Виктор Михайлович, Костя будет нам дорогу показывать, — сказал Никита, обращаясь к нашему шоферу, который проснулся и с интересом наблюдал за разговором. — Слезайте с машины, ребята, в следующий раз прокатим...

Кренясь и скрежеща тормозами, машина стала спускаться с Волчьей горы. Затем она выровнялась, и началась плавная качка. Как по волнам, мы ехали по мягкому, укатанному торфу вдоль узкоколейки. Ехать было бы даже приятно, если б не пыль и встречный ветер. Пришлось поднять всем воротники, нахлобучить и затянуть капюшоны штормовок, застегнуться на все пуговицы, завернуться в плащи и как можно реже открывать глаза.

Пыль въедалась в кожу и покрывала ее жарким, сухим слоем.

Я успел записать легенду об окаменевшей Матрене и теперь, подставив наты спину, начал пересказывать ее Сергею. Оказывается, Сергей легенду слышал и начал розыски людей, которые видели каменную бабу и могли знать, где она находится. В том, что это правда, он не сомневался. Судя по всему, статуя действительно лежала под фундаментом прежней бани.

Теперь от бани остались одни стены, и Сергей ждал, когда их соберутся ломать на кирпич. Тогда можно будет и поискать Матрену.

Меня же, кроме статуи, интересовала и легенда. Что она дошла до нас в искаженном и урезанном виде, было ясно. В первоначальном варианте должно быть больше действия, героики, страсти. В рассказе деда был только намек на сюжет, ничтожные остатки содержания древнего мифа. Что миф очень древний, сомневаться не приходилось. Здесь действовали силы при-

роды, заклятия, превращение человека в камень — колдовство и, по-видимому, кара за какую-то провинность самой Матрены, о чем легенда умалчивала. В полном варианте мифа героем должен был быть ее сын. Подобно былинным героям, он растет в отдалении от людей, на берегу озера, живет только с матерью и, вероятно, не знает, где его отец и кто он. С другой стороны, сюжет удивительно напоминал древнегреческий миф о Ниобе.

«Когда-нибудь к этому надо будет вернуться», — думал я. Странно, что легенда связана не с болотом, а именно с озером. Неужели так живучи предания? Если она не заимствована со стороны, а родилась именно здесь, ей не меньше трех тысяч лет. Ведь озеро полностью заросло в конце второго — в начале первого тысячелетия до нашей эры, как сказал Хотинский.

5

Сначала мы держались узкоколейки, потом проехали гараж и свернули налево, вдоль большой водосборной канавы. Торфоборочные машины проползли мимо нас к гаражу, и стало легче дышать — теперь ветер дул вдоль поля, достаточно влажно, чтобы удерживать пыль.

Фрезерное поле — полоса в несколько километров длины и полкилометра ширины. Его ограничивают валовые канавы — глубокие, прокопанные через торф и даже донный слой грунта. Они выводят воду с полей в магистральный канал. Само поле разделено поперечными канавками на «карты» — полкилометра в длину и пятьдесят метров в ширину.

Стоянка находилась на одной из таких карт в конце поля.

При переезде через очередную канаву шофер притормозил, и возле кабины возникла невеста откуда тонкая мальчишеская фигурка.

— Вот он, Коляев, — произнес наш проводник, высунувшись из кабины. — Эй, Шурка! Это к тебе приехали... археологи! Лезь сюда!

Шурик стоял в нерешительности, но при слове «археологи» просиял, вспрыгнул на подножку и заглянул к нам под тент. Увидев Сергея, его чумазая физиономия осветилась улыбкой.

— Здравствуйте, Сергей Иванович! — Голос у мальчишки

был ломок и немного плаксив.— А я думал, вы меня обманываете! Я ждал вас, ждал...

Он оглядывал нас, стараясь угадать, кто же здесь главный. Глаза его задержались на Хотинском, но Сережа назвал меня, и Шурик, шмыгнув носом и потерев о штанину грязную руку, подал ее мне, представившись:

— Коняев, Александр. Можете звать меня Шуриком... Я стоянку нашел первобытного человека,— проговорил он, словно отдавая рапорт. И, немного подумав, добавил: — Неолитической эпохи...

— Ну, залезай, Шурик,— пригласил Хотинский.— Мы как раз на твою стоянку едем.

— Тут близко, тут и пешком можно,— заторопился Шурик, поспешно переваливаясь через борт.— Я там только что был и вот еще собрал...

Он засунул руку в отвесный карман штанов и выложил мне на плащ горсть костяных обломков и несколько кремней.

— Это все вам,— добавил он, вытаскивая из другого кармана черепки.— Там много всего есть...

Шурик вытаскивал из карманов пригоршню за пригоршней, и его большие карие глаза светились на замызганной и запорошенной пылью физиономии. Чувствовалось, что для него наступил настоящий праздник. Еще бы! Не каждому мальчишке удается найти стоянку, да еще такую, на которую сразу приезжают археологи из Москвы!

Глядя на Шурика, можно было подумать, что растет он не по дням, а по часам. Руки почти до локтей высывались из старого, выцветшего и латаного пиджачка, который топорщился на плечах и застегивался только на одну пуговицу — остальные были оборваны. Из намазанных глиной и торфом штанов высывались голые цыколотки, с которых сползли носки. Похоже, что веряшливостью своей Шурик даже бравировал. Во всяком случае, чувствовал он себя в этом одеянии легко и свободно, размахивая руками и поминутно вытирая рукавом испачканный в торфе нос.

— А вы и вправду археолог? — вдруг спросил он ломким, немного срывающимся от волнения голосом.— Не врете?

— Как тебе не стыдно, Шурик! — возмутился Сергей. Я рассмеялся.

— Если не веришь, могу показать тебе документы. А что, по-твоему, все взрослые врут?

— Да нет,— смутился он.— Я так просто... Не видел еще ни

одного археолога. Думал, они все старые, с бородами... На что мне ваши документы!

— Ты уж извини, не успел постареть! Вот только усы и есть. Может, усов хватит, как ты думаешь?

— Хватит,— согласился Шурик.— Я ничего, я так просто...

— Андрей, смотрите, а ведь такая керамика у нас не встречалась! — перебила Таня.— Есть поковая, но не совсем. Льяловская ведь не такая? А вот и наконечники стрел, вроде тех, что Сережа принес...

— А вот это скребки,— подсказал Шурик с видом знатока.

— Откуда ты знаешь, что это скребки? — спросил Хотинский, который рассматривал Шуркины находки чуть ли не с большим интересом, чем мы.

— Я знаю! Я много знаю! — обрадовался Шурик.— Вот у него рабочий край,— показал он на обломок коричнево-красного кремня.— А вот ретушь. Такие маленькие-маленькие сколы. Я читал! Я знаю палеолит, мезолит, неолит... Потом бронзовый век, потом железный век,— начал он перечислять свои познания.— У нас еще цветные камни есть, каменная краска в карьере...

Керамика меня заинтересовала. Тапа была права: и похоже на льяловскую культуру, и не похоже. Ямки, но не круглые и конические, а словно наколотые — плотно, густо. И глиняное тесто другое, и форма венчика, и обжиг... Нет, это что-то новое! И орудия не совсем такие, как встречаются на стоянках льяловской культуры.

— Ну что, можно ехать? — спросил нетерпеливо Хотинский.— Там на месте разберемся...

До стоянки оказалось совсем близко. Всю дорогу Шурик не закрывал рта. Его распирало от гордости. О находках на сорок третьей карте знали все. Еще в мае, когда начали разработку этого поля, рабочие приносили в поселок черепки, кости, наконечники стрел, долота. А потом находили даже целые горшки, только их разбивали... Таня ахнула. Любой мальчишка с Волчьей горы мог вот так же собрать и принести в музей находки... Тут Шурик победно огляделся. А никто не догадался! Взрослые вообще говорят, что это никому не нужно, а то бы все равно узнали и приехали. Это не золото. А можно здесь золото найти? Ему-то золото не нужно, на что оно ему? Он краевед. Он об истории читать любит, у него по истории одни пятерки. По другим пред-

метам тоже ничего... тройки больше. Отец обещал его в Москву свозить, в Исторический музей. Отец тоже здесь работает на поле, вот и он домой приносил черепки. А Шурик все болото искодил, даже карту нарисовал! Он вырастет и археологом обязательно будет! Можно на археолога выучиться? Для этого надо в университет поступить? Нет, в университет его, пожалуй, не примут. А может быть, примут? Он постарается лучше учиться...

От восторга, что его слушают, Шурик подпрыгивал, взвизгивал, высовывался из-под тента и кричал шоферу, куда надо сворачивать. Наверное, он успел бы еще многое рассказать нам о себе и о своих планах, но машина остановилась. Мы приехали.

Незаметно мы обогнули центр болота и теперь оказались ближе к противоположному берегу, на котором белела церковка и домики села, чем к Волчьей горе. Ветер дул оттуда, и пыль проходила за нами в стороне. Можно было свободно дышать и растегнуть куртки.

Теперь показывать стоянку было не к чему. Она и так была перед нашими глазами.

Все торфяное поле было одинаковым — ровная буро-коричневая поверхность. Глазу не за что зацепиться: ни пятнышка, ни бугорка. Здесь же, примерно на середине поля, метрах в двухстах от нас, наискосок через две «карты» шло прямоугольное черное всхолмление, резко выделяющееся на фоне торфа. Его не могли сгладить даже барабаны фрезерных машин. Но самое главное — вокруг этого прямоугольника все пестрело от камней и черепков. Казалось, кто-то щедрой рукой рассыпал по поверхности торфа бесчисленные обломки неолитических горшков, мелкую речную гальку, разбитые кости, которые успели уже подсохнуть и посереть на воздухе, кремневые отщепы, куски разломаченного, растрескавшегося дерева.

Я перевернул большую плиту песчаника, испарпанную фрезерными зубьями. На другой ее стороне было широкое углубление, вроде тарелки.

— Ну как, Танюша, определите?

— Зернотерка? Нет, что я — шлифовальный камень, да?

— А что такое шлифовальный камень?

Шурик и Никита спросили одновременно.

Я объяснил. На таком камне — недаром был выбран именно песчаник — затачивали и полировали каменные и костяные орудия. Вот откуда это углубление и бороздки.

Ко мне подошел Олег:

— Андрей, а это что за штука? Гарпун?

Действительно, в руке Олег держал почти целый костяной гарпун с боковыми зубьями. Ну и ну!

Ветер, который мы так проклинали по дороге, словно готовил стоянку к нашему приезду. Он сдул торфяную пыль, весь торф, поднятый машинами, обнажив культурный слой со всем, что было в нем заключено.

— А вот это подвеска, честное слово, костяная подвеска!

Таня радовалась, как Шурик. Маленькая овальная пластинка с дырочкой у края. Ну разве найдешь такую в песке дюн?!

— Вы будете сейчас копать? — суетился Шурик, подскакивая то к одному из нас, то к другому, хватая с земли черепки и кости. — А где вы будете копать? Вы привезли лопаты? А то я могу домой сбегать...

Кости, наш проводник, смотрел на все это скорее равнодушно, хотя внимательно слушал разговоры и объяснения. Потом, увидев, что мы не собираемся копать, простился и отправился назад.

Первые восторги и волнения позади. Теперь начиналась работа.

6

Итак, в первую очередь — план стоянки. Я попросил занять этим Таню и Олега, достал им буссоль и планшет с миллиметровой. Сергей и Шурик, который ходил вокруг него с влюбленными глазами, начали собирать все, что можно было поднять на стоянке без раскопок.

Картовые канавы разрезали черный прямоугольник на три части. Перед нами были уже готовые разрезы слоев — их надо было чуть-чуть освежить лопатой. Несколько ударов острым лезвием — и вот уже все слои выступают в своей первоначальной чистоте.

Я не ошибся — от культурного слоя осталась самая малость: сантиметров двенадцать — пятнадцать, остальное сняли машины. Ниже лежал рыжий, плотный торф из осоки и хвощей. Их стебли были сплюснуты, спрессованы, но сохранились хорошо. Слой этот не превышал полуметра. Ниже начинались желто-голубые сапропели — озерный ил. Таким образом, поселение древних берендеев было не на открытой воде озера, а на болоте, воз-

ле берега, но крайней мере через пятьсот лет после того, как озеро отсюда отступило.

Хотинский зачищает лопатой стенку канавы, и внезапно в разрезе появляется длинная тонкая свая, уходящая нижним концом в сапропели.

— Подожди немного, я сфотографирую! — говорю я Хотинскому.

Свая чуть меньше метра длиной. Она совсем целая, и, если бы не мягкость дерева, можно подумать, что ее только недавно вбили.

Пока я фотографирую слои и сваю, под лопатой Хотинского появляется еще одна, в полуметре от первой. Осторожно, чтобы не сломать, мы извлекаем сваи из торфа и ила.

— Ель. И эта тоже еловая, — говорит Хотинский, растирая в пальцах кусочки коры.

— Ты посмотри, она даже затесана! — удивляется Сергей, очищая дерево от прилипшей грязи.

— Они все острые! Они все затесаны! Я знаю, я видел! — Шурик уже тут как тут, и Сергей цыкает на него, чтобы он поменьше прыгал и вмешивался в разговор.

Сваи заточены, как карандаши. У такие длинные затесы накладываются друг на друга. Они не плоские, а желобком.

Помедлив, Сергей идет к собранной им куче и возвращается с каменным брусочком в руке.

— Похоже?

Это тесло — топор с поперечным желобчатым лезвием. «Тесать» — работать теслом. Или наоборот. Обычным топором дерево рубят и раскалывают, а обтесывали раньше всегда теслами. И ширина лезвия как раз подходит к желобкам. Может быть, этим самым теслом и обтесывали наши сваи?

Олег побежал к машине за полиэтиленовой пленкой.

Сваи надо скорее завернуть — плотно, крепко, чтобы не разломались и не высохли. Сваи нужны нам, чтобы точно определить дату стоянки.

— По радиоуглероду? — догадывается Таня.

— Конечно! Разве можно упустить такой случай?

Радиоактивны не только минералы, но и живые организмы, и растения. Там, где нет искусственной радиоактивности или радиоактивных месторождений, основным источником радиации служит радиоактивный углерод с атомным весом 14. Его атом отличается от нерадиоактивных изотопов углерода тем, что у него не шесть или семь нейтронов, а восемь.

Радиоактивный углерод образуется в верхних слоях атмосферы из атомов обычного углерода под действием космических лучей. Затем он быстро окисляется, превращается в радиоактивную же углекислоту и вместе с обычной углекислотой усваивается живыми организмами, где находится в определенной пропорции до момента смерти животного или растения. С этого момента радиоактивный углерод не накапливается, а только распадается, в то время как обычный углерод остается в том же количестве, что и раньше.

Зная скорость распада углерода с атомным весом 14, можно подсчитать его количество в любом образце древесины, торфа или угля. А сравнивая полученные данные с первоначальным его количеством в момент гибели организма, можно установить, сколько прошло времени от этого момента до времени анализа. Если это дерево, то как давно его срубили. Если торф или известняк, — когда он начал откладываться. Если уголь, — когда сгорело дерево.

Пыльцевые диаграммы помогут установить период жизни поселения, климатические и природные условия тех времен. Радиоуглеродный анализ даст точную дату в абсолютных цифрах от наших дней.

Пока Хотинский отбирал образцы торфа и упаковывал их, мы занимались культурным слоем, оставив Шурика и Сергея продолжать сборы подъемного материала.

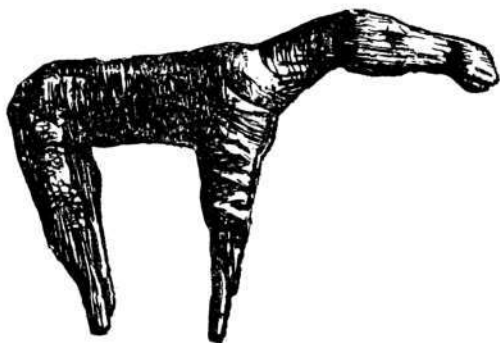
Зачищая сваи совком и лопатой, мы видим, что они образуют ряды. Вероятно, на сваях держался настил, на котором стояли дома обитателей стоянки. Это самое настоящее болотное поселение.

Здесь много щепы. Люди строились, жили, работали, чинили хижины и настил, выдалбливали лодки, которые, может быть, еще лежат где-то в сапропелях болота и только ждут археолога. Щепка разбрасывалась вокруг, попадала во влажный торф и сохранилась. Ее надо собрать. По щепкам, как по обломкам кремня, можно судить о рабочих приемах древних берендеев, о том, какими орудиями они пользовались.

Попадаются обломки тонких оструганных палочек. Может быть, это остатки древков стрел? Скорее их в полиэтиленовый мешочек! Час-два на солнце — и от них почти ничего не останется. В мешочек, завязать покрепче, чтобы сохранить влажность...

Издали кажется — просто черная земля. А когда ляжешь на нее, начнешь разбирать пожом, рассматривать, она преобразует-

ся. Чернота распадается на щепочки, угольки, разноцветные камешки, черепки, кости. Здесь много рыбьей чешуи и рыбьих костей. Все, все в отдельные мешочки! Эта работа уже для специалистов-ихтиологов. Они скажут, какие рыбы водились в древнем Берендеевом озере, когда их ловили. Определят виды, размеры, возраст по чешуйкам.



А вот еловые шишки. Для костра? Но лежат не сами шишки, а только их стержни, как будто белки поработали. Нет, наверное, не для костра. Люди выбирали семена и размалывали их в муку. Вероятно, поэтому же так много встречается и скорлупок лесных орехов. Кое-где и сейчас в деревнях орехи заготавливают мешками на зиму.

Странно, что здесь так много песка и мелкой речной гальки. Хотя, если подумать, ничего странного: жили ведь на деревянных настилах, на торфе. Чтобы развести огонь и не устроить пожара, нужны были песок, камень и глина. Мягкие комочки глины часто встречаются в слое.

Черепков, как всегда, много. Больше мелких, чем крупных.

Крупные все наверху, на поверхности. Шурик говорит, что сначала здесь даже целые горшки находили. Эх, если бы раньше попасть сюда!

Самое замечательное, что все черепки, которые я видел, одинаковые: у них один и тот же узор, они сравнительно тонкие, сделаны сосуды без швов... Хм, а ведь это интересно! Во всех неолитических культурах, которые оставили свои следы в здешних краях, горшки лепили одним и тем же способом: их как бы «свивали» из широких глиняных лент. Края лент заходили друг на друга, их сжимали, стискивали, и получался сосуд. Когда такой горшок разбивался, эти ленты и их скрепление в изломе всегда хорошо видны. Очень часто черепок расслаивается по месту «спайки». А здесь черепки без швов, будто сосуды сделаны из одного куска глины. И изломы не косые, а прямые.

Вывод один: горшки не «свивали», а выколачивали. Так выковыывают, втягивают медные котелки и кувшинчики — без единого шва и спайки. В таком случае на поверхности горшка остаются слабо заметные плоскости — от лопатки-наковаленки. Есть ли они здесь? Ну-ка, черепок побольше... Есть!

Орнамент отличается от орнамента известных культур, техника выделки тоже иная. Следовательно, это не местные племена, а пришельцы. Откуда?

Одна загадка рождает другую...

Хотинский кончил выбирать образцы и теперь перебрался к нам. Сейчас надо сделать вырезку из культурного слоя. В торфе сохраняется не только пыльца, но и семена растений. А на стоянке, кроме болотных растений, наверняка окажутся сорняки, сопровождающие обычно поселения человека. Может быть, среди них окажутся и культурные растения, например злаки? Или лен? Или конопля? В диком виде они здесь не растут. Даже одно такое зернышко уже позволит утверждать знакомство берендеев с земледелием.

Мой университетский профессор Александр Яковлевич Брюсов, раскапывая свайное поселение на реке Модлоне в Вологодской области, на одной из свай обнаружил зерна культурного льна. Они пролежали в торфе четыре тысячи лет, но, когда семена посеяли, они дали ростки.

Может быть, и у берендеев был лен?..

Солнце. Ветер. Мелкая пыль летит над торфом. Только когда встанешь, разогнешь зашедшую от усталости спину, увидишь и болото, и дальний лес, и кустарник у магистрального канала, и

далекие домики Волчьей горы с водонапорной башней над ними, как дозорной вышкой.

Пока работаешь, все исчезает, кроме этих кусочков костей, щепочек, черепков. Нет ни коричневых полей, ни серых проплевших сапропеля. И, только оглянувшись на раскаленное, начинающее краснеть солнце, видишь, что прошло уже много времени и день начинает склоняться за половину.

7

Чтобы не возвращаться на Волчью гору, еду мы захватили с собой и на общем совете решили устроить привал на поляне у магистрального канала. Все уселись в машину, а я пошел к месту привала пешком, через поле, в обход. Мне хотелось остаться одному, собраться с мыслями и в то же время отстраниться немного от наших замечательных находок, взглянуть на них как бы со стороны.

Мечты бывают близкие и далекие, возможные и невозможные.

Моя мечта стала реальностью, делом сегодняшним и настоящим.

В такие минуты на смену радости приходит легкая грусть: мечта осуществилась — одной мечтой стало меньше.

Рыжие поля торфа лежали передо мной обнаженные, пустые. Они позволили нам лишь приоткрыть завесу своих тайн и теперь снова сомкнулись, непроницаемые и молчаливые. Что еще хранится в их влажной глубине? Какие секреты?..

Когда я подошел к нашим, обед был уже готов. Машину удалось довести до самого магистрального канала, и из-за кустов был виден только ее брезентовый порыжелый верх. Вокруг шумела зелень; спотыкаясь о валуны, журчала вода в канале, и ничто не напоминало о пыльных торфяных полях, начинавшихся в какой-нибудь сотне метров отсюда.

На густой зеленой траве была расстелена клеенка, стояли кружки с холодным утренним молоком и лежали бутерброды. Распоряжался всем Виктор Михайлович.

Шурик, поначалу отнекивавшийся, теперь с аппетитом уписывал бутерброд за бутербродом, которые подвигала ему Таня.

Хотинский подал мне кружку с молоком.

— ...Вот я, к примеру, шофер, во многих экспедициях бы-

вал, — продолжал начатый раньше разговор Виктор Михайлович. — Ну, что мне эти черепки? Увидел бы я их раньше — и бросил! Теперь уже буду знать, что древние. А только непонятно мне, зачем их все-то подбирать? Конечно, интересно посмотреть, как раньше люди жили, что делали. Ну, а потом-то что? К чему это все? Только для истории одной? Вот что мне, неученому человеку, непонятно. Геологи камни собирают, полезные ископаемые ищут. А здесь?

Виктору Михайловичу возражала Таня:

— Конечно, археология — это история. Но вот вы подумайте, Виктор Михайлович. Вы были в Средней Азии? Были? И пустыни видели? Раньше считали, что всегда там были пустыни, и ничего с этим сделать нельзя. А когда в пустынях начали работать археологи, оказалось, что в древности пустынь-то этих не было! Были леса, были плодородные земли, города были...

— Так это же когда было! При царе Горохе?!

— Не в том дело — когда, а в том — почему так случилось! Оказывается, люди вырубали леса, потом стали распахать землю, и стала исчезать вода. А потом вместе с водой исчезла и последняя растительность. Появилась пустыня. Археологи не просто нашли древние поселения. Они подсказали геологам, где искать под землей воду, как вернуть реки в их древние русла. И теперь наступление на пустыню идет по плану, который составляли не только мелнораторы и геологи, но и археологи...

— Ну, в пустыне может быть, — неохотно согласился Виктор Михайлович. — А здесь же не пустыня? Здесь все на виду!

Таня не нашлась, что сказать, и посмотрела на меня.

— Понимаете, Виктор Михайлович, вопрос этот действительно очень сложный, — вступил я в разговор. — Большинство людей считает, как вы: если наука, то давайте сразу же результаты. Но наука в своем чистом виде тем и отличается от строительства, от сельского хозяйства, от промышленности, что занимается не частными проблемами, а общими законами. Каждое открытие — это проникновение человека в общие законы природы и общества...

— Да вы меня не агитируйте за науку, Андрей Леонидович! — обиделся Виктор Михайлович. — Что такое наука, я хорошо понимаю, всего навивдался и послушался. Мне суть важна!

— Вот я о сути и говорю. Практическое применение любого открытия всегда будет — рано или поздно. Кстати, вы ничего против электричества не имеете?

— Это в каком смысле против? Да как же без электричества жить?!

— Очень хорошо. Электричество обнаружили опять-таки ученые. Долгое время искорка от заряженной лейденской банки или электрофора была только забавой. Рассказывают такой анекдот. Одна дама спросила у Бенджамена Франклина: «Скажите, какое практическое значение может иметь эта искорка?» — «Сударыня, — ответил ей с поклоном Франклин, — у вас родился ребенок. Скажите, какое практическое значение он будет иметь через двадцать лет?» Кстати, о сельском хозяйстве — это будет и вам интересно, Таня! Во время первой мировой войны в Дании, в одном из самых молочных округов, начался падеж скота. Сначала подумали, что пастбища отравлены. Но потом выяснилось, что в травах не хватает какого-то микроэлемента. Почему? Что случилось с почвой? Ответ на это смогли дать археологи. Оказывается, в железном веке, две с половиной тысячи лет назад, на этих лугах были поля. Археологи нашли четкие следы древней пахоты. И эти поля как бы выкачали необходимые микроэлементы из почвы. Как видите, польза археологии налицо. Я думаю, если бы у нас почвоведы работали в более тесном контакте с археологами, нам удалось бы во многих местах поднять плодородие истощенных земель быстрее, чем это делается сейчас...

— Да, — покачал головой глубокомысленно Виктор Михайлович. — Что для Никиты Александровича ваша наука нужна, это я вижу. А так все-таки черепочки...

— Кстати, какое твое впечатление от стоянки? — спросил я Хотинского. — Приблизительная датировка?

— Если учесть, что над стоянкой пограничный горизонт был свят или относился к самому слою стоянки, что маловероятно, тогда, по составу нижнего торфа, стоянка должна была существовать примерно в конце четвертого — в начале третьего тысячелетия...

— А Льяловская — конец третьего тысячелетия до нашей эры, — заметила Таня. — Как же так получается?

— При чем здесь Льяловская? — спросил Хотинский.

— Льяловская стоянка, возле села Льялово, под Москвой, на Клязьме. Она считается самой древней неолитической стоянкой в наших местах,

— Считалась, Таня! — поправил я ее. — Вы сами назвали дату, которую получил Брюсов. Но его статья прошла незамеченной. О древности Льяловской стоянки писал в двадцатых годах Жуков, поместив ее чуть ли не в седьмое тысячелетие до нашей эры, утверждая при этом, что все последующие неолитические культуры нашей полосы произошли от льяловской. Если Никита Александрович прав в своих предположениях, то открытие Берендеева меняет многие наши представления о прошлом этих мест.

— Почему?

— Видите ли, таких древних стоянок в Волго-Окском междуречье мы не знаем. Действительно, тип льяловской керамики пока древнейший. Искали еще более древнюю, более примитивную, но не нашли. А льяловская керамика... Как бы это сказать точнее? Она слишком совершенная! Всякое новшество, в том числе и глиняная посуда, появляется не в готовом виде, а в процессе развития от менее совершенного к более совершенному. Поэтому и искали предшественников льяловской керамики. Не нашли. Тогда, естественно, пришли к выводу, что идея обожженной глиняной посуды была заимствована льяловскими племенами в готовом виде у других, более развитых племен...

Я рассказал о своих наблюдениях над берендеевской керамикой и показал на черепках следы выбивки.

— Если дата хотя бы приблизительно верна, может статься, что в наших руках то самое недостающее звено! Тем более, что из этого орнамента вполне мог получиться льяловский, более простой. А качество берендеевской керамики значительно выше, чем льяловской да и многих последующих культур...

— Вы думаете, Андрей, что это особая берендеевская культура? А откуда могли появиться здесь эти берендеи?

Таня с интересом разглядывала находки.

— Я не думаю, я только предполагаю. Вот давайте-ка разберем сейчас все находки и попробуем выяснить, что это были за люди и почему, в отличие от всех прочих, поселились на болоте, а не на коренном берегу...

Разбирая и раскладывая собранное, я продолжал размышлять.

Вот кости. Гладкие, черные, легкие. Трубочатые кости ног, позвонки, бабки, большие челюсти со сверкающей эмалью борозчатых зубов — это остатки лосей. Лоси для людей эпохи неолита были тем же самым, что для палеолитических охотни-

ков — мамонты. Из жил лося получались нитки и тетива для лука. Шкуры шли на постели, покрытия легких летних чумов, на обувь. Из костей лося выделывали самые различные орудия: узкие долотца, проколки, наконечники стрел, рыболовные крючки, кивжалы, подвески и украшения, ложила для шкур, кочедыки для плетения. Всего этого в целом виде и в обломках мы собрали здесь столько, что становилось даже немного обидно за плещевские стоянки. Ведь все это было когда-то и там, только не сохранилось...

Эти массивные челюсти с крупными клыками — медведь. Вот эти, маленькие, — бобр. Из резцов бобра тоже делали подвески и долотца. А это птичьи кости. На некоторых видны кольцевые надпилы — готовили трубчатые бусины для ожерелий.

Все эти кости, кроме орудий и поделок, отправятся к зоологам на изучение.

Все черепки как будто от двух-трех сосудов, настолько керамика «стандартна». Косые узкие ямки расположены плотно друг к другу. В более поздние времена они редкют. На льяловских сосудах орнамент иной, идет зонами — горизонтальные зоны ямок разделяются полосами отпечатков зубчатого штампа. Здесь зубчатого штампа нет и ямки совсем другие. Где же я видел такой же орнамент? На Оке? В Прибалтике? Может быть, на Урале? Нет, ничего похожего... Днепро-донецкая культура? Не совсем так, но очень похоже. И время подходящее. Неужели берендей пришли оттуда?

Важность этой догадки понимает только Таня, но она относится к ней скептически. Днепро-донецкая культура, так далеко? Там — европейцы, здесь — угро-финны. Большинство археологов по традиции считает, что неолитические племена Волго-Окского междуречья были угро-финнами, древними предками летописной мери, мордвы, чуди, веси и мещеры. Я согласен, что какими-то отдаленными предками мери и веси они могли быть, только вот и мери, и весь — вовсе не финно-угорские племена! Иначе так просто не происходило бы в этих краях их слияние со славянами, уже безусловными индоевропейцами... Нет, нет! Родина угро-финнов за Уральским хребтом, и здесь они появились уже только в железном веке, да и осели-то лишь по Оке. Испокон веков с конца палеолита до первого тысячелетия до нашей эры в Восточной Европе обитали предки индоевропейских народов... Иначе никак не объяснить сложный процесс развития и смешения различных археологических культур на этой территории.

Правда, в эпоху железа можно уже видеть, что культура — это одно, а народ — совсем другое. Во время Римской империи в Центральной Европе жило много самых различных племен, говоривших на разных языках, а археологически все они принадлежали к одной культуре — латенской...

— А ты, Шурик, плохо собирал, — замечает Олег, отбирая из общей кучи кремль и каменные орудия. — Мало кремня собрал! Я же тебе говорил, что все нужно, даже маленькие отщепы.

— Я все собирал, все! — вспыхивает Шурик. — Спросите у Сергея Ивановича, мы всё брали!

— Правда, Олег, здесь кремня мало...

В самом деле, почему же так мало кремня на стоянке?

К тому же ни одной кожевидной пластинки! Для ранних неолитических стоянок они обязательны. Потом, когда появляется металл, они исчезают, но чем древнее стоянка, тем их больше. А кремня у них было действительно мало: все, что только можно, берендеи старались делать из кости или из серого сланца, тоже валунного.

Из сланца выпиливали и шлифовали тесла, долота, плоские рабочие топоры, обломки которых мы нашли.

Чем все это объяснить?

Давайте думать. Вряд ли это случайность — случайности тоже закономерны. Обитатели Плесеева озера получали свой кремль или с Оки, с юга, — темно-желтый, непрозрачный, иногда черный, или с севера, с Верхней Волги, — лиловатый, просвечивающий. Там, на Верхней Волге, под Ржевом и Старицей, открыты в районе месторождений огромные мастерские по обработке камня. Кремневые желваки, которые выламывали из известняка, обкалывали, очищали от известковых корок на месте. Оттуда расходился кремль уже в заготовках, полуобработанный, чтобы не везти лишнего груза.

Судя по орудиям добытчиков, по остаткам этих мастерских, верхневолжские месторождения были известны чуть ли не с конца палеолита.

В Белоруссии в последние годы тоже найдены неолитические шахты, служившие для добычи кремня. Но там кремль черный и зеленоватый.

У берендеев же кремль пестрый, валунный, в трещинах.

Значит, почему-то берендеи не могли пользоваться месторождениями? Не знали? Но если они действительно пришли с юга, они должны были бы знать месторождения на Оке или хотя бы

на Дону. Однако и южного кремня у них нет. Что-то мешало им. Не что?

— Может быть, они двигались другим путем, минуя месторождения? — подсказывает Хотинский.

— Ну что вы, Никита Александрович! А связи с другими племенами? А торговля?

— Торговля тоже не всегда возможна, Таниуша! Из этнографии мы знаем, что в тропической Африке, например, роль посредников-торговцев между большими племенами выполняли маленькие племена, владевшие к тому же каким-нибудь ремеслом, вроде кузнечного. Исполняли они и дипломатические поручения. С другой стороны, есть описания того, как раз в году эскимосы Аляски, жившие на морском берегу, отправлялись за кремнем для орудий в глубь материка по рекам. Их путь проходил по территории враждебных племен, и каждая такая экспедиция превращалась в военный поход. Но эскимосов было много, и они были хорошо вооружены...

— Может быть, берендеев не пропускали?

— Минутку, Сережа! Кажется, я начинаю догадываться. Мы забываем, что места эти были заселены давно, задолго до прихода берендеев, если они действительно пришли с юга. Где могли поселиться пришельцы? Только на болоте, у заросшего озера. Но они оказались в изоляции. Все пути — на север и на юг — были закрыты враждебными племенами.

Вот почему у них не хватало кремня! Они могли достать только валунный, который собирали на ближних холмах, так же как и серый сланец. На стоянках, где много кремня, сланец встречается редко. Может быть, местные жители не умели его как следует обрабатывать? А берендеи, если судить по этим каменным и костяным орудиям, по остаткам строительного искусства, по керамике, были на голову выше окружавших их соседей.

Если это так, если предположительная дата Хотинского окажется верной, мы разрешаем и самый важный вопрос: откуда появилась в Волго-Окском междуречье у неолитических племен керамика.

— От берендеев? — с сомнением протянула Тая. — Но ведь льяловская, вы же знаете, Андрей, она гораздо хуже и грубее! И форма сосудов проще, и орнамент другой, и техника... Разве может так быть?

— Конечно, Тая! Берендеевская керамика когда-то прошла долгий путь развития. Перед нами черепки — как бы итог этого

пути, результат высоких профессиональных навыков берендеевских гончаров. Эти навыки передавались из поколения в поколение, они совершенствовались... Теперь представьте, что вы познакомилась с гончаром, который делает великолепные горшки и мяски, кувшины, котелки... Вы будете сидеть рядом с ним, смотреть, учиться готовить глину: как ее копать, месить, лепить. Но у вас никогда не получатся такие красивые и звонкие горшки — обжигать их еще надо! — как у него. Здесь то же самое. Была взята не керамика — идея глиняной посуды. И естественно, что подражание вышло гораздо хуже, чем оригинал. Кстати, я совсем не уверен, что к местным племенам попали берендеевские гончары...

— Как так?!

— Мое предположение, что берендеи в конце концов смешались с местными племенами, только одна из возможных гипотез. Точно мы этого никогда не узнаем, никакие раскопки не помогут. Гораздо вероятнее менее счастливый конец берендеев. Доказательства лежат сейчас у Никиты Александровича Хотинского в полиэтилене.

— А что такое? Свая?

— Да, свая. У некоторых обуглен верхний конек.

— Поселок погиб от пожара?

— Совершенно верно! Следы огня есть не только на сваях, но и на некоторых костяных орудиях, например на наконечниках стрел, причем совершенно целых, — не сломанных и выброшенных за ненадобностью, а целых. Вы все видели, что в культурном слое множество угольков, торф, похоже, местами горелый. Если наши предположения верны, можно думать, что вражда с окрестным населением привела берендеев к катастрофе. Однажды ночью на поселок напали враги, и он погиб в огне. Берендеев было слишком мало, чтобы они могли уцелеть. Впрочем, пожар мог быть и случайным!..

— Вот видишь, Шурик, какую интересную стоянку ты нашел? — Сергей потрепал мальчишку по вихрастой голове, и тот радостно засмеялся.

— Значит, и копать теперь вам здесь не надо, так, что ли? — подвел итог разговору Виктор Михайлович, со вниманием прислушивавшийся к каждому слову.

— Копать, Виктор Михайлович, обязательно надо! — отозвался я. — То, о чем мы сейчас говорили, — всего лишь гипотеза. Ее надо проверять. Но в этом году начинать работу нет смысла. Раскопки начнем следующим летом. Что мы можем сейчас?

Заложить небольшой раскоп? А надо вскрывать сразу всю площадь поселения. И работы здесь хватит не только археологам, но и палеоклиматологам, и геологам, и химикам...

8

Всю зиму мы готовились к раскопкам на Берендеевом болоте. Нас особенно интересовали результаты анализов. Первоначальная дата, полученная в лаборатории по радиоуглероду, казалось, подтвердила наши предположения о большой древности Берендеева. Но повторный анализ в двух лабораториях указал иное, более точное время — середину III тысячелетия до нашей эры, чему соответствовала и пыльцевая диаграмма, составленная Хотинским.

Труднее всего приходилось мне как археологу. Мало получить дату — нужно найти место новой стоянки в ряду уже известных памятников и культур. Однако счастье нам улыбнулось. Разбирая материалы раскопок предыдущих лет, я обнаружил, что берендеевская керамика присутствует в коллекциях с некоторых стоянок, а на многослойном поселении Польце, расположенном на Вексе возле Купанского, образует целый слой. И по своему залеганию слой этот полностью соответствует полученной дате и пыльцевой диаграмме.

Самое удивительное, что на этом открытии не закончились. В ту же зиму я смог написать статью, объясняющую загадку волосовской культуры — одной из интереснейших и наиболее ярких культур эпохи неолита в наших краях.

Дата, полученная нами для Берендеевского поселения, определяла время не только слоя с такой же керамикой на Польце, но позволяла наметить время и последовательность других культур, оставивших здесь свои следы.

Волосовская культура, названная так по деревне Волосово около Муром на Оке, была одной из первых неолитических культур, открытой более ста лет назад. Довольно скоро археологи заметили, что поселения этой культуры встречаются не только на Оке, но гораздо шире. Сейчас они известны от Казани до Карелии и Белого моря и от Приуралья до Балтики. Самыми характерными признаками волосовской культуры считается керамика — обломки толстостенных пористых сосудов, украшенных геометрическими узорами: «елочкой», зигзагом, треугольниками, оттиснутыми длинным и широким, иногда двойным зубча-

тым штампом. Однако и остальные предметы, не меньше керамики, отличаются от набора вещей других культур. Для волосовской культуры характерны прекрасные, ювелирной выделки, кремневые наконечники стрел, дротиков и копий, большие плоские кинжалы и сегментовидные ножи, оформленные тончайшей «струйчатой» ретушью, широкие и узкие желобчатые долота, маленькие кремневые скульптуры и, что особенно интересно, янтарные украшения.

Вот тут обычно и начинались споры. По моему мнению, и этот янтарь, и керамика, и формы орудий указывали на происхождение волосовцев из Прибалтики. Однако большая часть исследователей, в том числе и Бадер, считали, что волосовцы пришли в наши края с противоположной стороны — из Прикамья, Приказанья или же с низовьев Оки. Согласно такой точке зрения, волосовская культура помещалась целиком в первую половину II тысячелетия до нашей эры, становясь уже «энеолитической». Это означало, что наряду с камнем волосовцы уже использовали медь и бронзу. Действительно, на некоторых стоянках, относящихся к самому позднему этапу развития этой культуры, удалось найти отдельные бронзовые вещи.

Аргументы моих противников были достаточно вескими, и в течение многих лет, начиная со студенческой скамьи, мне было трудно доказать свою правоту. Интуитивно я чувствовал в своей гипотезе какой-то просчет, который и не позволял опровергнуть доводы противников. Берендеево неожиданно пришло на помощь.

Суть заключалась в том, что на Польде «волосовский» слой с янтарем лежал под «берендеевским» слоем. А это означало, что волосовская культура по крайней мере на полтысячи лет древнее, чем принято считать.

Такая разница (кстати сказать, она подтвердилась потом и на других памятниках) заставила меня составить перечень признаков, характерных для разных этапов волосовской культуры.

Вот здесь ошибка и стала явной. То, что в течение века археологи считали одной культурой, на самом деле оказалось двумя, имеющими разное происхождение и разделенными почти тысячей лет. Только внешнее сходство некоторых признаков да укоренившееся ошибочное представление мешали в течение долгих лет разделить два мощных человеческих потока, один из которых устремился в Волго-Окское междуречье из Прибалтики

в начале и первой половине III тысячелетия до нашей эры, достигнув низовьев Оки, и другой, отмеченный постепенным проникновением обитателей низовья Оки и Среднего Поволжья на север.

Правы были и мои противники и я,— нам следовало лишь внимательнее посмотреть на свои доказательства и «разделиться». И, как всегда происходит, берендеи помогли разобраться с волосовцами, а последние помогли понять появление берендеев.

Появление в наших краях берендеев совпадало с началом так называемого «климатического оптимума», связанного с повышением температуры и понижением уровня водоемов. Раньше всего это сказалось на юге. Там, где раньше была лесостепь с островами леса, господствующей стала степь. Стали пересыхать болота. Люди двинулись на север за лесом и охотничьей добычей. Пришедшие откуда-то с юга берендеи оказались не такими древними, как нам хотелось (и казалось вначале), но от этого они не стали менее интересными.

В конце мая, когда дороги просохли, мы с Хотинским отправились на Берендеево, чтобы еще раз осмотреть стоянку перед началом раскопок и подготовить все к приезду экспедиции. По обеим сторонам дороги шумели одевающиеся леса. На холмах зеленели прямоугольники полей. Среднерусское лето обещало быть солнечным и жарким.

И Берендеево болото, когда мы снова увидели его с Волчьей горы, стало каким-то более ярким и сочным. А вокруг нас все так же серели островерхие крыши земляных сарайчиков, напоминающая древнерусский городок; почернела и облупилась старая водонапорная башня; желтели, просыхая на солнце, ряды корчеванных пней, сложенные над обрывами у домов.

Машина остановилась возле дома Коняевых.

Нам Шурик почему-то совсем не обрадовался. Он подрос, стал сдержаннее в своих чувствах, но на его длинном лице отразилась не радость, а скорее непонятное изумление, что он нас видит.

Когда мы сказали ему, что хотим посмотреть стоянку, чтобы подготовиться к раскопкам, и пригласили с собой, он удивился еще больше.

— А что там копать-то теперь? Все и так перекопано! Археологи раскопали, а потом мальчишки...

Теперь пришлось нам удивляться.

— Постой, постой, что ты путаешь? Какие еще археологи?

Ты разве нас не узнал? Ведь это мы в прошлом году приезжали...

— Знаю, что приезжали! А после вас еще археологи приехали, тоже на машине. Высокий такой, худой, сердитый...— Шурик назвал имя человека, которого я хорошо знал.— Вы не стали копать, а он копал. Два дня они там были, у нас останавливались. Потом в школу заехали, все находки забрали, у ребят всё взяли. Потом уехали. Они много там ям нарыли, всю стоянку перекопали...

— А потом?

— А потом уже ребята. Мы археологов спрашивали: приедете еще? Нет, говорят, не приедем. Значит, все выкопали. Ну и всю осень наши ребята там копали! Череп человеческий нашли, копы с ним... Да туда не только наши со второго участка ходили — там и с центрального были, и из Черняева. Им близко! Видите, вон деревня за болотом?..

Мы стояли ошеломленные. Можно было предположить все, но только не такой нелепый исход Берендеева!

Ну хорошо: приехал, посмотрел, собрал материал. Была бы возможность, я бы всех археологов пригласил раскапывать Берендеево: больше разных мнений, больше гипотез, больше интересных соображений. Но зачем шурфовать? Шурф приходится закладывать на поселении только в том случае, когда на поверхности ничего не видно, надо выяснить залегание слоев, определить культурную принадлежность и время памятника.

Больше того. Шурф должен закладываться с таким расчетом, чтобы потом он вошел в систему раскопа.

Я не решился начать маленький раскоп, чтобы не разрушать стоянку, чтобы после нашего отъезда у ребят не было соблазна ковыряться в нем.

Шурик утверждал, что ребята честно выполнили свое обещание и на стоянке ничего не трогали до приезда Крайнова.

Когда он уехал, оставив шурфы даже незасыпанными, начался разгром...

9

На стоянку мы приехали мрачные. Не хотелось разговаривать. Не хотелось смотреть.

Берендеево кончилось. Рухнула мечта, с которой мы жили

весь год. Все пространство черного прямоугольника, где лежали остатки построек, теперь было перевернуто, перекопано ямами, засыпано черепками и костями еще больше, чем в прошлом году. Черепки были ребятам не нужны — они искали только хорошие орудия. Торчали растрескавшиеся и измочаленные сваи. Почему-то было очень много бересты.

Среди ям виднелись оплывшие квадратки шурфов — метр на метр, расположенные по всем правилам археологической науки: вдоль и поперек они пересекали стоянку. А вокруг них как будто трудились тысячи кротов или кабанов.

Я смотрел на эти остатки, и в горле шевелился терпкий комок. Это было чудовищно. Мне хотелось плакать. Это было невероятно. Я мог сколько угодно корить себя, что не начал раскопки прошлой осенью на свой страх и риск; оправдывать себя, что действовал именно так, как должен действовать археолог, а не кладовискатель; снова корить и снова оправдывать. Еще не начав работу, экспедиция прекращала свое существование.

Оставалось опять вернуться на плещеевские дюны. Вести там раскопки и ждать, когда на Берендеевом болоте найдут еще одно такое поселение. Но подсознательно я чувствовал, что это — одно-единственное. Все остальные, которые могут быть, — другие...

— Что ж ты в Москву нам не написал? — упрекнул Шурика Хотинский. — Я же тебе адрес оставлял!

— Я хотел, да потом подумал, что вы и так все знаете, что так нужно, — оправдывался Шурик, на которого нелепость и трагичность всей этой истории тоже подействовали удручающе. — Ведь археолог же он!..

Чтобы отвлечься от горьких мыслей, я начал собирать все, что валялось на поверхности. Но делал это скорее по привычке, механически. Не было ни одушевления, ни напряженности поиска, которые не оставляли меня в прошлый раз. Казалось, был нарушен сам смысл того, что я делаю.

Хотинскому нужны были образцы торфа, лежащего под слоем. Взяв лопату, он начал расчищать небольшую площадку возле юго-западного угла прежнего настила, где не было шурфов и ям.

Шурик, сбегав к машине за лопатой, взялся ему помогать, чтобы хоть чем-то загладить свою оплошность.

У меня не выходил из головы рассказ Шурика, что ребята

нашли череп. Дважды, трижды неудача! Мы совершенно не знаем древних обитателей этого края. На стоянках погребения встречаются очень редко. Есть могильники на юге, на Дону и на Днепре, известны могильники в Прибалтике и в Карелии, а также на Севере. Мало того, что поселение погибло — погибло погребение берендея! Шурик утверждал, что череп был завернут в бересту. Ни от черепа, ни от бересты ничего не осталось. Береста рассыпалась на кусочки. Череп торжественно несли на палке до поселка, а потом стали играть им в футбол!..

А что, если вся эта береста, что валяется вокруг, из таких же разрушенных погребений?! Право, об этом лучше не думать...

Когда я подошел к Хотинскому, они с Шуриком уже расчистили довольно большую площадку, где проступил рыжий торф. Но меня заинтересовало темное пятно, выступавшее в углу расчищенного квадрата. В пятне торф был слежавшийся, плотный, и в нем торчал небольшой черепок.

Взяв лопату и расчистив площадку пошире, я увидел, что пятно небольшое и овальное — около метра по длинной оси. Яма? Зачем она была выкопана? Настил лежал на сваях и на торфе сантиметров на десять — пятнадцать выше.

На всякий случай сфотографировав и зарисовав это пятно, я принялся его разбирать. Торф отделялся не пластами, как обычно, а откалывался крупными кусками. Между ними я нашел несколько черепков, угольки и две разбитые косточки.

Потом нож наткнулся на бересту.

«Бревно, — решил я. — Ну и что? Расчищу бревно...»

Но береста продолжала идти вширь. Торф отделялся от нее легко, открывая широкую поверхность как бы большого цилиндра. «А вдруг?» — мелькнула мысль. Нет, так не бывает! Спокойней, спокойней... Береза упала в болото и сгнила. Под берестой будет труха. А это зачем? Почему из-под бересты высовываются остроганные палочки? И трава? Кость! Не просто кость — череп!

— Никита, Шурик! Погребение!

— Ты что, шутишь?

— Да нет! Самое настоящее погребение!

Берендеево словно сжалилось над нами. Невероятно — и все-таки вот оно! Как хорошо, что с собой взяты и нож, и кисти...

По-видимому, древние берендеи хоронили своих покойников

в бересте, точнее, в широком берестяном цилиндре. Но он короткий. Следовательно, покойник был сложен втрое и связан, Скорченное погребение!

Обычно погребенные в неолитических могильниках лежат вытянувшись. «Скорченников» находили главным образом на юге, в степях. Еще один довод в пользу южного происхождения берендеев! Какой череп у этого берендея? Тоже южный — круглый, европеовдвый?

Шурик суетится. Он то откидывает в сторону торф, то ложится на живот и сдувает пылинки с бересты.

Еще осторожнее, чем раньше, я начинаю разрезать и разворачивать бересту. Теперь уже не только Шурик, но и Хотинский полулежат рядом затаив дыхание.

Разворачивать — не то слово. Слои приходится снимать по кусочку, по чешуйке...

Под первым слоем бересты оказывается второй. Между ними проложены стебли осоки и несколько тонких струганых палочек, концы которых я заметил раньше. Ах вот оно что! Такие палочки идут и под вторым слоем — это каркас.

— Они веревками перевязаны, — тяжело дыша, говорит Никита.

— Где? Да, веревки... Неолитические веревки!

Веревки распадаются на отдельные клочки. Скорее мешочек из полиэтилена! В лаборатории реставраторы найдут способ их укрепить и выяснят, из чего они свиты. Кажется, лыковые...

Цилиндр оказался сделан из трех слоев бересты. Каждый слой обложен палочками, травой и перевязан — для прочности. Только когда мы все сняли, зарисовав и сфотографировав, перед нами открылся скелет. Колени и кисти рук его были сложены под подбородком, ноги плотно прижаты к телу. Наверное, пришлось покойнику подрезать сухожилия, чтобы придать ему эту позу. По заросшим черепным швам, по зубам, стертым и ветхим, видно было, что берендей этот стар — ему было не меньше 70—80 лет, если не больше.

Работая кистью, я заметил на костях какой-то странный черный налет — остатки ткани. Большая часть ее распалась, прилипла к костям, но все-таки нам удалось отделить несколько кусков величиной с ладонь. Ткань была темно-коричневой, редкой, похожей на грубую мешковину, и под лупой хорошо были видны поблескивающие волоски пряжи.

Когда все было расчищено и упаковано, мы смогли встать, выпрямиться и отдышаться.

Под берестой лежал рыжий, никем не потревоженный торф. Интересно, что берендей похоронили не под настилом, а рядом. Это спасло его от разрушения. Я бы тоже никогда не догадался искать его в чистых слоях торфа.

— Выходит, берендей хоронили своих покойников рядом с домом. Интересно: почему? — спросил Хотянский.

Почему? На это, наверно, было много причин. Может быть, они боялись выносить кладбище на берег — покойники могли попасть в руки врагов. В первобытном обществе умерший был даже более дорог и важен для рода, чем живой. После смерти он оставался в роду и считался его незримым охранителем. Ему следовало приносить жертвы и всячески его улаживать. Именно поэтому берендей могли похоронить своего старого сородича рядом с жилищем. Так он становился незримым стражем поселка.

Увы! Этот старый берендей не смог охранить стоянку от врагов ни в древности, когда запылал поселок на болоте, ни теперь, когда его разрушили сначала рабочие торфопредприятия, а потом мальчишки. Он сохранил только себя. И на этом ему спасибо!..

— Последний подарок берендеев! — пробормотал я, глядя на пустую яму.

Шурик встрепелся.

— А вы знаете, ребята говорят, на шестом участке, где гараж раньше был, тоже черепки есть. Только там давно не работают.

— Что же ты раньше молчал? — закричал Хотянский.

— Забыл... Я сам еще туда не ходил, все собираюсь...

Мы с Никитой переглянулись.

— На шестой участок?

— Конечно! Давай, Шурик, лопаты в машину...

И по мягким торфяным полям мы отправились в плавание по Берендееву болоту...

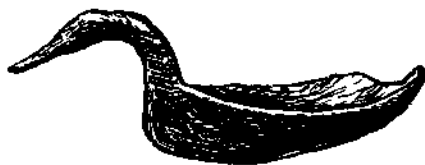


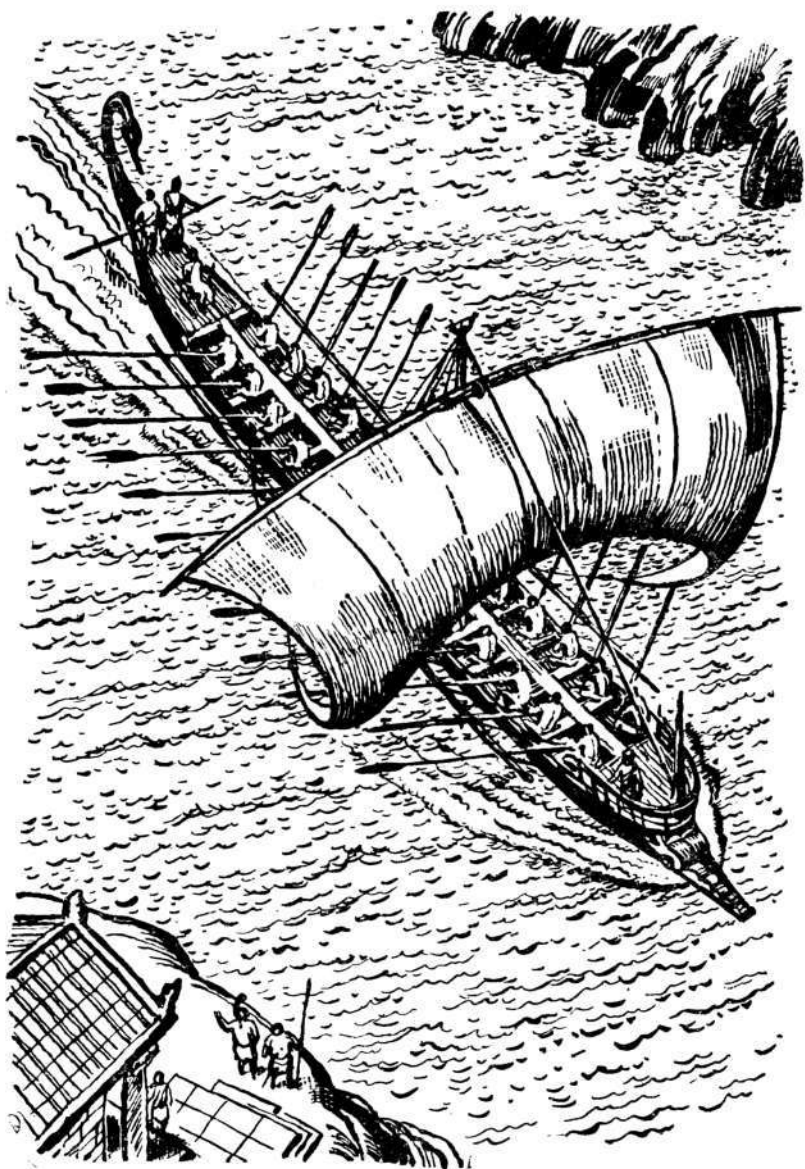
Нет, второй такой стоянки мы не нашли — ни тогда, ни позже. Берендеево-1, как называется теперь это поселение, осталось единственным в своем роде. И хотя на болоте нам удалось

отыскать на суходолах другие стоянки, уже обычные для этих мест, там в древности жили иные «берендеи». Может быть, те, что и сожгли наше свайное поселение.

«Нашему» Берендееву-I всегда не везло. Его сначала сожгли, а потом разрушили и его остатки.

Эх, берендеи, берендеи!..





Глава третья

ВИЛЛА У МОРЯ

1



ак смотри, рыбак, не проспи завтра! — хлопнул меня по плечу Кузьма Иванович. (За глаза все рыбаки звали бригадира Кузей Маленьким.) — В море пойдем, крестить тебя в рыбацкую веру будем...

Мы сидели на причале и смотрели, как опускается в море солнце. Обширная Караджийская бухта казалась отлитой из стекла. Вечернее солнце высветило далекий мыс, на котором свечкой горела белая и тонкая башня старинного маяка, облило красными потоками степь и домики Оленевки. Перед нами на бетонном скате причала, готовые к пуску, стояли осадистые широкоскулые фелюги. Официально они именовались мотоботами, но в просторечье рыбаки сохранили старое название, укоренившееся в Крыму еще в турецких временах.

На Тарханкут, собственно на Тарханкутский полуостров, самую западную оконечность Крыма, я приехал из любопытства к новым местам и к изумительно красивому морю. Нигде больше не приходилось мне видеть такого ярко-синего моря, такой прозрачной воды, когда на десятиметровой глубине можно рассматривать на дне камни и следить за движением рыб.

Здесь выжженная каменистая степь, жаркая и пустынная, лежит под белесым южным солнцем. Над ней царствуют зной и ветер. Впервые попав в этот край, я счел Тарханкут за осколок тех древних, давно уже не сохранившихся степей, о которых напоминают белесые гривки ковыля, суслики, столбиками стоящие возле своих норок, да редкие теперь дрофы, большие и важные птицы, степенно разгуливающие вдали от дорог...

Сам полуостров, если можно было бы взглянуть на него сверху, являл собой плоскую треугольную скалу. Сдутая ветрами, смытая зимними дождями почва сохранилась только в ложбинах. Пласты известняка, славящего Тарханкут, лежат в степи огромными плитами, создавая впечатление каких-то гигантских построек древности, сглаженных и разрушенных временем.

Я поселился в Оленевке. Белые домики села растянулись вдоль берега лимана, отделенного от залива широкой полосой

песчаной пересыпи. Это и был крайний предел Тарханкутского полуострова, который оканчивался двумя длинными мысами, охватившими, словно руками, глубокую бухту. На одном из мысов стоял старинный маяк, на другом находился рыбацкий причал. Наплававшись с маской и ластами, я приходил к рыбакам. Здесь пахло морем, рыбой, высыхающими водорослями — горьковато, тревожно, точно в эту смесь запахов вошли синие просторы и белые паруса былых кораблей.

На причале был свой, особенный мир. Люди собрались сюда разные. Больше других мне нравился Кузьма Иванович Апанасенко. Невысокий, уже пожилой, с добрым сморщенным лицом, почти черным от загара, с ловкими руками, в которых мелькала игла, стягивая прорехи в сети, он был потомственным черноморским рыбаком. Подсев рядом и распутывая сеть, Апанасенко рассказывал мне о рыбах, о том, где и когда надо выметывать сети, о своем отце, передавшем сыну секреты рыбацкой науки. Мне хотелось выйти с рыбаками в море. Апанасенко знал об этом, но молчал. И только теперь, когда надежда иссякала, последовало приглашение.

— Что, Кузьма Иванович, домой пойдём? — подошел к нам помощник бригадира Филипп Никитович. — Проверил я, все готово...

Апанасенко надвинул на лоб выгоревшую кепчонку.

— Пойдем, Филя, пойдем... Так ты смотри не проси завтра! — напомнил он мне на прощание.

Рыбаки добирались домой на велосипедах, по шоссе вокруг лимана, а я — пешком по длинной песчаной пересыпи, отделявшей лиман от бухты. В степи пахло полынью и чабрецом. Пряный запах был особенно явствен по вечерам, и, проходя по остывающему песку, я как бы погружался в теплый и плотный поток, стекающий из степи в море.

На следующее утро Феодора Григорьевна, моя хозяйка, уступившая мне маленькую комнатку с окном в огород, разбудила меня чуть свет. Чтобы скорее попасть на причал, я решил идти не по пересыпи, как обычно, а, выйдя на дорогу, свернуть за колхозным садом прямо на берег лимана, мимо скотных дворов. Я спешил и не сразу заметил, как среди раковин, сначала редко, потом все чаще и чаще, под ногами начали мелькать красные окатанные черепки. Дома на юге обычно кроют черепицей. Ее красные обломки валялись по всей Оленевке. Но, когда среди раковин вдруг мелькнула ножка амфоры, я остановился.

Греческая амфора? Откуда она здесь? А вот и обломок ручки! Чуть дальше из-под груды ракушек высовывался ~~черный~~ блестящий черепок. Такой хороший, густой и глянцевый черный лак был у древних греков не позднее IV века до нашей эры.

В душе моей происходил разлад: археолог ссорился с рыбаком. Если первый умолял подождать, осмотреть все вокруг, то второй и слышать не хотел — второй спешил на причал, где должны были уже спускать на воду фелюгу. Сначала археолог переспорил. Отгибая руками кусты бурьяна, я осмотрел несколько метров берегового обрывчика. Так и есть! В обрывчике, правда очень редко, торчали черепки амфор. Здесь находились остатки древнегреческого поселения.

«Ну что, доволен? — спросил с раздражением рыбак археолога. — Тогда клади черепки в карман и марш вперед! Никуда от тебя не денутся древние греки...» — «Ну еще минутку... Вот только здесь посмотреть!» — доказывал археолог. «Хватит, хватит! Посмотришь вечером или завтра», — настаивал рыбак.

В конце концов рыбак пересилил и, засунув археолога в карман вместе с черепками, припустил по берегу к причалу.

— Пришел? — чуть повернулся в мою сторону Апанасенко, когда я взбежал на причал. — Помогай подпорки выбивать!..

Подхватив кувалды, мы с Филиппом Никитовичем встали у подпорок, сдерживавших фелюгу на берегу.

— Давай! — властно скомадовал Апанасенко.

Один, другой удар — и летят в сторону подпорки. Судно чуть покачнулось. Заурчала лебедка, выпуская носовой канат. Крепя и покачиваясь на натянутых тросах, фелюга сползла по настилу и плюхнулась в воду. Наш моторист был уже в рубке. И сейчас же, еще не успели разойтись волны, застучал мотор, запыхал синим дымком, заплевал водой охлаждения.

Сколько раз потом наступал для меня этот момент, когда земля, берег, причал отодвигаются, исчезают, становятся далекими и нереальными, а впереди открывается синий простор моря. Все равно! Не только у себя — у старых, опытных моряков подмечал я то же самое волнение, которое свойственно человеку, уходящему в неизведанное. Никогда море не бывает одним и тем же. И каждый новый рейс — новый, и неизвестно, каким будет возвращение...

Кузя Маленький стоял на корме, надвинув на глаза выгоревшую кепку, упираясь локтями в будку моториста. Перед его глазами был укреплен большой плоский компас. Длинный железный шкворень руля он зажал между ногами, и, когда фелюга

сваливалась с курса в сторону, он лишь слегка переступал вправо или влево по палубе.

...Ровно работает мотор, чуть слышно шипит и вздыхает волна у борта. Стоит только приноровиться, на минуту закрыть глаза, а потом открыть, и кажется, что фелюга стоит на месте, а необъятное море, словно огромный синий диск, качается и переваливается от горизонта к горизонту. Желтые обрывы Тарханкута отошли, скрылись за туманной дымкой.

— Вот видишь, так и ходим! — начинает разговор Апанасенко. — Что в море? Ни тропки, ни знака... Компас и часы — только и инструмент! Отошел от причала, курс наметил, засек по часам — и иди. Сегодня близко пойдем, всего час ходу. Тут главное — с курса не сбиться! А как время вышло — так и ищи ма́халки...

Ма́халки — длинные вешки с флажками, которые стоят на поплавках возле концов сетей.

Прислонившись к борту, я почувствовал в кармане черепки и вспомнил об утренней находке. Интересно, а как греки ходили? Ночью по звездам или только вдоль берегов? Ведь ни компаса, ни универсальных часов, кроме солнечных и водяных, у них не было...

— А зачем это тебе, Андрюша, черепочки? — скашивает глаза Апанасенко. — Играть, что ли, как дитё?..

Он следит за стрелкой компаса, пока я объясняю, что это черепки древних греков, которые жили когда-то на берегу лимана.

— Верно, татары таких не делали! — соглашается он, вертя в пальцах чернолаковый черепок. — А вот такую штуку целую мы в бухте как-то подняли после войны. Высокий такой кувшин, с двумя ручками и ножка острая...

— Амфора? А где подняли?

— Аккурат посреди бухты... Может, и амфора! В Евпаторию в музей свезли. Там у них такие стоят... А черепки эти у скотного двора на берегу валяются...

— Так вот я там и нашел!..

— Ишь ты! Говоришь, древние греки? Тут кого только в Крыму не было! И греки, и турки... Греки-то еще на моей памяти у нас жили. Их бригада на Атлешу кефаль ловила — все греки...

— А еще, Кузьма Иванович, не знаете, находили где-нибудь такие черепки? Или амфоры?

— Дай подумать... — Он еще ниже надвигает на глаза свою

кепчонку.— Вот у Донузлава, слышал я, тоже вроде что-то нашли. Якорь вроде бы деревянный и со свинцом. Не наш якорь, старинный!.. А там на берегу и стены какие-то сложены. Да и в Окуневке, ближе сюда, тоже вроде крепостца какая-то есть. Камень оттуда на дома брали, помню...

За разговором незаметно идет время. Солнце поднимается выше. Апанасенко поглядывает на часы. То один, то другой рыбак высовывается из кубрика, приглядывается к горизонту. Петро шарит по воде биноклем.

— Правее держи, Кузьма Иваныч,— говорит он наконец бригадиру.— Похоже, наша махалка: два флажка сверху, третий подвернут!..

Апанасенко чуть переступает влево, и фелюга меняет курс.

Вот она, сеть! Ее концы скручены, перевиты. На них висят пустые створки мидий, запутались прозрачные, отливающие синевой медузы-пилемы, маленькие губки. Здесь глубина около восьмидесяти метров, как сказал мне Апанасенко. Сеть светится в прозрачной тьме. Потом в этой лазоревой тьме начинает что-то белеть, мелькать...

— Море белое! — с азартом кричат рыбаки.

— Белое — значит, рыба есть,— поясняет Филипп Никитович.— Это у калкана брюхо светится...

Ракушки впиваются в ладони, хрустят по палубе под подошвами. Саднят маленькие ранки, болит спина с непривычки.

— Давай, давай! Ничего! — подбадривают друг друга рыбаки.— Давай, ребята...

Шлепаются в открытый люк трюма шипастые блины камбалы-калкана. Изредка попадают скаты — черные, скользкие морские коты. Они бьются на палубе и хлещут вокруг сильным и тонким хвостом с зубчатой иглой на конце. Не попадайся, не подставляй руку или ногу — до кости рассечет острая как бритва игла! Раньше из этих игл делали наконечники для стрел. Вонзится — не вытащишь. Считается, что именно такой стрелой, смазанной ядом, и был убит под Троей легендарный Ахилл.



Сеть, сеть, сеть... В трюме растет гора рыбы. Мы сменяемся через каждые сто метров сети. В ставке три сети — три километра. Подтянул, ударил о борт, освобождая от ракушек и рыбы, перехватил, снова подтянул... Это хорошо, что погода такая! А при волне повернет фелюгу, понесет на сеть, наматает ее на винт — и лезь в воду, ныряй, распутывай...

Солнце, свежий запах рыбы, слепящие блики на воде.

— Вся сеть! — Петро перегибается через борт и втаскивает последний шест с махалкой.

Фелюга разворачивается и ложится на обратный курс.

Вот и все. Вымыта палуба, закрыт трюм. Горой лежат мокрые, перепутанные сети. Снова наступает сонная, усталая тишина. И опять, зажав шкворень руля, стоит Кузя Маленький, поглядывая то на компас, то на туманный горизонт из-под козырька своей кепочки.

— Так, говоришь, древние это черепки? — начинает он прерванный было разговор. — Я так считаю, что если они у моря жили, то тоже рыбачить ходили. От тех греков, может, и наши были, оленевские. Только как же их татары-то оставили?..

С этими черепками я забыл на время и рыбаков, и маску с ластами. На том месте, где стоял теперь скотный двор, когда-то находилось древнегреческое поселение. Правда, найти там удалось немного: черепки, зеленую, совершенно разрушенную медную монету, грузило от рыболовной сети — вот и все. В музей, в Евпаторию, я предполагал заехать на обратном пути, чтобы узнать что-нибудь о тарханкутских древностях. Но все произошло иначе.

В один из моих наездов из Оленевки в Черноморск, районный центр Тарханкута, вместе с Володей Коробовым, секретарем райкома комсомола, уже под вечер мы зашли на городской базар — маленькую, вытопанную, без единой былинки площадь в окружении колхозных ларьков. Площадь примыкала сзади к полуразрушенной церкви с колокольней, одной из немногих достопримечательностей Черноморска, который когда-то так и назывался — Ак-мечеть (Белая Церковь). В прошлом веке, во время русско-турецкой войны, вражеский корабль подошел к берегу и обстрелял маленький поселок. Намеренно или нет, но ядро попало в колокольню. Случай этот не был забыт, когда, после заключения мира, Россия представила Турции длинный список понесенных ею убытков. Инцидент с ак-мечетской церковью был расценен как оскорбление святых, и вплоть до

первой мировой войны турки аккуратно выплачивали за это ежегодную контрибуцию...

В остальном Черноморск ничем не отличался от других южных приморских городков: тихий, маленький, белый, с зелеными двориками, перекрытыми сверху виноградными лозами.

Гордостью черноморцев была небольшая, совершенно круглая бухта, опоясанная ровным песчаным пляжем, да розы. Такого количества роз — в садах, на улицах, в скверах — я не встречал нигде в Крыму. Розы были и в других селах Тарханкута, куда возил меня на своей машине Коробов. Черный, худой, горбоносый, словно поджаренный на южном солнце, агроном по специальности, он любил землю, Тарханкут, и все мечтал, что вот-вот сможет вернуться к любимой работе. На мои удивленные вопросы о розах Коробов отвечал как-то кратко и невразумительно: нравятся людям цветы, вот и разводят...

На черноморском базаре продавали первую тарханкутскую черешню. Длинные черные тети от построек пересекали площадь, и каждый камень, каждый бугорок, незаметный днем, когда солнце стояло высоко, теперь явственно проступал на пыльной и голой земле. Скользя взглядом по знакомой площади, я вдруг увидел, что через нее, наискосок, идут остатки какой-то каменной стены.

— Ты не знаешь, что здесь раньше было? — спросил я Коробова и показал на полосу камней.

Он посмотрел и пожал плечами.

— Наверное, старая ограда церковная... Рынок здесь уже после войны сделали.

— Хм... церковная? — усомнился я. — Что-то непохоже! Церковь прямо от нас стоит, а эта стена наискосок идет...

— Хотите, скажу вам, что это такое? — раздался сзади голос.

Мы обернулись. В очереди за нами стоял такой же худой, как Коробов, дочерна загоревший мужчина. На небольшом скуластом лице с узкими хитрыми глазами обозначилась выжидающая полуулыбка. Одет он был довольно небрежно: сандалеты на босу ногу, помятые парусиновые брюки, явно широкие для него, и белая, тоже мятая, рубашка с закатанными рукавами. В руках он держал авоську с продуктами и — что больше всего привлекло мое внимание — полевую сумку.

«Из какой-то экспедиции, — мелькнула мысль. — Геолог?»

— Вы знаете, что это за стена? — спросил его Володя.

— Знаю. Это не церковная стена. Это остатки хоры...

— Хоры? Сельскохозяйственной округи? — переспросил я удивленно. — Иначе говоря, это стена клера?

— Ну да, стена клера, — поправился он, и в этот момент на его лице проступило удивление. С минуту мы оба растерянно смотрели друг на друга. — Постойте, постойте! — закричал он. — Откуда вы знаете, что хора состояла из клеров?!

Стоявшие в очереди начали недоуменно поглядывать на нас. Коробов ничего не понимал и осторожно спросил:

— А что такое клер?

— Клер — это земельный надел, который получал каждый свободный гражданин в античные времена...

— Клер — это земельный участок, усадьба, — произнесли мы почти одновременно с незнакомцем.

— Вы что — историк? — спросил он осторожно.

— Такой же, как вы! — ответил я, показав взглядом на его полевую сумку.

— Ах вот оно что! — Он засмеялся. — А я здесь копаю!

Так, совершенно неожиданно, произошло мое знакомство с Александром Николаевичем Щегловым, археологом и тогда научным сотрудником херсонесского музея. Уже несколько лет Щеглов вел раскопки на Тарханкуте. Остатки каменной стены, которую я случайно заметил на базарной площади, действительно принадлежали ограде древнегреческого клера — земельного участка, который получал каждый свободный гражданин древнегреческого города-полюса. Все вместе клеры образовывали хору — земледельческую округу города.

— Я-то немного другое имел в виду, — объяснил Щеглов, когда знакомство состоялось. — Тут произошло любопытное смешение понятий. На Тарханкуте в конце прошлого века хорой называли вот эти каменные стенки, которыми разделялись участки в клере. Название каким-то чудом сохранилось в языке. О том, что здесь был древнегреческий город, уже никто не помнил...

— Подождите! — воскликнул я, осененный догадкой. — Ведь Черноморск — это бывшая Керкинитиды?

Я вспомнил, что большой залив, отделявший Тарханкут и Крым от северного берега моря и Днепро-Бугского лимана, до сих пор называется Керкинитским заливом.

— Нет, — поправил меня Щеглов. — Керкинитиды — это теперешняя Евпатория. Здесь же находилась Прекрасная Га-

вань — Калос Лимен, — если вы помните херсонскую «Присягу» и декрет в честь Диофанта.

Ну конечно же! Достаточно было взглянуть на Черноморскую бухту — круглую, с пологим песчаным пляжем, на который так удобно вытаскивать легкие греческие корабли, чтобы понять, почему так называли греки этот город. И городище оказалось тут же, за городским парком: высокий длинный холм, с двух сторон окруженный заплывшими теперь «языками» бухты...

2

Через день после этой встречи, распростившись с Оленевкой и рыбаками, я сошел с автобуса в Черноморске и, не заходя к Коробову, отправился на розыски Щеглова.

Щеглов сказал, что найти его проще простого: выйти из города и идти на север по берегу. А там, на берегу одной из многочисленных бухточек, они и копают. Если короче, то еще проще: выйти на городище Калос Лимен, взять за ориентир геодезический знак на ближнем к морю бугре, а держаться от него чуть правее.

— Впрочем, — закончил он немного загадочно, — археолог должен сам дорогу найти!

...Мой путь лежал через пляж, мимо городища, и я подумал, насколько же меньше был этот город в те далекие времена: не четверть Черноморска, не одна десятая, а двадцатая или сороковая. Меньше Оленевки.

Конечно, Прекрасная Гавань и тогда считалась «местечком», «крепостцой». Город в понятии древних греков являлся независимым государством: город-полис. Каждый город имел своих богов, свои традиции, свою территорию — вот эту округу, хору. Все это объединялось понятием «родина», «отечество». Но это было там, в Элладае. Здесь на берегах Черного моря, где греки основывали свои колонии, впрочем являвшиеся вполне самостоятельными государствами, связанными только дружескими узами с прежней родиной, положение было несколько иным.

Если в Средиземноморье различались, к примеру, афиняне, милетцы, жители Коринфа, Делоса или Родоса, то здесь прежние «иногородние», «чужеземцы», объединялись в едином понятии «эллины». Эллины — и варвары — все негреческие племена: скифы, тавры, меоты, синды, сатархи. Два мира, две культуры.

Отношения между ними складывались сложно. Мирная торговля сменялась военными стычками. Если греки постепенно прибирали к рукам окружающие их земли, старались обратить в рабов местное население, то те, в свою очередь, зарылись на греческое богатство, постепенно перенимали греческую культуру, пытались захватить эллинов врасплох.

В разное время на северных берегах Черного моря возникли три главных центра, три греческих государства. Древнейшим по праву считается Ольвия — город на берегу Буго-Днепровского лимана. Почти одновременно с ним, на месте современной Керчи, возник Пантикапей, вскоре ставший центром большого Боспорского царства. И наконец, в конце V века до нашей эры на Гераклеяском полуострове, возле современного Севастополя, выходящий из Гераклеи Понтийской заложил фундаменты первых домов Херсонеса.

Если древние греческие города в Аттике вырастали в течение столетий из маленьких селений, то у черноморских городов-колоний, как правило, нет предистории. В лучшем случае, на том месте, где поселенцы начинали возводить крепостные стены, могла первоначально находиться торговая база — эмпорий. Города здесь строились сразу: с распланированными улицами, с заранее отведенными местами для храмов, торговой площади, пристани. Одновременно в окрестностях города происходило размежевание земель. Каждый свободный гражданин получал определенный и равный с другими надел земли — клер. На клере находились виноградник, огороды, плодовые сады, хлебное поле. Клер давал все, что обеспечивало жизнь городу, и, конечно, торговлю.

При раскопках Херсонеса археологам повезло. Они нашли мраморный постамент статуи некоего Агасикла, сына Ктесия, которого народ почтил за множество заслуг перед городом. Заслуги перечислялись здесь же, на постаменте. За свою жизнь Агасикл был: агораномом (смотрителем рынка), гимнасархом (попечителем гимназия, школы), стратегом (военачальником) и жрецом. Кроме того, он устроил рынок, был стеностроителем (возможно, не только финансировал, но и сам проектировал стены), предложил декрет о постоянном гарнизоне и провел его в жизнь. Но главное — «размежевал виноградники на равнине».

Судя по его деятельности, Агасикл, вероятно всего, стоял во главе города, быть может, даже организовал само переселение гераклеяцев в Крым.

Но Херсонес не стал бы Херсонесом, таким важным торговым центром, если бы он ограничил свою территорию только теперешним Севастополем. Плодородной земли вокруг города было немного. Рядом начинались горы, населенные дикими и враждебными таврами, которые, по рассказам древних писателей, приносили в жертву богам попавших в их руки чужеземцев.

Зачем же тогда было основывать город именно на этом месте? Из-за гаваней? Ведь дальше, на запад, начиная от Евпатории, простираются степи с плодородными каштановыми почвами.

Да, на них и рассчитывали херсонеситы. Но расчет был сложнее, а прицел дальше. Северо-западный Крым, где они основали Керкинитиду и Калос Лимен, должен был стать житницей Херсонеса, основной сокровищницей херсонеситов. А центр государства, Херсонес, они с расчетом поставили у подножия гор, затруднявших продвижение вражеских армий, и на самой южной оконечности Крыма, почти пересекающей Понт Эвксинский на две части. Херсонеситы хотели постепенно захватить в свои руки всю черноморскую торговлю, держать под контролем кратчайший путь за море.

Впрочем, еще требовалось доказать, что Тарханкут был житницей Херсонеса. Археологи об этом могли только догадываться, читая строки знаменитой «Присяги» херсонеситов, найденной при раскопках города: «Клянусь Зевсом, Землей, Солнцем, Девой, богами и богинями олимпийскими и героями, которые владеют городом и землею и укреплениями херсонеситов: я буду единомыслен относительно благосостояния и свободы города и сограждан и не предам ни Херсонеса, ни Керкинитиды, ни Прекрасной Гавани, ни степ, ни прочих земель, которыми херсонеситы владеют или владели, ничего никому — ни эллину, ни варвару... и хлеба вывозимого с равнины не буду продавать и вывозить в другое место с равнины, но только в Херсонес...»

Щеглов был уверен, что именно здесь, на Тарханкуте, следует искать разгадку мощи и благосостояния херсонеситов. И в клерах Калос Лимена, на теперешней базарной площади Черноморска, и в том поселении, на которое я наткнулся у Оленевки, Щеглов видел подтверждение своей правоты...

Пустая каменная степь плыла и качалась в море нагретого воздуха. «О какой дороге упомянул Щеглов?» — думал я, выйдя за город. Дорог в степи было много: справа, между поля-

ми, пылили по грейдеру машины; прямо, среди заплывших окопов и траншей, оставшихся от войны, тянулись случайные колеи, тропки, пересекавшие друг друга, белели россыпи камня. Слева в полукилометре синело море.

Дорога — древняя, новая? Вероятно, все-таки древняя. Я начал приглядываться к ложбинкам, буграм и неожиданно заметил, что далеко не все камни просто разбросаны по степи. На широком отлогом склоне низкой гряды виднелись чуть заметные полосы рассыпанного известняка. Иногда полосы пересекались под прямым углом.

«А не остатки ли это таких же стенок, что сохранились на базарной площади? — подумал я. — Клеры окружали Прекрасную Гаваю со всех сторон. А если есть клеры, должна быть и дорога между ними! Ну-ка, посмотрим...»

Как ни странно, дорога эта, вернее ее слабые следы, оказалась у меня под ногами. Между россыпями камней от стенок шла ровная полоса около шести метров шириной, сворачивающая по степи под прямыми углами. «Стенки» окаймляли ее чуть заметными валиками.

Теперь идти стало проще. Сначала полоса древней дороги поднялась к геодезическому знаку, о котором упоминал Щеглов, затем круто свернула направо, к морю, по гребню холма. Пройдя еще немного, когда до берега оставалось метров двести, дорога также резко свернула вдоль моря и стала спускаться в широкую ложбину. Впереди открылась небольшая бухточка. На ее берегу белело несколько палаток, а подаль был виден и раскоп, на котором двигались полуголые ребята. С их лопат слетали тучи пыли, относимые ветром в море.

Щеглов шел навстречу, радостно улыбаясь и размахивая руками. В плавках и белом чехле от матросской бескозырки на голове он казался совершенно бронзовым от загара.

— Нашел?! По дороге шел? Вот так же сюда и я пришел в первый раз... Давай рюкзак! Ну, как тебе нравится наш лагерь?

На расчищенной от камней площадке стояло четыре палатки: две маленькие, хозяйственная и щегловская, и две побольше, рядом с которыми поднимался шест с вымпелом. На синем поле вымпела выделялся зеленый круг, через который полз жирный белый змей.

— Что это — флаг экспедиции? — спросил я.

— Это? — Щеглов посмотрел на вымпел. — «Змееныши» привезли с собой, это их знамя...

— Какие «змееныши»?

— А вон видишь, работают как звери? Первоклассные рабочие, о таких археолог может только мечтать! Это ребята из Симферопольского историко-археологического клуба — есть там такой клуб при Доме пионеров. Все лето проводят в экспедициях. Первое свое крещение они получили в Змеевой пещере — вот и называют себя «змеенышами!» А змей на вымпеле — это их патрон, покровитель. У них свои командиры, железная дисциплина. И хозяйство сами ведут — мне никакой заботы. А как юпают! Вот посмотришь сейчас...

— Ну, а меня куда?

— Вот сюда. — Он распахнул брезент своей палатки. — Это — моя раскладушка, это — Шилика. У нас ведь и геофизик работает. А тебя — посредине. Спальный мешок есть, а Алешку, сына моего, мы к «змеенышам» отправим. Есть хочешь? Нет? Ну, пошли тогда!..

Раскоп лежал метрах в тридцати от лагеря, на самом обрыве. По-видимому, здесь находилось когда-то маленькое укрепление: подходя, я заметил следы неглубокого запывшего рва, окружавшего низкий холмик. Море подточило берег, разрушив часть этого холмика. Над самой водой, где работали «змееныши», уже были видны очищенные от земли остатки невысоких стенок, делившие помещение на небольшие комнатки, и разложенные на краю раскопа куски разбитой греческой черепицы. Поодаль, склонившись над прибором с проводами и инструментом, похожим на циркуль, стоял мужчина в очках, красных плавках и алой косынке на голове. По-видимому, это и был геофизик.

— Вот она, наша гордость! — говорил Щеглов, пока мы шли к раскопу. — Знаешь, что это такое? Первая — не только на Тарханкуте, в мире! — загородная древнегреческая вилла! Тут был один из последних клеров — во всяком случае, дорога кончается как раз здесь. Какой-то житель Прекрасной Гавани, получив этот земельный надел, решил выстроить загородный дом — с жилыми комнатами, с кладовыми... И мы его сейчас как раз откапываем...

Так началась моя жизнь на вилле.

Действительно, это была загородная древнегреческая вилла — сельская усадьба. От клера, на котором построил ее какой-то житель Прекрасной Гавани в IV веке до нашей эры, осталось немного: за две с половиной тысячи лет море успело уничтожить около двухсот метров берега. Не пощадило оно и здание. К при-

ходу археологов все остатки жилых комнат успели обрушиться в море. Остались только хозяйственные помещения и кладовые. Их и расчищали «змееныши» во время моего прихода.

— Ведь это первая в мире вилла четвертого века до нашей эры! — с восторгом рассказывал Щеглов, ведя меня в первый день по раскопу. — Вот ты прошел по дороге, видел клеры? Они занимают все пространство вокруг древнего города. Там, дальше, есть даже остатки стены, которая окружала хору... Стеной обносился не только город, но и его округа. Об этом раньше никто не знал. Ты, наверно, разочарован, увидев наши маленькие раскопы? Но подожди! Они небольшие, зато что в них лежит... Вот посмотри хотя бы на эти пифосы!..

Пифосы — огромные глиняные «бочки». Подобно тому как амфоры — вытянутые узкогорлые сосуды с острой ножкой и двумя ручками — представляли стандартную форму древнегреческой тары, пифосы, вкопанные для устойчивости в землю, были универсальными хранилищами для сыпучих и жидких продуктов. Древнегреческий философ Диоген жил как раз в таком пифосе, только несколько больших размеров, чем те, что осторожно расчищали ребята. В этих пифосах хранилось зерно и вино: на дне некоторых уже нашли виноградные косточки, хотя до самого последнего времени считалось, что на Тарханкуте виноградарство невозможно и здесь росла только пшеница.

Большие пузатые сосуды с округлым верхом и широким горлом фактически были совершенно целыми. Фактически — потому, что каждый обломок можно было поставить на свое место. В самом Херсонесе, где таких обломков собрано много, целый пифос склеить не удавалось: города живут долго, а глиняная посуда так бьется! Кроме того — и это было самым главным, — на венцах всех пифосов оказался обозначен их объем. Полностью восстановленные и вымеренные, они впервые помогут определить систему мер Херсонеса, известную сейчас лишь в цифровом, а не в ее фактическом значении.

По раскопанным комнатам и узкому коридорчику, который их соединяет, можно ходить, ступая по глинобитному полу, подметенному вновь после двух тысячелетий. Босой ногой ощущаешь колкость ссохшихся комочков земли и глубокую теплоту нагретого солнцем камня...

Под быстрыми руками «змеенышей», манипулирующих ножами и кистями, проступает сначала один уголок, потом рядом открывается другой, побольше, потом третий, четвертый... Сухая,

твердая земля летит в сторону, к обрыву, в море, а у стены, почти перпендикулярно к ней, открывается толстая обугленная балка. Она лежит на скрытом еще от нас полу комнаты. Немного поодаль появляется такая же, вторая.

— Вот смотри,— говорит Щеглов, который сидит рядом на корточках, следя за открывающимися углями.— Эти балки — деревянное покрытие виллы. Они сослужат нам двойную службу. Во-первых, мы сможем восстановить перекрытие виллы, а во-вторых, определим породу деревьев.

— Но это, вероятно, привозные балки? — спрашиваю я, вспомнив пустынные степи Тарханкута.— Своего леса здесь не было.

— В том-то и дело, что был лес! Вот еще одно заблуждение, которое удалось устранить раскопками и разведками на Тарханкуте. Считалось, что здесь степи были испокон веков. Ничего подобного! Здесь была самая настоящая лесостепь. Нам помогли угли — не только этой виллы, но и из других мест. Мы копали на городище Тарпанчи, около Окуневки, на Беляусе... Как-нибудь отправимся туда, покажу... Так вот. Все угли оказались от лесостепных видов: это дуб, тополь, бук, ясень, можжевельник, лещина, граб... Островки такого леса, вероятно значительные островки, делали климат Тарханкута совершенно иным, чем сейчас. Они сохраняли почву от высушивания, смыва и развеивания, держали влагу... Поэтому и был Тарханкут житницей Херсонеса.

— И все-таки мне как-то не верится! Ведь все это дерево для строительства могли привозить? Как пифосы.

— Хорошо, пусть привозили. Но греки не повезли бы деревья с корой и ветвями, правда? А мы находим сгоревшие прутья, ветви, отпечатки коры, угли от самых тоненьких прутиков...

— Что же тогда так изменило природу?

— Да все те же греки! Хозяйство у них было бесхозяйственным. Они же сюда коз привезли, а козы уничтожают весь подлесок. Сами греки вырубали леса на топливо, на строительство. Они, вероятно, даже представить не могли, к чему приведет этот край их хозяйственная деятельность.

Что ж, в этом Щеглов был прав. Необходимость самого бережного отношения к природе человек начинает постигать лишь теперь, да и то не в полной мере. А результаты подобного «покорения» природы археологам приходится открывать не впер-

вые. Так, при изучении торфяников Дании палеоклиматологи заметили странное явление. В слоях торфа, одновременных поселениям эпохи бронзы, резко сокращается количество пыльцы широколиственных пород, особенно кустарников. Сначала предположили, что это результат изменения климата. Поправку внесли зоологи. В ту эпоху древние обитатели Дании начали особенно широко разводить коз. Стада коз объедали кустарники, уничтожали всю молодую поросль. К тому же для коз на зиму требовалось заготавливать корм, обычно в виде венчков, для которых обламывали опять-таки молодые побеги. А если учесть постоянно растущие стада, можно понять, как изменилась растительность. Но если в Дании, в умеренном и влажном климате, восстановление леса все же происходило, то на сухом и жарком юге процесс сведения леса и превращения лесостепи в пустынную степь оказался необратимым...

— И еще одно доказательство, — продолжил Щеглов. — Мы копали на городище Тарпанчи. У него сложная история: сначала там поселились греки, потом жили скифы и, наконец, на рубеже второго-первого веков до нашей эры от поселения остались развалины. На городище мы раскопали остатки сторожевой башни. После того как оттуда ушли люди, в руинах поселился филин: мы нашли его гнездо... Вокруг гнезда филина валялось много косточек. Зоологи, когда я принес им кости, определили около тридцати видов птиц и мелких животных, которыми он питался. И большинство птиц оказалось не перелетными, а как раз обитателями лесостепной зоны!..

Алешка, сын Щеглова, черный худощавый паренек лет двенадцати, занимался самой скучной работой. На площадке за раскопом он подбирал друг к другу обломки тяжелых квадратных черепиц, калиптеров, которыми когда-то была покрыта крыша виаллы. Один большой кусок был найден при мне прямо на сгоревшей балке.

На вилле раскопки идут в такой последовательности: сначала снимается земля, в которую превратились стены, сложенные не из камней, а из сырцового кирпича. Сохранившиеся каменные стенки, отделяющие комнаты друг от друга, — только основания больших саманных стен. Потом обычно открываются обломки калиптеров, иногда даже целые, лежащие в том же порядке, как они были на крыше; под ними балки, а уже ниже надо не пропустить глинобитный пол. Правда, в кладовых пол вымощен битой черепицей, а в ванной комнате, где сохранилось место для огня и лежал разбитый лутерий, глиняный чан-ванна, — пол

мозаичный, сложенный из мелкой серой гальки на водонепроницаемом растворе.

Временами Алешка дует на отца, что тот поставил его делать такую скучную работу, но Щеглов неумолим и строг, когда дело касается необходимого. Кто-то должен этим заниматься? Я предложил ему сменить сына, но Щеглов возразил, что это расточительство — ставить кадрового археолога на работу, с которой справляется и такой шпингалет.

— Черепица — это особ статья! Вот посмотри на излом, — протягивает он мне кусок калиптера, затянутый известковой пленкой, словно материализовавшимся временем. — У этой глины красный кирпичный цвет — видишь? — мелкие белые крапинки. Известняк. Такую черепицу делали в Гераклее Понтийской, откуда и пришли первые херсонеситы. Гераклея была метрополией для Херсонеса, матерью. Поэтому херсонеситы, как было принято, оказывали Гераклею предпочтение перед другими городами в дружбе и военном союзе, а купцы и той и другой стороны в равной мере пользовались льготами. Но тут интересно вот что...

Он на минуту замолкает, шурится, как бы подбирая слова. Алешка пользуется случаем и усаживается рядом.

— Владелец виллы был человеком состоятельным, — продолжает рассказ Щеглов. — Готовясь к строительству, он закупил сразу партию гераклеийской черепицы. Почему именно партию? Потому что на черепицах найдено пока только одно клеймо — астинома Омфалика. Астиномы, как тебе известно, назначались городом для контроля продукции, выходящей из мастерских. Астином отвечал за качество товара, поставляемого городом. Клеймо Омфалика мы знаем и по раскопкам Херсонеса. Омфалик жил в середине четвертого века до нашей эры, как раз тогда, когда возникла вилла. Эта дата подтверждается двумя монетами того времени, которые мы нашли на вилле, и другими клеймами, уже не на черепках, а на амфорах. Но клейма есть не на всех калиптерах. И вот тут возникает загадка...

В глазах Щеглова словно вспыхивают маленькие искорки. Так бывает всегда, если разговор заходит о чем-либо интересном или еще не до конца ясном.

— Понимаешь, никто не знает, как клеймили и как продавали древние греки эту черепицу!

— А ты знаешь? Вот молодец какой! И нам сейчас расскажешь, — усаживается рядом Шилик, геофизик-археолог. — А потом купаться пойдем!

— Расскажу! — не теряя запала и с такой же шутливой агрессивностью отвечает Щеглов. — Клеймо-то не на каждой черепице, а на одной из шести — восьми, так по подсчетам получается! А что это, соображаете?

— Соображаем. Упаковывали их так, что ли?

— Ну вот, весь эффект испортил! — притворно сердится Щеглов. — Если догадываешься — помолчи. Правильно, только на верхней черепице и находилось клеймо. Это — как знак качества, этикетка. Хозяин виллы закупил большую партию, с излишком. Ведь усадьба простояла долго, может быть, лет двести, крышу приходилось не раз чинить. А черепиц с другими клеймами — всего несколько штук, и все они поздние...

— А может быть, и не двести лет, а меньше...

— Да уйди ты отсюда! Типун тебе на язык, говоришь под руку...

Они хорошо дополняют друг друга — Шилик и Щеглов. Один худой, шоколадный от загара, скуластый, немногословный, поясняющий речь улыбкой, жестами, мимикой, хотя обычно сосредоточен и замкнут. Другой рядом с первым даже полноват: У Шилика широкое круглое лицо с неожиданно тоненьким носиком, отчего оно кажется немного детским. На самом деле он ловок, силен, отличный гимнаст и подводный пловец; человек с неисчислимым запасом юмора, каких-то курьезных историй, охочий до бесед и просто «трепа», лишь бы можно было пошутить и посмеяться. Но роднит их легкость, с которой оба переносят и любят невзгоды экспедиционной жизни, чисто мальчишеская страсть к романтике и авантюрам.

— А знаете, ребята, как я у Фронжулы выговор заработал? — начинает Шилик одну из своих бесчисленных историй. — Надо было ему проверить одно средневековое поселение в Новом Свете, под Судаком...

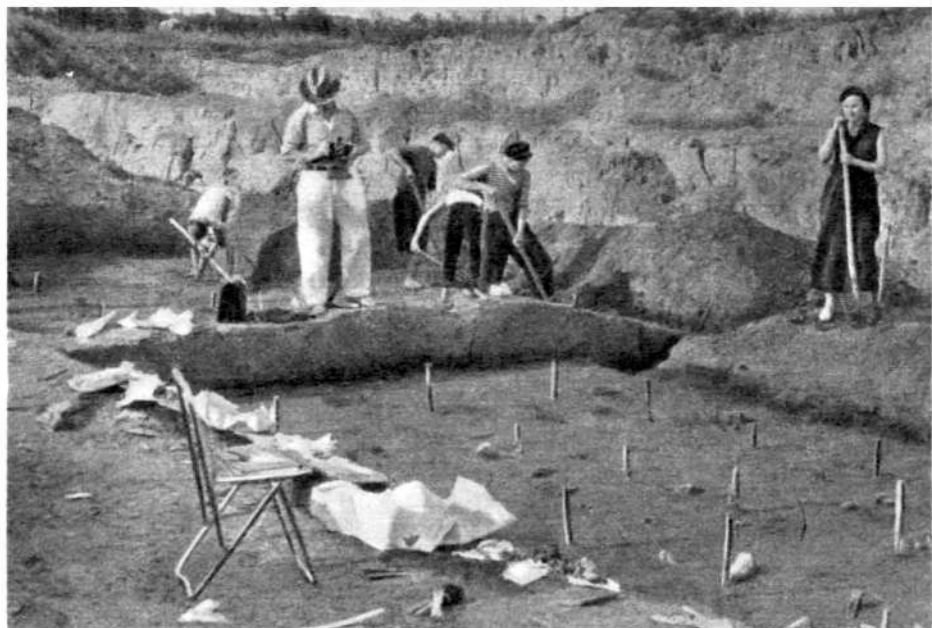
— Фронжула — это крымский археолог, — поясняет мне Щеглов. Он хочет сказать что-то еще, но в этот момент со стороны обрыва, где возле кладовой ребята расчищают небольшую комнату, доносится вопль:

— Александр Николаевич! Еще одна стрелка, третья!..

— Где, где? — бросается на крик Щеглов.

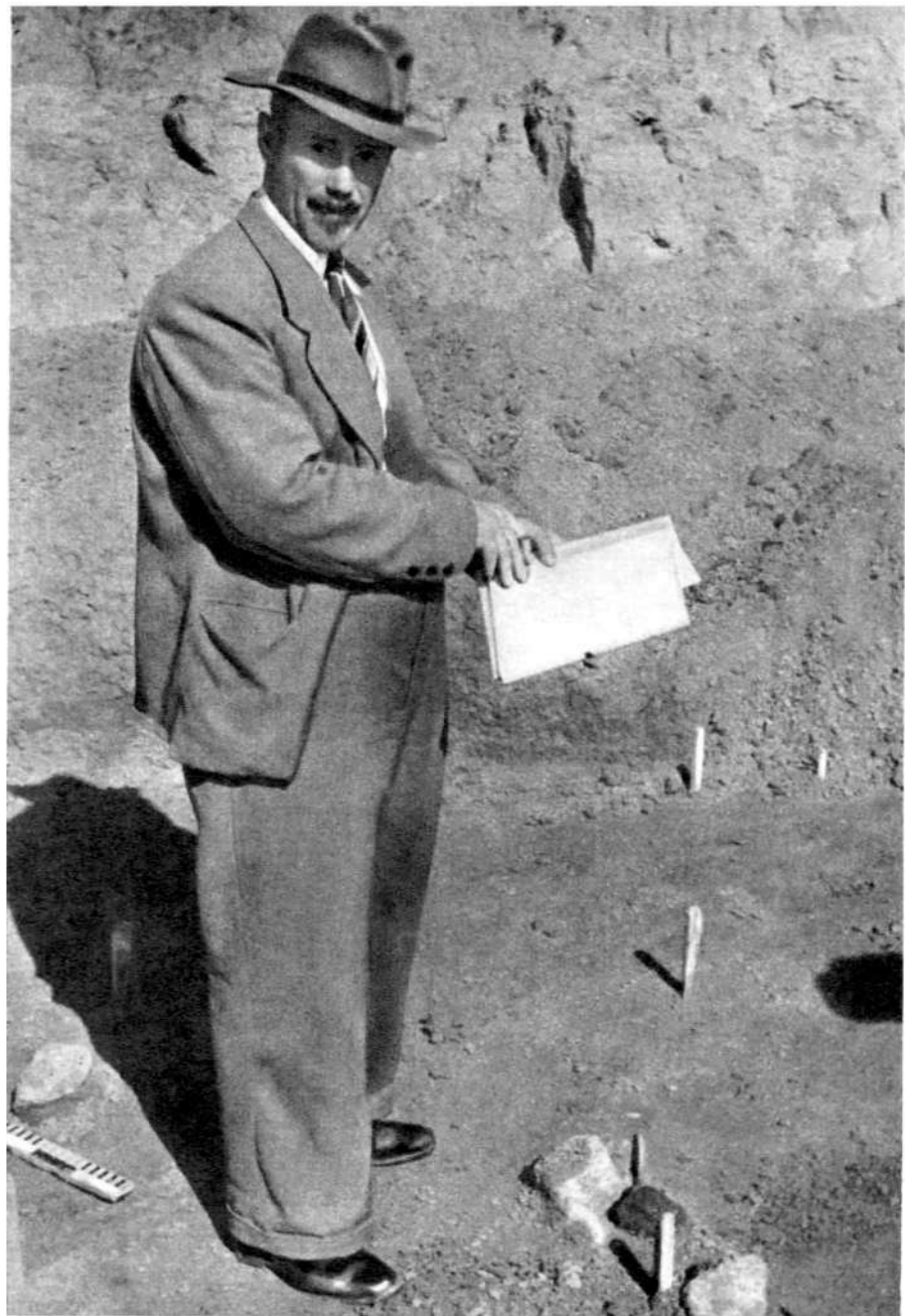
— Эй, не все, на мою долю оставьте! — кричит вдогонку Шилик.

Таковыми находками вилла радует не часто. Открытия здесь скорее теоретического порядка. Поэтому вокруг счастливица уже



Сунгирь. Первые раскопы.

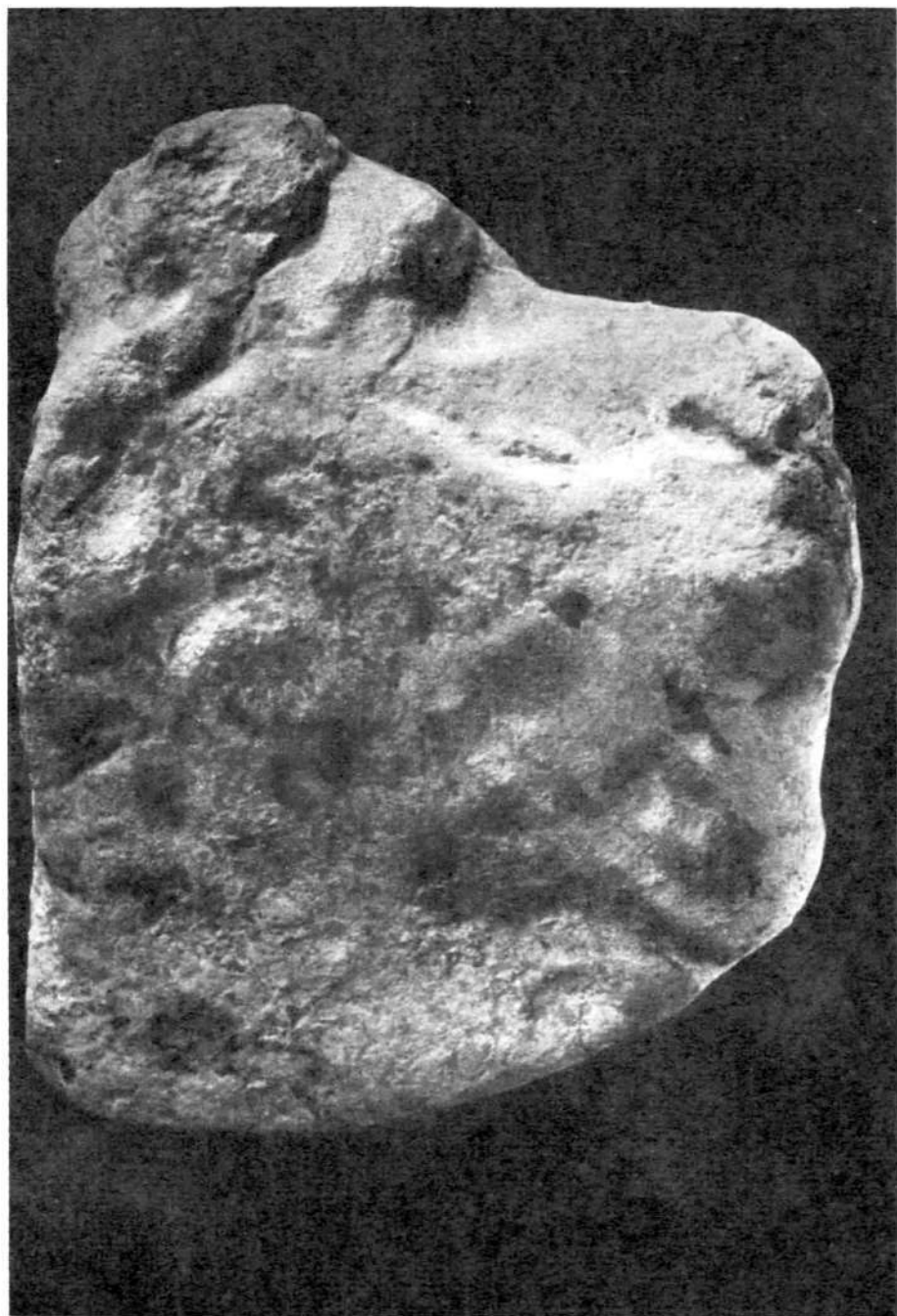




Сунгирь, 1957 год. О. Н. Бадер.

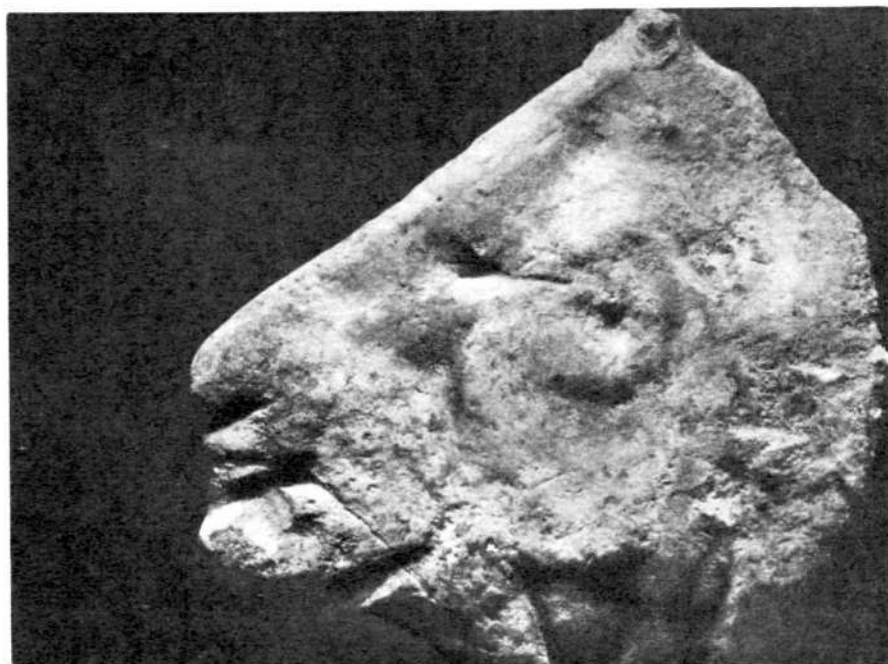


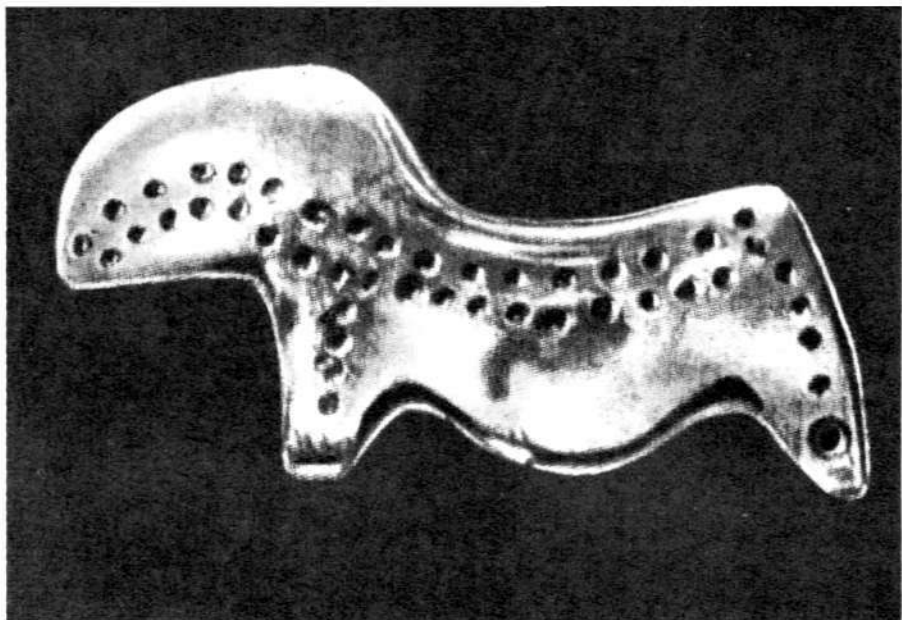
Сунгирь, 1964 год. Первое погребение.





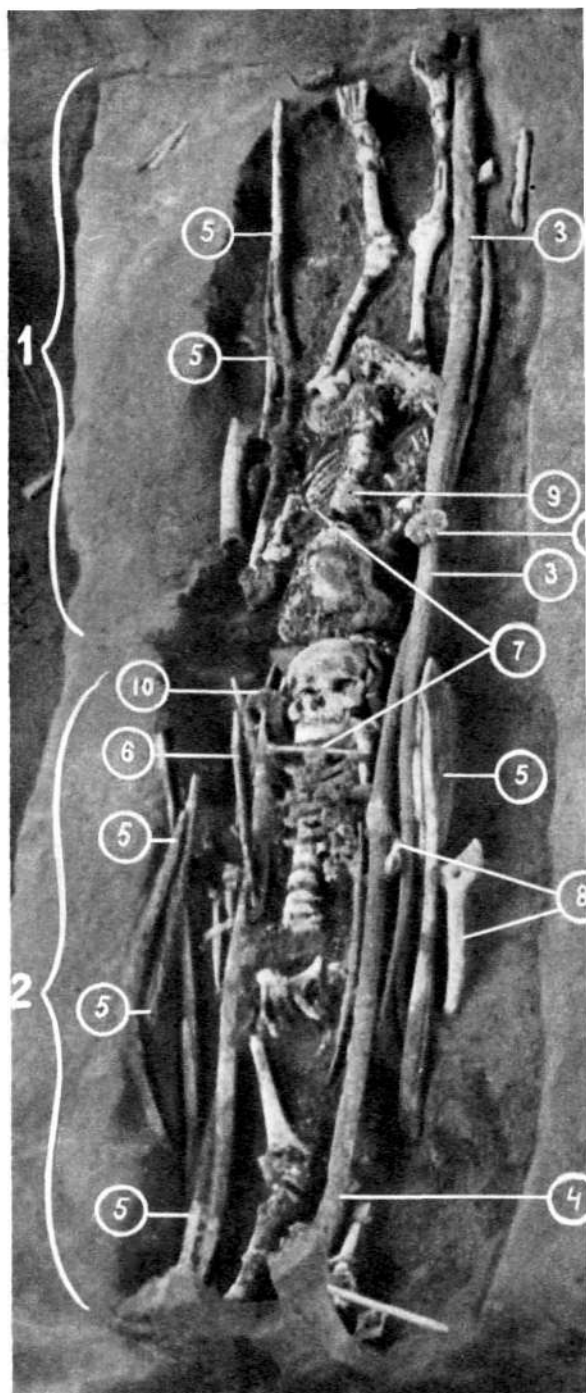
Костенки-1. Скульптуры из святилища.





Сунгирь. Вверху — лошадка. Внизу — О. Н. Бадер у двойного погребения, найденного в 1969 году.





Сунгирь. Двойное погребение, открытое в 1969 году. 1—старший мальчик; 2—младший мальчик; 3 — большое копье; 4 — малое копье; 5 — дротики; 6 — стилет; 7 — булавки; 8 — «жезлы» начальников; 9 — лошадка; 10 — диски.



Сунгирь, 1969 год. Младший мальчик. Видны костяные бусины, украшавшие одежду. На груди — длинная костяная булавка; слева — дротики из бивня мамонта. На одном из них надет загадочный диск.

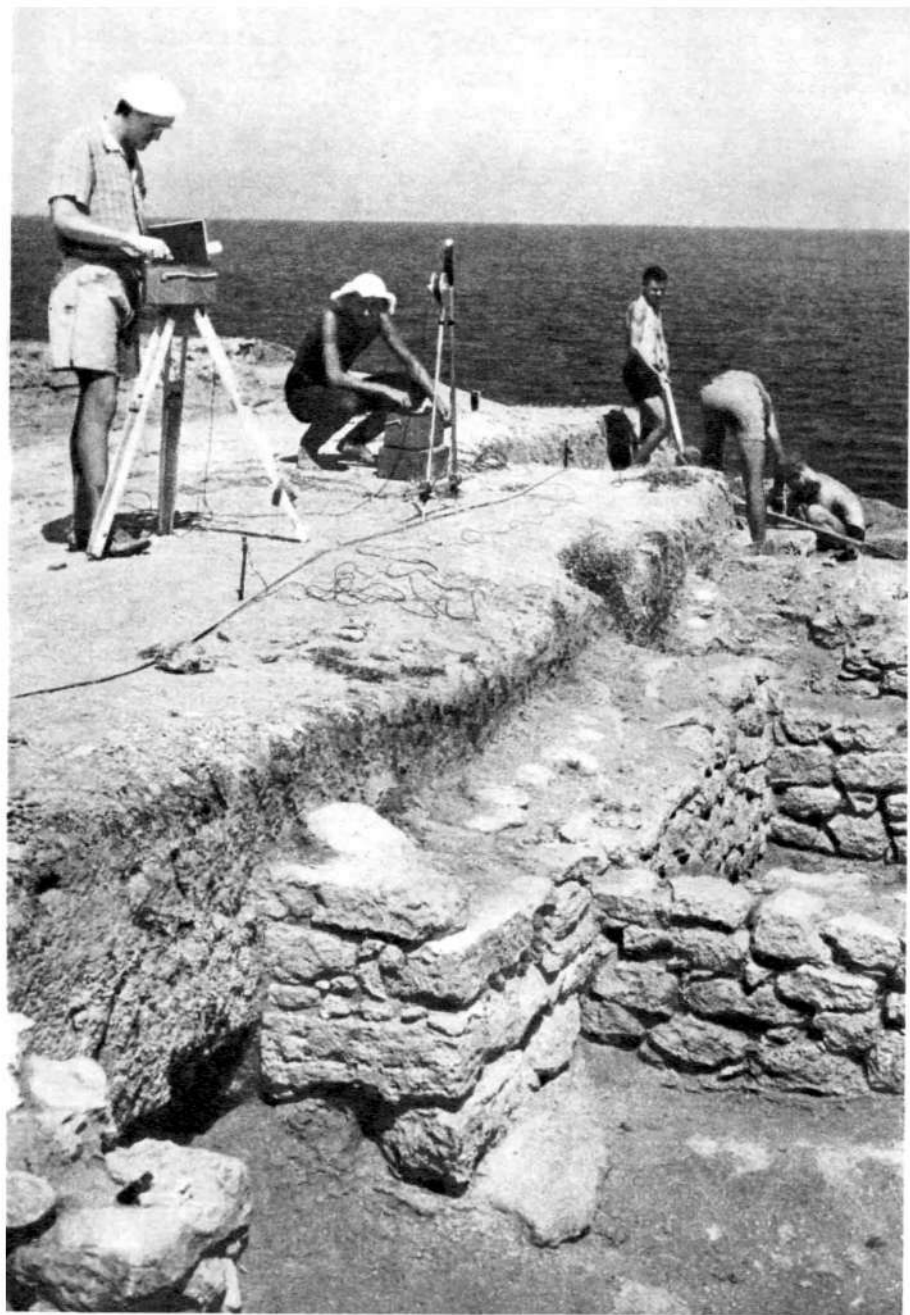


Сунгирь, 1969 год. Старший мальчик. На черепе хорошо видны остатки шапочки, расшитой бусинами и клыками песца. На груди — костяная булавка и фигурка лошадки. Слева — часть массивного костяного копья, на котором лежит прорезной диск.



Тарханкут. Вверху — обрывистые берега Тарханкута. Внизу — раскопки древнегреческой виллы. Так выглядят остатки кладовой с пифосами, в которых хранилось вино, зерно и масло.





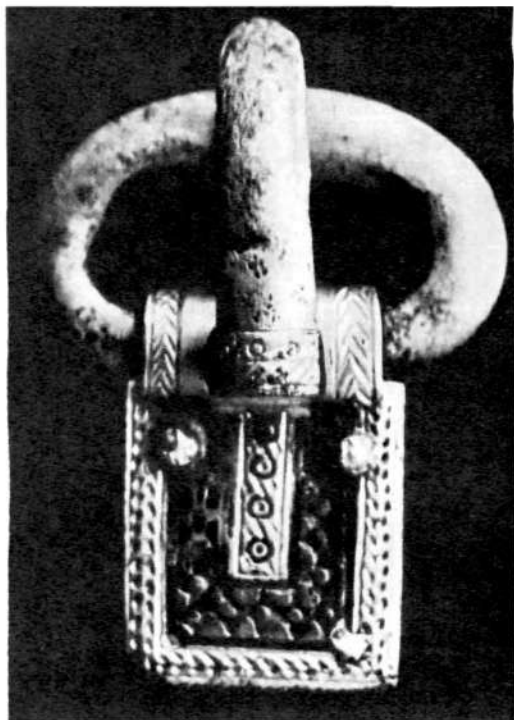
К. К. Шилик ведет электроразведку на древнегреческой вилле.



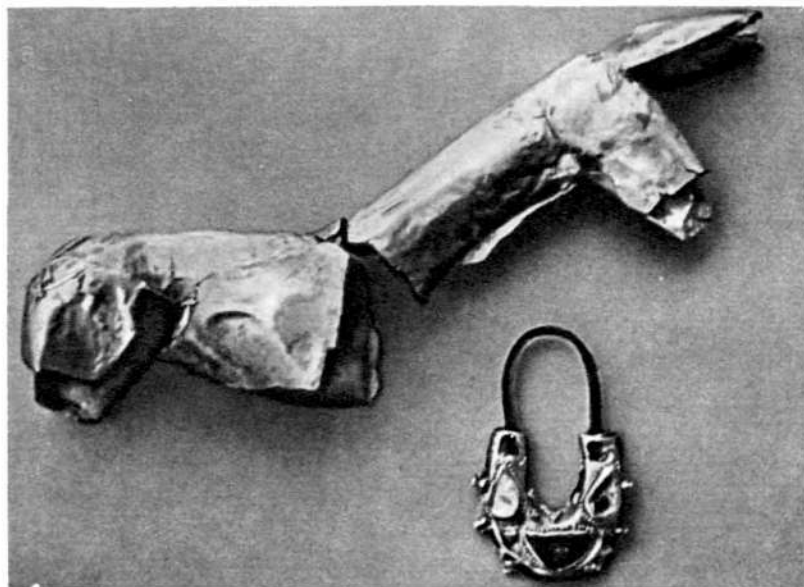
Тарханкут. Амфоры, поднятые археологами со дна моря.

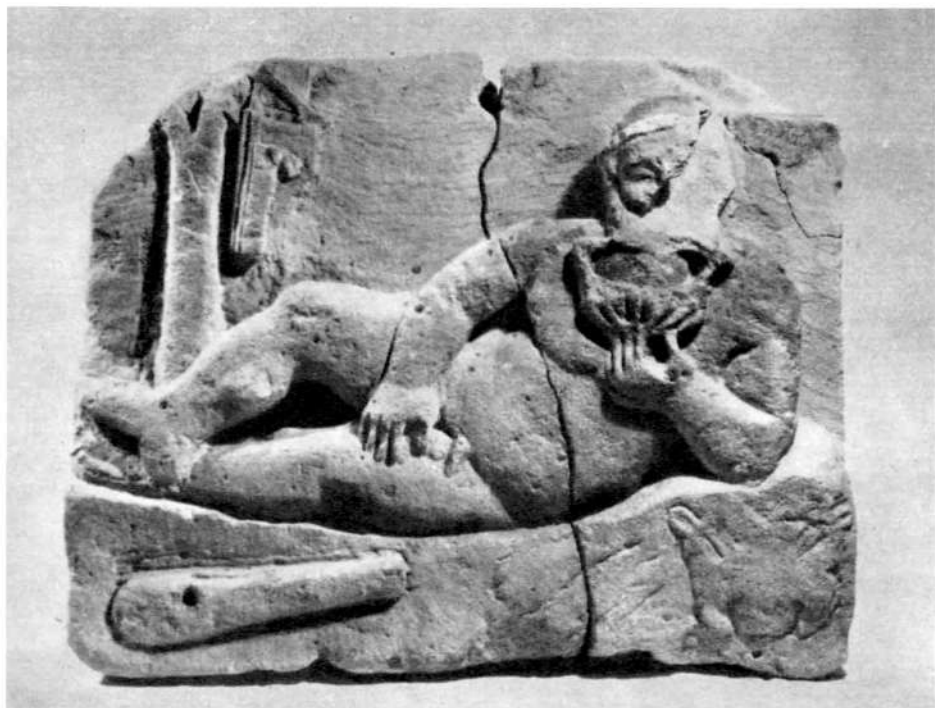


Аквалангисты-археологи. В центре — Б. Г. Петерс.



Тарханкут. Золотой осел, серьга и серебряная пряжка из погребения мальчика-гунна на Беляусе.





Тарханкут. Вверху — барельеф с изображением Геракла, найденный экспедицией А. Н. Карасева на городище «Чайка». Внизу — клеймо астинома Омфалика на черепице, которой была покрыта древнегреческая вилла.





Руины Херсонеса.



О л ь в и я. Вверху — панорама «нижнего города» на берегу лимана. Внизу — «нижний город Фармаковского»: остатки двух богатых домов. Хорошо сохранились мощные каменные внутренние дворики.





О л ь в и я. Вверху — расписной древнегреческий сосуд с изображением амазонки. Внизу — раскопки гимнасия.
На переднем плане видны каменные площадки «душевых кабинок».





О л ь в и я. А. Н. Карасев размышляет.



Ольвия. Обломок чернофигурного сосуда VI века до н. э.

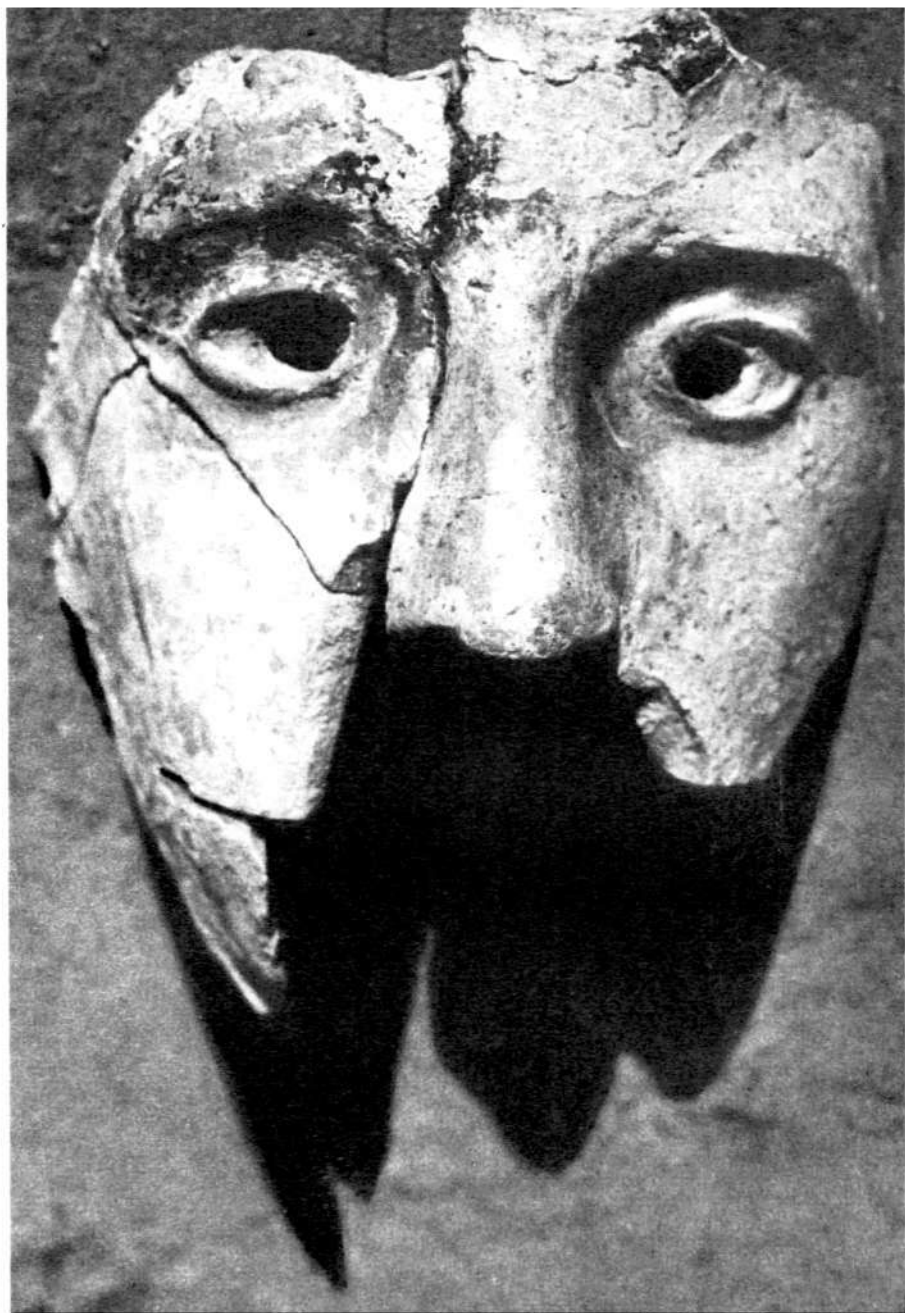


О л ь в и я. Здесь в подвалах древнегреческих домов археологи находят совершенно целые амфоры.



О л ь в и я. Раскопки гимнасия. Внизу — остатки «душевой кабинки». В центре — отверстие над пифосом с песком, к которому подведен водопровод; на переднем плане — следы от жаровни, на которой стоял сосуд с теплой водой.





О л ь в и я. Глиняная маска актера.



Ольвия. А. Н. Карасев рассказывает.



О л ь в и я . Д р е в н е г р е ч е с к и й в о д о п р о в о д в г и м н а с и и .

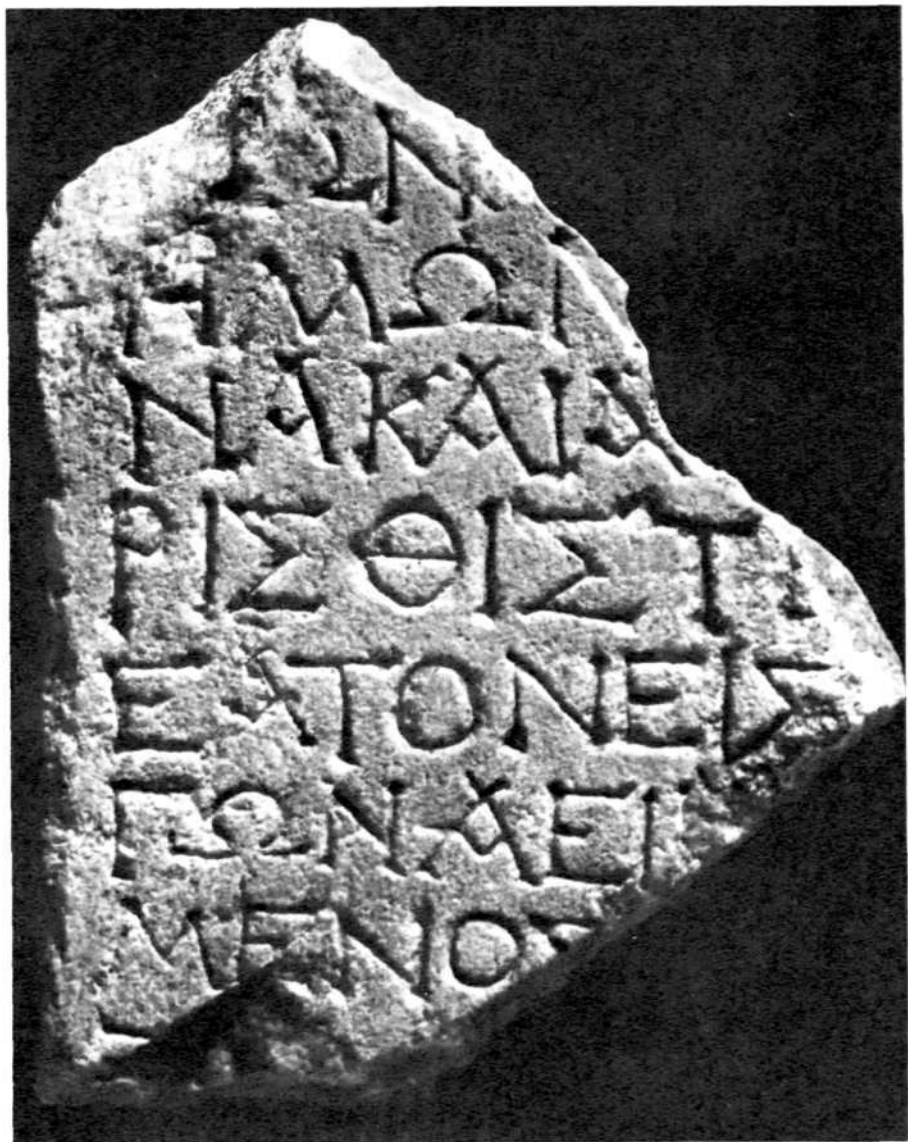


О л ь в и я. Вверху — раскопки дикастерия. Внизу — священный участок, теменос; на переднем плане — ограда храма Аполлона Дельфиния и выложенная плитами дорожка; в центре — главный городской алтарь.

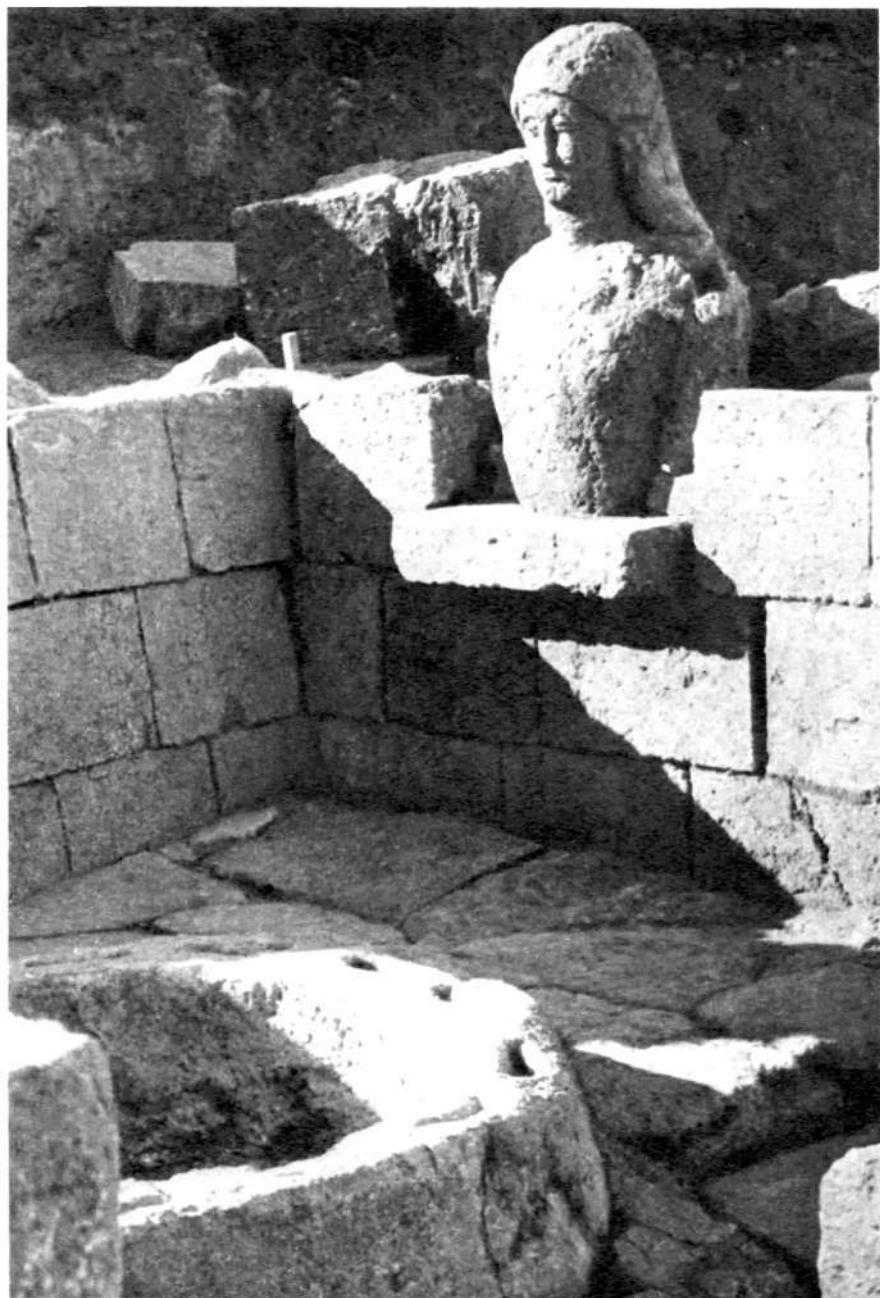




О л ь в и я. Псефы — фишки для голосования в суде и остракон — черепок с именами судебных заседателей, найденные при раскопках дикастерия.



О л ь в и я. Обломок мраморной плиты со строками декрета.



О л ь в и я. Комната с колодцем и курос — древнейшая статуя Аполлона Дельфиния.



Ольвия. Терракота.



О л ь в и я. Вверху — сердоликовая гемма с изображением богини. Такими вставками украшали свои перстни древние греки. Внизу — остатки аристократического квартала, где находился дом Агрота.





Белое море. Вверху — каменный лабиринт возле Умбы. Внизу — один из лабиринтов Большого Заяцкого острова Соловецкого архипелага.



толпятся другие «змееныши», без стеснения завидующие собрату. Конечно, лестно участвовать в «большой науке», но ребятам хочется всегда чего-нибудь зримого, сиюминутного. А находчик, распластавшись на животе и отложив кисточку, уже травинкой очищает и сдувает песчинки, прилипшие к зеленому от окислов, маленькому трехгранному наконечнику стрелы.

— Скифы, скифы! — радуется Щеглов. И подозрительно спрашивает у ребят: — Не трогали?

У «змеенышей» обиженные физиономии: что, не понимают они, что ли?

— Я им трону! — непрерываемо подтверждает подошедший «вождь».

Наконечник вонзился в глинобитный пол. Щеглов всматривается, затем рисует на земле прямую линию — словно отсутствующее древко, вернее, его проекцию: стрела вонзилась под углом к полу.

— Все верно! Через дверь стреляли, сверху. Наверное, с крыши, над двориком. Так она и влетела...

— Дворик же еще не раскопан?

— Ну и что же! Вот он, дверной проем туда ведет. А вокруг дворика был навес. Уже третий наконечник так расположен. И все стрелы со стороны степи. Самая что ни на есть скифская тактика! Примчались из степи, засыпали дождем стрел, потом взобрались на крышу и через дворик обстреляли все комнаты. Значит, и защитники были...



— Ты же сам говорил, что тогда на крыше горшок стоял,— напоминает Шилик.

— Да, горшок стоял на краю крыши и упал вместе с ней, когда начался пожар. Ну, знаешь, когда от скифов убежать будешь, и не то забыть можно! Много чего тут хозяева забыли.

— А подожгли скифы?

Щеглов колеблется.

— Может быть, и они. Но возможно, виллу подожгли херсонесцы, когда с Диофантом они освобождали Калос Лимен...

3

История полна загадок, но еще больше пустот, которые пытаются заполнить археологи. Вилла, чьи остатки мы раскапывали возле Прекрасной Гавани, оказалась свидетельницей событий, трагических и для Херсонеса, и для Тарханкута. По чистой случайности в руки археологов попали документы, по которым теперь относительно точно можно представить течение напряженной и долгой войны, решавшей вопрос, кому владеть Крымом: грекам или скифам?

Ни те, ни другие не были исконными обитателями этих мест. О скифах, «царях степей», написано так много, что повторять не имеет смысла да и непосильно в коротком рассказе. На берега Черного моря скифы пришли чуть раньше, чем греки основали свои первые фактории. Фактически в течение нескольких веков мир греков и мир скифов стояли друг против друга, обмениваясь плодами своих культур, торгуя, присматриваясь, перенимая обычаи, мифы, предметы обихода. Недаром очень рано возникла у скифов легенда о происхождении их царей от Геракла, наиболее почитаемого героя греков; не случайно большая часть драгоценностей, утвари, посуды, украшений, которые археологи находят в скифских курганах, вышли из рук греческих мастеров. В свою очередь, греки не только получали от скифов рыбу, пшеницу, воск, мед и рабов. В качестве курьеза можно упомянуть, что городскую милицию афиняне называли скифами — афинские городские стражи были вооружены луком скифского образца. От скифов греки переняли теплые башмаки, шапки с ушами, меховые плащи и штаны, необходимые в холодном для греков Причерноморье.

В Крыму, по-видимому, произошло наоборот: скифы появи-

лись позже греков, особенно в прибрежной части, где уже процветали богатые древнегреческие города. Считается, что скифская держава распалась вскоре после того, как скифский царь Атей, впервые объединивший все скифские племена под своей властью, погиб в 339 году до нашей эры при столкновении с македонским царем Филиппом II, отцом знаменитого Александра. В следующем столетии центр Скифии оказывается в Крыму, в Новом Городе, на месте современного Симферополя. Неаполь Скифский стал столицей всего степного Крыма. Скифы сумели подчинить местные племена тавров и сатархов и вступили в борьбу с греками. На их стороне была численность, уже имевшееся знакомство с греческой культурой, военным делом, фортификацией. Они хотели обладать городами, захватить в свои руки богатства греков и всю торговлю со Средиземным морем.

В конце II века до нашей эры войска скифов обрушились на Херсонес. Государство оказалось в безвыходном положении. Погибла Прекрасная Гавань, наша вилла, Керкеницида и многие другие греческие поселения. Херсонеситы потеряли весь Тарханкут, всю «равнину», и скифы, по-видимому, не раз начинали осаду и штурм самого Херсонеса. Лишенные богатств и территорий, херсонеситы вынуждены были обратиться за помощью к царю Понта, Митридату Евпатору, с которым у них был давний договор о дружбе и взаимопомощи.

Митридат, увидев удобный предлог для присоединения Крыма к своей державе, направил в Херсонес полководца Диофанта.

За перипетиями этой военной кампании мы можем следить по тексту известного декрета в честь Диофанта. Благодарные за свое освобождение херсонеситы поставили мраморную плиту декрета и бронзовую статую полководца «на акрополе подле алтарей Девы (покровительницы города) и Херсонеса». Этот декрет археологи нашли еще в прошлом веке. К счастью, он сохранился почти весь.

Скифы не собирались отдавать захваченное без боя. Диофанту пришлось дважды выступать в поход против них. «Приняв на себя ведение войны со скифами, он, прибыв в наш город,— записали херсонеситы,— отважно совершил со всем войском переправу на ту сторону (по-видимому, через Севастопольскую бухту); когда же скифский царь Палак внезапно напал на него с большим полчищем, он, поневоле приняв битву, обратил в бегство скифов, считавшихся непобедимыми...»

Битва решила исход войны. Диофант захватил скифскую крепость Хабеи, столицу Неаполь Скифский и принудил скифов просить мира и признать верховную власть Митридата. Однако мир длился не долго. Следующие строки декрета рассказывают: «Когда же скифы обнаружили врожденное им вероломство, отложились от царя... Митридат Евпатор снова выслал с войском Диофанта, хотя время склонялось к зиме».

Выступать против скифов поздней осенью, когда начинаются дожди и ветры, сменяющиеся морозами и снегом, уходить от моря в горы и степь для греков представлялось героизмом. Именно это они и подчеркивали в действиях Диофанта, который «с своими воинами и сильнейшими из граждан (Херсонеса) двинулся против крепостей скифов, но, будучи задержан непогодой и поворотив в приморские местности, овладел Керкинитидою, Стенами и приступил к осаде Прекрасной Гавани».

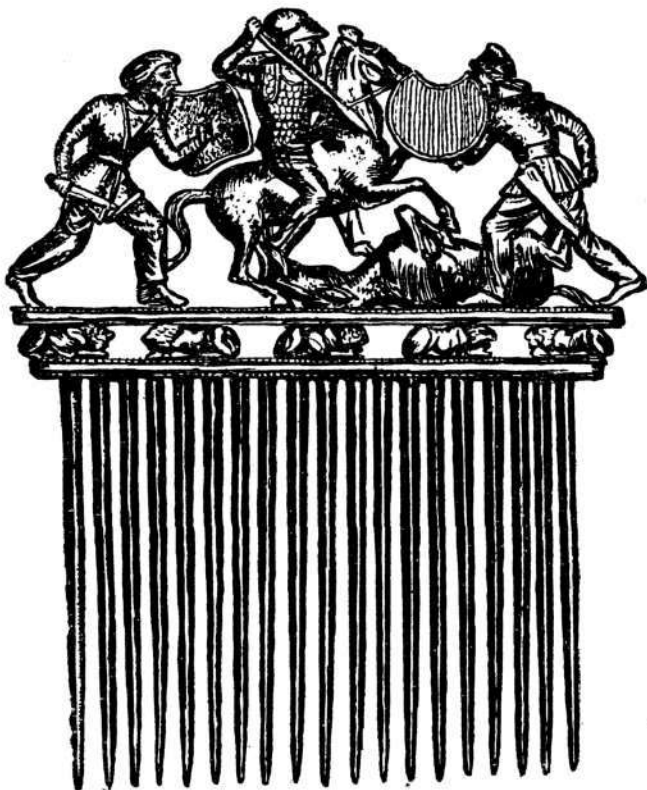
Со скифами Диофант окончательно разделался следующей весной настолько радикально, что больше уже никогда они не смогли оправиться и угрожать греческим поселениям в Крыму.

Несмотря на свою удачу, Диофант, по-видимому, не смог взять Прекрасную Гавань. «Приступил к осаде» — это значит, что он подошел под стены города, захватил хору, в том числе и эту виллу. Скифы успели ее укрепить. Остатки небольшого рва и вала, которые и сейчас можно заметить вокруг развалин, относились как раз к этому времени. По-видимому, скифы жили на вилле. В одной из комнат Щеглов нашел два разбитых скифских горшка, а на полу — следы костра. Не приученные пользоваться калориферной системой, обогревавшей здание, скифы предпочитали просто раскладывать на полу костер...

Что касается Прекрасной Гавани, то, как можно судить по остаткам другого декрета, крепость взял штурмом не Диофант, а сопровождавший его отряд херсонеситов.

Можно ли проверить греков, утверждавших, что освобождение Тарханкута от скифов произошло, «когда время склонялось к зиме»? По остаткам зерна и вина в пифосах Щеглов смог определить время нападения на виллу — в начале лета. А когда ее освободили?

«Стены», упоминаемые в декрете и в «Присяге» херсонеситов, долгое время считались названием определенного пункта, подобно тому как Прекрасная Гавань или сам Херсонес (по-гречески «полуостров») получили свое название от места, на котором на-



ходились. Но теперь историки пришли к выводу, что «стены» — понятие собирательное. Этим словом херсонеситы обозначали совокупность всех мелких береговых укреплений, расположенных между Керкинитидой и Прекрасной Гаванью, одним из которых было городище Тарпанчи.

Именно это городище, вернее, раскопки на нем помогли подтвердить время второго похода Диофанта. Перед скифской стеной Щеглов обнаружил большое зернохранилище. В нем находилось несколько тонн пшеницы и ячменя. По-видимому, скифы успели собрать урожай с греческих полей, но удар Диофанта был настолько неожидан и силен, что зерно не успели спрятать или увезти. Произойти это могло только осенью...

Для отдыхающих, которые ни на день не оставляли нас в покое, раскопки на вилле должны были казаться по меньшей мере странными. Работа подвигалась медленно, незаметно, потому что Щеглов, аккуратист до мозга костей, осматривал и «обнюхивал» каждый черепок, каждую пылинку, каждый уголок. Да и сами стены, вернее, их остатки выглядели отнюдь не «впечатляюще». Обычно от археолога ждут сразу каких-то грандиозных открытий — статуй, пресловутого золота, клада... На самом деле настоящая наука складывается вот из этих «мелочей», вроде виноградных косточек, обугленных зерен пшеницы в пифосах, гнезда филина на Тарпанчи. Только археолог может оценить, насколько тщательно и внимательно работал ученый, если смог заметить, а главное, понять значение такой «невзрачной» находки... И уже совсем загадочными и непонятными для посетителей являлись манипуляции Шилика. А ведь в них заключалось будущее археологии!

Еще в первый день моего пребывания на вилле Щеглов как бы между прочим спросил:

— Ты заметил, как у нас раскопы идут?

В том, что виллу копали не квадратами, а вскрывая целые комнаты, я ничего особенного не усмотрел. Но Щеглов указал мне на одну деталь: край каждого раскопа проходил точно по оси стенок. Даже новый, только что разбитый раскоп обнажал не всю стенку, а лишь ее внутренний край. Что ж, такая точность была, конечно, исключительной. Но чтобы продлить эффект, Щеглов развернул передо мной... полный план виллы: не только раскопанную ее часть, но и ту, что находилась еще под землей. Вот это меня удивило. Как я ни приглядывался, на поверхности не было ни бугров, ни впадин, по которым можно было бы угадать направление стен и, тем более, точное место дверных проемов...

— Ну как, здорово? Это все работа Шилика. Впервые археолог получает план памятника до раскопок,— произнес Щеглов, довольный эффектом.

— А насколько все это точно? — спросил я.

— Во-первых, вот перед тобой новый раскоп, заложенный по плану; во-вторых, посмотри на эти шурфы...

Маленькие квадраты шурфов, разбросанные по всхолмлению, обнажили стыки стен и их обрывы. А ведь комнаты были самых различных размеров и не повторяли друг друга.

Как достигается такая точность, я увидел на вилле своими глазами. Шилик как раз заканчивал работу по созданию этого уникального плана. Оставалось лишь найти две задние стенки дворика.

...На земле, вдоль натянутого шнура, положена желтая лента рулетки. На расстоянии полутора метров друг от друга в землю, вдоль ленты, вонзаются железные штыри. Шилик соединяет их проводами с прибором и батареями. Точно между ними ставится «циркуль», или, как его называет Шилик, «двунога». У «двуноги» такие же острые штыри-электроды, подключенные к другим клеммам прибора. Один из «змеевышей», гордый порученным ему делом, сидит возле батарей, готовый включить.

— Пускай! — кричит ему Шилик.

Тот поворачивает рукоятку, и стрелка на приборе резко выскакивает на середину шкалы. Шилик записывает показания, потом поворачивает переключатель. На этот раз стрелка сдвигается меньше. Новое переключение, и снова стрелка возвращается на то же место.

— Выключай...

Электроды меняются местами, сдвигаясь на полметра дальше. Шилик переносит «двуногу» тоже на полметра.

Снова включается ток, снова отсчеты. Цифры показаний почти не меняются. Еще один шаг в сторону вдоль шнура. На этот раз изменение есть: стрелка только чуть вздрагивает.

— Вот и стена! — говорит удовлетворенно Шилик. — Теперь проверим обратный ход...

— Ну как? — подходит Щеглов. — Получается?

— Точно по плану! Кажется, мы с тобой в этом месте ее наметили?

— Ага! А дальше она должна повернуть...

Шаг, включение, отсчет; переключение, отсчет; еще переключение, отсчет, следующий шаг.

— Все! — объявляет Шилик. — Начинается ров. Дальше стен нет...

Пройдена еще одна линия, параллельная предыдущей. На графике, который тут же вычерчивается по показаниям прибора, стена возникает на том же отрезке, что и первый раз. А дальше, за виллу, — пусто.

— Видел, как это делается? — оборачивается ко мне Шилик. — Каждый предмет, каждая порода имеют свою электропроводность, иначе говоря, свое сопротивление, которое можно измерить. На этом и основан принцип электроразведки. Сначала

я пропускаю ток от батарей через дальние электроды, и прибор показывает общее сопротивление этого участка почвы. Потом я переключаю контакты и узнаю сопротивление участка между ногами «двуноги». Ну, и так далее!.. А расчет идет по этой формуле...

Шилик открывает блокнот, рисует схему, пишет формулу. Но мне его обозначения не нужны. Главное, что прост и понятен принцип работы. Разница в электрическом сопротивлении среды и крупных включений в ней: камней, завалов черепицы, выкопанных и засыпанных когда-то ям. Там, где сопротивление больше или меньше, прибор всегда отметит разницу. Конечно, на деле все не так просто, как выглядит в объяснениях. Вот почему приходится все время экспериментировать, искать наилучшее расстояние между контактами, учитывать грунт — сухой он или влажный?..

— А за что ты получил выговор от Фронжулы? Так ты и ве рассказал тогда, — вспоминаю я.

— Ну это история уже с магнитомером. Сама! Александр Николаич! Иди сюда, я о Фронжуле рассказывать буду...

— О Михаил Антоныче? — отзывается Щеглов из кладовой, где он обмеряет и зарисовывает пифосы. — Подожди немного, я скоро кончу...

— Подождем! Так о чем я?.. Ага! А ты знаешь что-нибудь о магниторазведке?

О магниторазведке я догадывался весьма смутно. Больше знал, пожалуй, о палеомагнетизме, на который многие возлагали тогда большие надежды. Но палеомагнетизм к разведке, насколько я понимал, не имел никакого отношения. Это был метод определения возраста, на первый взгляд столь же далекий от археологии и истории, как определение возраста по радиоактивному углероду или пыльце растений. Основан метод палеомагнетизма, или археомагнетизма, на том, что если сильно нагреть обыкновенную глину, она становится слабым магнитом. Вернее, не сама она, а те мельчайшие соединения железа, которые в ней находятся. Так происходит с такими предметами, как печи, горшки, основания очагов... При нагревании в глине как бы фиксируется направление силовых линий магнитного поля Земли. Но известно, что магнитные полюса нашей планеты весьма непостоянны. Они «кочуют» и в разные исторические эпохи находились в разных местах земного шара. Вместе с ними изменялось направление силовых линий. На этом и построен весь метод.

Скорость перемещения полюсов и направление, в котором они двигаются, хорошо известны. Следовательно, известно и местоположение полюсов в различное время в прошлом. Таким образом, если определить направление когда-то зафиксированных силовых магнитных линий, скажем, в печном поде, и сравнить их с современными, то по величине отклонения можно определить время, которое прошло между последней топкой печи и сегодняшним днем.

Угол между прежним положением магнитных линий и современным — таким образом определяют возраст предмета.

— Верно! — одобрительно заметил Шилик, когда я изложил свои знания о палеомагнетизме. — А магнитная разведка основана на несколько ином свойстве природных тел. Практически все предметы обладают какими-то, пусть даже очень слабыми, магнитными свойствами. Разница этих свойств создает те или иные аномалии. Например, Курская магнитная аномалия. Но точно такие же аномалии, только гораздо меньшей силы, создают древние печи, скопление черепков, даже известняк после нагрева. Магнитомер, работающий в постоянном магнитном поле Земли, отмечает усиление этого поля над такими объектами. Естественно, напряженность поля уменьшается с удалением от центра аномалии. Делая точно такие же замеры, как при электроразведке, мы получаем план аномалии, который образуют изодинамы — линии, соединяющие точки с одинаковой напряженностью поля. А аномалии вызывают любые объекты, даже такие стены, как здесь, хотя они очень мало нагрелись во время пожара...

— Ну что, уже рассказал? — прибежал запыхавшийся Щеглов. — Интересная штука получается с этими пифосами. По ним мы все херсонесские измерить сможем...

— Так вот что у меня произошло с магнитомером у Фронжулы. Ты знаешь средневековое поселение на горе Сокол, возле Нового Света? — спрашивает Шилик Щеглова.

— Знаю. Вернее, видел у Михаила Антоновича средневековые черепки отсюда...

— Ну, а теперь это не средневековое селище, а античное.

— Да ну?! А что, раскопали вы его?

— Вот слушай. Я Фронжуле несколько печей средневековых нашел возле Судака, которые он потерял — никак не мог найти, хотя сам же и открыл их несколько лет назад. После того как магнитомер на печах выдержал экзамен, Михаил Антоныч меня зауважал и захотел, чтобы я ему и на этом поселении печи на-

шел. «Ты мне, говорит, печи найди, а дом по ним я и сам раскопаю!..» Поехали. Прошел я с магнитомером по склону — действительно есть аномалии! Ну, одну решили тут же раскопать. Мне тоже было интересно, потому что аномалии были какие-то не такие, какие дают печи: послабее и как бы «размытые»... Раскопали. И представь себе: лежит небольшой остаток печи, а вокруг двенадцать разбитых греческих амфор!

— И за что это он тебе вынес порицание?

— За это! «Вы мне, говорит, Константиннович, селище уничтожили!» Ну и за «неточное определение центра аномалии». Определяя центр, я, видишь ли, ошибся на пятнадцать сантиметров. Сам понимаешь, таким выговором гордиться можно!

— Ну, молодец, ну, молодец! Вот это точность! Только вот зачем грекам надо было на гору лезть?

— Виноградники у них там были, наверное...

— Верно! Ведь это как раз на солнечном склоне. Я помню, показывал Фронжула план...

...Какие они разные и какие похожие! Можно лишь удивляться, какими сложными и неожиданными путями приходит человек к главному делу своей жизни. Щеглов рассказал мне, что увлечение археологией началось у него еще с детства: нашел древнюю монету, отнес в музей — и заинтересовался историей так, что, казалось, больше ничего уже для него не существует. А потом, когда уже стал постарше и переехал из Великих Лук в Херсон, на его пути встретился человек, точно так же влюбленный в археологию, — Сергей Алексеевич Рыбаков, хранитель древностей Херсонского музея. Он и дал подростку необходимые навыки и знания. По его поручению Саша провел свои первые самостоятельные разведки первобытных стоянок в Приднепровье. И по его же рекомендации взял Щеглова в свою экспедицию на Ольвию сначала Славин, а потом и Карасев, обучив делать архитектурные обмеры. Даже во время военной службы Щеглов успевал заниматься археологией и около Пскова нашел мезолитическую стоянку. Забавно бывает! Эти спичечные коробки с миниатюрными скребочками и стрелками, собранные им, я, оказывается, видел еще в университете, не подозревая, что через несколько лет встречу с их находчиком.

Шилик же, по его словам, даже не подозревал, что существует такая увлекательная наука — археология. Раньше он был не геофизиком — инженером-конструктором. Но, познакомившись однажды в Крыму с Павлом Николаевичем Шульцем, по-

нял, что вся его жизнь и вся работа проходили лишь в ожидании этой встречи. Археологом становиться было уже поздно. Но именно в это время геофизика пришла на помощь археологии. Здесь все надо было начинать с самого начала — и разрабатывать теорию поисков, и конструировать приборы. У Шилика была светлая голова, золотые руки и та увлеченность, без которой нельзя добиться успеха ни в какой области науки. Так он стал геофизиком в археологии.

Может возникнуть впечатление, что все время, которое я провел у Щеглова на вилле, мы только вели умные разговоры. На самом же деле наша жизнь протекала удивительно гармонично и спокойно. Раскопки кончались в час дня. Затем наступало время обеда. После обеда в лагере оставались только дежурные. Ребята постарше уходили в город — за провизией, заводить знакомства на городском пляже; остальные, в том числе и мы, спускались на берег, к скалам. Здесь море было не таким прозрачным, как у Оленевки. Ветер к вечеру нагонял волну, вода становилась белесоватой от известковой мути, меньше было рыб. Но на лужайках среди камней паслись стайки пучеглазых султанок, лежали ленивые черные и пятнистые бычки, копошились крабы, а иногда появлялся морской кот, за которым начиналась отчаянная охота. Потом мы лежали втроем на нагретой солнцем гальке и вели неторопливые разговоры о разных разностях.

Однажды, когда Шилик только что начал рассказывать очередное свое приключение, с обрыва над нашими головами посыпались камни, земля и вместе с кустом полыни в руках к нам съехал Володя Коробов, тот самый, вместе с которым мы встретили на черноморском базаре Щеглова.

— Вот они где загорают! — произнес он, задыхаясь. — А я уже уезжать хотел... Здравствуйте! Ну что, покажете мне свои сокровища? Вернее, посмотреть я уже успел, теперь только помять надо, что к чему...

— Ты выкудайся лучше с нами, а потом смотреть будешь! — предложил я Коробову на правах старого знакомого. — У вас там в Черноморске на пляже не протолкнешься, а здесь — простор! Правда, это не Караджийская бухта...

— А хотите, поедем в Оленевку? — предложил Коробов. — Машина есть, день сегодня свободный...

— Идея! Хочу в Оленевку! — вскричал Шилик.

— А смотреть виллу? — напомнил я.

— Покажем еще, куда не денется! — отмахнулся Щеглов, загоревшийся возможностью поездки. — Вот случай удобный! На

машине мы весь Тарханкут объедем, благо он маленький. И на Тарпанчи попадем, и на Беляус, и на мыс Ойрат. Там тоже клеры...

— Ну что же, поехали! — Володя заразился общим энтузиазмом. — А по дороге вы, Александр Николаевич, меня просвещать будете, ладно?

— Люблю экспромты! — прищелкнул Шилик языком, усаживаясь в «газик». — И где мы едем, и где?..

Это была великолепная поездка! Так все сошлось: настроение, люди, погода... Мы промчались вихрем по пустынной степной дороге, спугнули стаю дроф, тяжело взлетевших после длинного разбега, чуть не задавили зайца, бросившегося из-под машины в сторону. Щеглов, как заправский гид, рассказывал Коробову о греках, которые свели здесь леса, о курганах, под которыми, по его мнению, похоронено местное тарханкутское население — сатархи. Те самые «пиратствующие сатархи», которых усмирил и разгромил некий Посидей, поставивший в честь своей победы благодарственную статую Ахиллу в Неаполе Скифском...

Уже к вечеру, когда солнце стало красным и повисло над степью, мы добрались до Беляуса, маленькой древнегреческой крепости, построенной в IV веке до нашей эры на берегу моря. Вокруг расстилались жирные каштановые земли, мимо которых херсонеситы не могли пройти. Остатки этой крепости Щеглов раскапывал вместе с московским археологом Ольгой Давыдовой Дашевской.

Берег был низкий, просматривался далеко в обе стороны, но только спустившись на широкий песчаный пляж, мы увидели остатки мощных стен, сложенных из прекрасных отесанных блоков известняка.

— Внушительное сооружение! — покачал головой Коробов. — А что вы здесь нашли?

— Ну, рассказывать можно долго! Это угловая башня крепости, рассчитанная на долгую осаду. Стены здесь — почти два с половиной метра. Сначала они были тоньше. Их увеличили и башню надстроили во втором веке до нашей эры — как раз накануне нападения скифов. Судя по всему, в башне было три или четыре этажа, а первоначальная ее высота десять — двенадцать метров. Громадина!

— Здесь даже пазы для дверей и запоров сохранились! — сказал Шилик, успевший уже все осмотреть.

— Тут много всего есть! Нам ведь достался только нижний этаж. Вот лестница, ведущая наверх, — видите, какие ступени?!

А здесь колодец. Он был закрыт каменной крышкой. Сейчас, если его раскопать, вода будет солоноватой — поднялся уровень моря. А в те времена колодец обеспечивал пресной водой всю крепость. И в случае осады последняя опора — башня. Поэтому в ней хранились вода и запасы продовольствия. Колодец в этой комнате, а зерновая яма — в соседней...

— Откуда известно, что зерновая? — спросил недоверчиво Шилик. — Что, там хлеб был?

— Был. Много зерен пшеницы, просо и ячмень. У ямы глубина два с половиной метра, диаметр, как видишь, полтора метра. Вот и считай, сколько хлеба хранилось на случай осады!

— А с осадой не вышло — вероятно, нападение было таким же молниеносным и внезапным, как на вилле, да?

— Очень возможно! Но до этого хранилища скифы не добрались.

— А почему вы думаете, что зерно было в яме до прихода скифов? — осторожно спросил Коробов.

Он боялся попасть впросак со своими, как он считал, дилетантскими вопросами.

— На дне ямы лежало горло родосской амфоры с клеймом астинома Агорапакта, — охотно пояснил Щеглов. — Это позволило определить время: рубеж третьего-второго веков до нашей эры. Правда, на Беляусе жили и после похода Диофанга. Но тогда был сделан другой пол, перекрывший яму. Так что пользоваться ею уже не могли...

— А вы определили сорта зерна? Не знаете, какую пшеницу сеяли здесь греки?

От объяснений Щеглова в Коробове проснулся агроном. Впрочем, вся эта поездка на машине оказалась посвященной древнему земледелию: сначала клеры Прекрасной Гавани, потом клер на мысе Ойрат, история со скифским зерном у Тарпанчи, теперь здесь... В особенности Коробова заинтересовали древние виноградники. Его специальностью было как раз виноградарство. Все эти годы он отстаивал необходимость развития здесь виноградников, убеждая скептиков, что виноград на Тарханкуте расти может и должен.

— Зерно определяли, — ответил ему Щеглов. — В основном греки сеяли здесь сорта мягкой пшеницы. Если вас интересует, я дам вам результаты определения — и зерен, и плодовых деревьев, и винограда...

До недавнего времени историки и археологи, изучавшие сельское хозяйство древних греков, вынуждены были занимать-

ся скорее теорией, чем практикой земледелия. На отсутствие документов жаловаться не приходилось. Сохранились такие произведения классиков античной земледельческой науки, как поэма Гесиода «Труды и дни», трактаты о сельском и домашнем хозяйстве Варрона, Катона, Колумеллы, Плиния Старшего. В них содержались агрономические и агротехнические советы, указания по применению и содержанию в порядке инвентаря, потребность семян различных растений на определенную площадь земли, способы повышения урожайности, наиболее рациональное использование продуктов земледелия. До нас дошли законодательные декреты о землепользовании, изображения сельскохозяйственных орудий на фресках, мозаиках, на вазах, надгробиях, монетах; описания в художественной литературе и в драматургии. Наконец, при раскопках городов и сельских поселений археологи находили отдельные земледельческие и садовые орудия — кирки, лопаты, мотыги, виноградарские ножи, а также косточки и семена.

Не было только самого главного: тех полей и усадеб, на которых все это применялось и произрастало!

Как ни странно, первые древнегреческие клеры были найдены не в Греции, а на Гераклейском полуострове, возле Херсонеса. Именно эти поля, как подозревают историки, и размежевал в свое время известный нам Агаскил.

Каждый херсонесит выращивал на отведенном ему участке самые различные культуры. Какие именно? Это удалось установить по остаткам корневой системы деревьев и виноградных лоз, по тому, как была в данном месте обработана почва. В садах росли алыча, черешня, гранатовое дерево, миндаль, яблоня, груши, каштаны, грецкий орех; на огородах выращивались огурцы, арбузы, дыни и тыквы; на полях — пшеница, ячмень, горох, чечевица, просо, рожь, гречиха...

Размер древнейших херсонесских клеров был стандартен — около 30 гектаров. Примерно половину этой площади занимали виноградники. Но и на Гераклейском полуострове, и на Тарханкуте под тонким слоем почвы лежит скала. Чтобы создать необходимую для винограда глубину плодородного слоя, греки вырубали подпочвенный слой скалы. По подсчетам археолога С. Ф. Стржелецкого, который специально занимался изучением херсонесских клеров, владельцу клера приходилось вырубать в среднем около 50 тысяч кубометров скалы на каждом винограднике. Конечно, для этого был необходим труд рабов. Из добытого камня через каждые два метра выкладывали плантаж-

ные стенки во всю длину или ширину виноградника. С одной стороны, такие стенки создавали необходимую глубину почвенного слоя, с другой — не давали дождю и снегу скатываться вниз по склону. Они задерживали воду на участке и предохраняли плодородный слой от смывания и выдувания ветрами.

В садах такие же стенки создавались через каждые пять метров, а между ними еще вырубались глубокие траншеи, в которые и сажали плодовые деревья.

Система клеров, открытая Щегловым вокруг Черноморска и на южном берегу Тарханкута, оказалась точно такой же. Правда, в отличие от Гераклеяского полуострова, здесь большую часть надела занимали поля, где произрастал тот «хлеб с равнины», о котором упоминала «Присяга» херсонеситов...

— Значит, Беляус, в отличие от виллы и Тарпанчи, был заселен и после разгрома скифов Диофантом? — вернул я разговор в интересовавшее меня русло. — А какие тому доказательства?

— В первую очередь — культурный слой, которым перекрыт слой пожара; во-вторых — разбитая узкогорлая амфора из серой глины. Такие амфоры датируются первым веком до нашей эры и даже немного позднее. Ну, и потом, в слое много скифских вещей! Их не могло бы столько накопиться в промежутке между нападением скифов и походом Диофанта. То же самое можно видеть и в самой Прекрасной Гавани...

— Иными словами, хотя греки и разбили скифов, но они их отсюда уже не выгнали?

— Думаю, что так. Скифы здесь осели, смешались с сатарами и признали над собой власть Херсонеса. Фактически — власть Митридата, а потом Боспорского царства. Эта победа обернулась для херсонеситов поражением. Так тоже бывает — пиррова победа! Не случайно в последующее время древние авторы называют и Керкинитиду, и Калос Лимен — скифскими городами. Не по номинальной власти — по их населению. Вероятно, в них жили скифы и сатархи, а греков было мало.

— А что еще известно об этой позднейшей истории Тарханкута? — поинтересовался Коробов.

— По существу — ничего. Ведь раскопки здесь только начинаются... Я думаю, что курганчики в степи — могилы сатархов. Но ведь это только предположение. Любопытна и такая деталь. Возле Прекрасной Гавани раскопано несколько больших курганов. Археологи надеялись, что это гробницы жителей города. Но в курганах были погребены скифы. Причем погребения

сравнительно ранние — четвертый век до нашей эры! Вероятно, скифы и греки появились на Тарханкуте одновременно — отсюда возникает соперничество и последующая борьба между ними. А греческих могильников здесь мы не знаем — по-видимому, они есть, но найти не удастся...

Разговаривая, мы шли к машине напрямик через поле, примыкавшее к остаткам крепости. И кто из нас мог тогда предположить, что через несколько лет здесь будет сделано одно из любопытнейших открытий, проливающих свет на древнюю историю Тарханкута!

Вот как это произошло.

5

Щеглов был не первым и не единственным археологом, работавшим на Тарханкуте. Основные раскопки на Беляусе вела О. Д. Дашевская. Как я уже сказал, за развалинами крепости, между берегом и дорогой, находилось большое поле. Приехав в очередное лето на раскопки, Дашевская увидела на свежей пахоте несколько белых камней, высовывавшихся из-под земли. Камни были крупные и находились довольно далеко от башни. Что это, остатки стены или еще какое-то укрепление, вынесенное за предел крепости? Что бы то ни было, надо было копать.

По мере того как продвигались раскопки вокруг двух огромных каменных плит, на которых виднелись следы обтески, в слое чернозема проступали два совершенно одинаковых, выложенных из камня прямоугольника. Склепы! Но чьи они? Судя по хорошо отесанным блокам известняка, по форме погребальной камеры — вытянутой, прямоугольной, к которой вел длинный коридор — дромос, сложенный из таких же блоков, — склепы построили греки. И в них, конечно, должны были лежать обитатели Беляуса. Но какие? Самые первые, основавшие эту крепость, или?..

К радости открытия примешивалось беспокойство: ведь огромные и тяжелые плиты, закрывавшие когда-то склепы, были сдвинуты, сброшены. И произошло это не теперь, а еще в древности. Грабители? Увы, археолог редко попадает первым в подобные погребальные сооружения. Обычно он идет следом за грабителями, собирая лишь остатки — пропущенные, оброненные, забытые. Грабители могут быть самыми разными: древними, современными погребенному, такими же профессионалами, как грабители в Древнем Египте, или иноплеменниками, более поздними по времени. Установить, кто и когда проникал в ту

или иную гробницу, почти невозможно. Правда, лорд Карнарвон, раскапывая с Г. Картером гробницу Тутанхамона, нашел на замурованном грабительском лазе оттиски печатей начальников стражи и мог установить, что гробницу Тутанхамона пытались ограбить вскоре после похорон; с другой стороны, И. Е. Забелин, раскапывая Чертомлыцкий курган, наткнулся на останки самого грабителя, засыпанного обвалом. Но такие случаи очень редки. И если бы археологам, раскапывающим курганы, приходилось заполнять соответствующую графу в анкете — кто именно побывал до него? — почти всегда пришлось бы писать: ищи ветра в поле.

Похоже, так было и здесь: первый склеп оказался ограбленным дочиста. Грабители словно даже подмели пол. В земле, запылявшей погребальную камеру, археологам попались лишь обломки косточек, мелкие черепки и — единственная целая вещь — раковина с маленькой дырочкой: когда-то она служила частью ожерелья. А вдоль одной из стен, на каменных плитках, закрывавших большую часть пола, лежал череп коня и кости его ног...

Второй склеп частично вознаграждал за долгие труды и переживания. Грабители побывали и тут. Они не церемонились с погребенными: кости двадцати двух человек — мужчин, женщин и детей — были перепутаны, перемешаны и разбросаны по всей камере склепа. Именно по такой «мешанине» удалось установить, что грабители попали в склеп через много лет после его заполнения. По-видимому, в первом склепе тоже находилось коллективное погребение. Среди костей лежали стеклянные, агатовые и несколько сердоликовых бусин, две фибулы — броши, на которые не позарились грабители, чашечки, покрытые красным лаком, маленькие кубки для вина, две стеклянные геммы — вставки для перстней с изображениями, а главное — невзрачные, грубой лешной работы глиняные горшки и светильник. Именно они помогли установить время и «национальность» погребенных.

Чашечки и кубки, покрытые красным лаком, так же как броши-фибулы, помогли установить только время — I век нашей эры. Они распространены на огромной территории — от Испании до Средней Азии, в Северной Африке и в Средней Европе. Но лепные горшки и светильники, обнаруженные в склепе, делали только скифы. Поэтому можно было утверждать, что и два столетия спустя после похода Диофанта на месте бывшей греческой крепости существовало скифское поселение. Конечно, к тому времени скифы достаточно эллицизировались, смешались и с

греками и с сатархами, но для своего хозяйства продолжали изготавливать все ту же грубую и невзрачную посуду.

Возможно, другой археолог ограничился бы находками и прекратил раскопки. Уже это открытие было достаточно значительно и интересно. И только интригующий вопрос — кто ограбил склепы? — оставался по-прежнему нерешенным. Но здесь Дашевской помогла, так сказать, «научная дисциплина».

Археолог обязан провести исследование любого памятника до конца, раскопав не только культурный слой, но отчасти и тот «материк», на котором отложились культурные остатки. Иногда так открывают тайники, невидимые сверху ямы, находят отдельные предметы.

Под полом второго склепа, выложенного каменными плитками, ничего не оказалось. Но вот в первом... В первом склепе Дашевская заметила одну особенность, которая не сразу бросилась ей в глаза: плитки лежали только вдоль одной стенки, и именно на них был положен череп и кости ног коня.

А почему, в самом деле, здесь лежат эти кости? Как они могли сохраниться? Когда-то скифы вместе с покойником хоронили и его любимых коней. Но, во-первых, это было в иную эпоху, а во-вторых, должен быть полный скелет. А его нет! Сюда положили только голову и ноги. Наверное, со шкурой — как бы «модель» коня. Но это обычай уже не скифов, а более поздних кочевников, тех самых легендарных гуннов, которые, придя из восточных степей, разрушили Римскую империю. В Причерноморских степях и в Крыму гунны появились в середине IV века нашей эры, через 200—300 лет после сооружения беляусских склепов. Не они ли разграбили их? Но где доказательства? Только ко эти конские кости? Странно...

Дальше все оказалось еще интереснее. В той же части склепа, где не было плиток, земля оказалась ветропнутой. Но когда начали разбирать вымостку под черепом и костями, под первым слоем плиток обнаружился второй — те самые плитки, что были сняты с остальной части пола. А под ними археологи увидели длинное темное пятно — след от ямы. Еще одно погребение!

Сначала под ножами и кистями появился человеческий череп. Затем расчистили весь скелет. Рядом с ним лежали железные удила, колокольчик, а на костях настоящее богатство: серебряные и золотые вещи.

Первой показалась пряжка от поясного ремня — толстая, литая, с золотой надчеканкой; на ногах лежали такие же пряжки, поменьше, — застежки сапог. Рядом с ногами — серебряные

бляхи от уздечки и золотые наконечники ремней. Под черепом, на месте левого уха, лежала золотая серьга, украшенная тончайшей зернью и яркими вставками из разноцветного стекла. Но, конечно, самая удивительная находка ожидала археологов у стенки могильной ямы: фигурка осла, сделанная из листового золота. Сохранилась, правда, не сама фигурка, по-видимому деревянная, а те золотые пластины, которые ее покрывали. Хотя погребенный был подростком — антропологи определили его возраст: 12—14 лет, — золотой осел вряд ли служил игрушкой. Скорее всего, это был какой-то знак отличия, вроде тех «церемониальных жезлов», что были найдены с мальчиками на Сунгире.

И грабители пропустили все это богатство? Нет. В могиле, открытой Дашевской, находился если не сам грабитель, то косвенный виновник грабежа... Подросток был гунном. Эти кочевники отличались одной особенностью: с младенческих лет детям бинтовали голову так, что кости черепа могли расти только вверх. Поэтому у всех взрослых гуннов черепа деформированные — сдавлены с боков и сильно вытянуты. Может быть, такая форма соответствовала гуннскому понятию красоты.

О том, что мальчик гунн, свидетельствовала не только форма его головы и погребенные части коня (теперь можно было точно утверждать, что над могилой положили шкуру коня с головой и ногами), но и все вещи — пряжки, удила — были чисто гуннскими. Что же произошло?

Полчища гуннов, пронесшиеся по южным степям на запад, нанесли последний удар по античному миру в Причерноморье.

Часть гуннов переправилась зимой по льду через Керченский пролив в Крым, прошла его из конца в конец, сея смерть и разрушение. Большинство древних городов так и не встало из руин, после гуннского погрома жизнь в них прекратилась. Может быть, этот мальчик был сыном вождя или бачей — мальчиком для увеселений, но никак не рядовым гунном. Это доказывали и украшения его одежды, и уникальнейший золотой осел.

Во время похода мальчик умер или был убит в стычке возле Беляуса. Гуннам надо было его похоронить. Но сами гунны не насыпали курганов. Обычно они хоронили своих покойников в уже существовавших курганах — сарматских, скифских и еще более древних, оставшихся от бронзового века. Над беляусскими склепами тоже возвышались небольшие курганы... Вряд ли гунны думали о грабеже. Но когда, копая могилу, они наткнулись на склеп, соблазн оказался велик, тем более что с погребенными могли быть драгоценности. Кстати, и золотая серьга —

не гуннская, а греческая! Дальнейшее можно представить достаточно точно. Вычистив склеп, похоронив в нем владельца золотого осла и положив над ним шкуру коня, родственники устроили тризну. А потом — или в честь покойного, или просто упившись кумысом — они раскопали и разграбили находившийся рядом второй склеп. Очищать его от костей им было ни к чему...

6

Вот над этими склепами, не подозревая об их существовании, мы и прошли в тот день...

А вернулись на виллу мы только на следующий вечер. Мы — я и Шилик. Когда все уселись в машине и Коробов стал выезжать на шоссе, Шилик спохватился:

— Друзья, давайте доедем до лимана! Это же близко совсем!

— А зачем? — недовольно спросил Щеглов, которому хотелось поскорее вернуться в лагерь. Он беспокоился об оставшихся ребятах и сыне.

— Берег посмотреть! — ответил Шилик. — В прошлый раз я ехал и вроде нашел место, где лиман раньше с морем соединялся...

Мы выехали на шоссе и помчались вниз, к белевшей впереди длинной пересыпи. Она отделяла лиман от моря и тянулась на несколько километров. У песка шоссе кончилось, и началась тяжелая, разбитая дорога по песчаным буграм. Неожиданно впереди, примерно в том месте, где, по расчетам Шилика, могли быть остатки древнего русла, соединявшего некогда лиман с морем, мы увидели несколько палаток. На берегу, полувытащенная на песок, лежала большая белая шляпка.

— Это еще что за экспедиция? — с недоумением произнес Щеглов. — На туристов не похоже...

— Может быть, гидрографы приехали? — предположил Коробов. — Вон и катер у них недалеко от берега. Сейчас узнаем!

Машина остановилась неподалеку от палаток.

— Да тут аквалангисты! — воскликнул Шилик, выскакывая из машины. — У них и компрессор стоит!

В центре между палаток был вкопан деревянный стол, за которым сидело несколько человек — загорелые докрасна, здоровые и крепкие парни в плавках. Возле палаток лежали ласты. Около компрессора, вроде тех, что при уличных работах подают

сжатый воздух к перфораторам, в большом ящике стояли акваланги.

Мы поздоровались. Нам ответили радушно и пригласили к столу.

— Что же вы здесь исследуете? — поинтересовались мы.

Высокий парень с худым лицом и болтавшимся на груди «курьюм богом», как называют такой круглый камень с дыркой, объяснил. Нежданно-негаданно мы попали в лагерь подводной археологической экспедиции, которую возглавлял Владимир Дмитриевич Блаватский. Блаватский в университете читал нам курс античной археологии. В те годы он основал при Институте археологии специальную подводную археологическую экспедицию. Как известно, за последние три тысячелетия берега Черного моря значительно изменили свои очертания. Они опускаются, и портовые части древних греческих городов оказались теперь под водой. Блаватский с помощью аквалангистов-любителей осуществил первые подводные раскопки в нашей стране, выяснив действительные размеры затопленных городов. Кроме этого, опрашивая рыбаков и проводя подводные разведки, он составлял подводную археологическую карту, на которой отмечалось, где и когда находили у берегов целые амфоры, их обломки и прочие древности. Фактически это была карта древних кораблекрушений. Мечтой Блаватского было найти целый древнегреческий или римский корабль, подобно тем, что открывали археологи и любители-аквалангисты в Средиземном море. Ведь если мы знаем что-то о технике того времени, знаем или можем себе представить наземный транспорт древних, то все сложное и развитое «морское дело» — судостроение, перевозка грузов, оснастка кораблей — известно нам гораздо хуже. До начала подводных исследований археологи довольствовались изображениями судов на мозаиках, фресках, вазах и монетах, а также описаниями, сохранившимися в трудах древних авторов.

Но у Блаватского была еще одна надежда, о которой он с воодушевлением рассказывал нам на лекциях. Он считал, что лишь поиски затонувших кораблей и подводные раскопки могут вернуть утраченные, известные нам лишь только по упоминаниям, труды древних авторов. Рукописи на пергаменте и папирусные свитки, заменявшие грекам и римлянам наши книги, хранились и перевозились в медных цилиндрических футлярах — цистах. То, что не сохранилось на и в земле, при удаче могло оказаться на одном из таких погибших кораблей...

— Здесь не так давно при подводных работах нашли не-

сколько амфор,— сказал нам Юра Мишнев, один из сидевших за столом аквалагистов.— Вот в прошлом году мы начали разведку и нашли еще...

— Ну-ну, знаю! — поддакнул Щеглов.— Мне Блаватский говорил об этом. А сам-то он где? Здесь?

— Нет, он позже придет. Мы только на днях приехали сюда. А замещает его Борис Георгиевич...

— Петерс? — вмешался я в разговор.— А где же он?

— Вы знаете его? Скоро вернется: в Евпаторию уехал вместе с нашим врачом.

— Ну и что же вы сейчас делаете? — допрашивал Мишнева Щеглов.

— Готовимся к раскопкам. Там вон,— он махнул рукой в сторону моря,— видите поплавки? Во-он белеются. Это буйки над амфорами — еще шесть штук за эту весну вымыло из песка... Спускаемся, зондируем дно...

Окончить он не успел. Вернулся Шилик, уже успев познакомиться с аквалагистами.

— Саша, у них там уже три амфоры поднято. Они у Петерсовой палатки лежат! — еще издали закричал он.

— Это мы позавчера подвiali,— объяснил Мишнев, шагая с нами по песку.— Боялись, что шторм будет, потеряем или замоет их...

— Ты подумай, хорошие какие! — присел Щеглов рядом с амфорами.— Гераклейские! И клейма есть... Пожалуй, ровесниками виллы будут!

На песке рядом с палаткой лежали три амфоры и несколько их обломков: горла с ручками, большой кусок стенки с вожжой. В отличие от тех, что находят при наземных раскопках, эти амфоры были окатаны, обтерты песком. На многих оказались наросты известняка, торчали острые головки полипов-баллусов.

— А глубоко лежали? — спросил Коробов у Мишнева.

— Метра три-четыре... Здесь море не глубокое, дно ровное.

— И прямо на дне?

— Прямо на дне. Так из песка и высовываются... Тут как шторм — так обязательно новые амфоры отмоет. Да мы и местных жителей спрашивали, говорят, монеты находили, черепки...

— Слушай, Александр Николаич,— обратился Шилик к Щеглову,— а что, если мы здесь на денек останемся? Работу я свою почти кончил, Андрей тебе не нужен сейчас... Завтра и вернемся...

- Завтра я не могу заехать за вами, — сказал Коробов.
— Не надо заезжать! На попутных доедем...
— И у нас машина есть, — поддержал Мишнев. — Петерс вот-вот приехать должен...
— А где вы спать будете? — посмотрел на нас с подозрением Щеглов.
— Устроимся! Борис устроит...
— Это не проблема! У нас и мешки есть, и палатка свободная, — отозвался Мишнев.

Так и решили. В самом деле, уж очень хотелось нам посмотреть на подводную работу археологов, понырять, увидеть амфоры. Да и повидать Петерса, с которым я кончал университетский курс. Невысокий, черный, сутуловатый, с быстрой скороговоркой, при которой он проглатывал окончания слов, Петерс был человеком с героической биографией. В 1942 году, когда ему исполнилось пятнадцать лет, он ушел на фронт к отцу и стал разведчиком. Он был ранен, награжден, прошел всю войну, и вернувшись, сел за парту, чтобы стать геологом. Когда мы отвечали у доски урок или сбегали на стадион через черный ход, Петерс уже не первый год прокладывал по гольцам и рекам в якутской тайге труднейшие маршруты в поисках алмазов. После этого он работал геологом в Средней Азии и там, соприкоснувшись со сказочным и красочным Востоком, пленяющим своей древностью, решил изменить свою жизнь. Теперь, чтобы учиться на историческом факультете, Петерсу пришлось работать на заводе — днем работать, а вечером ходить на лекции и семинарские занятия.

Первыми на призыв Блаватского заняться подводной археологией откликнулись Борис Петерс и его приятель, тоже студент вечернего отделения, Иван Смирнов. Пара получилась колоритная: маленький, первый и энергичный Борис и высокий, широкоплечий, медлительный Иван Смирнов. Они, как атланты, выносили на своих плечах все первые экспедиции. Но Иван умер — нелепо, мгновенно, в несколько дней — от рака легких, и теперь всеми подводными делами в институте заведовал Борис Петерс.

Он появился буквально через несколько минут после отъезда Щеглова и Коробова.

— Приехали? А покормили вас? Сейчас вам мешки дадут, — заговорил Борис, как обычно, суетясь, но несколько не удивляясь нашему появлению. — Съездить надо было в Евпаторию за медикаментами для врача. Видел амфоры? Завтра под воду пойдешь посмотреть! Мы, может быть, и до корабля доберемся... Тут ви-

дишь какое дело: Блаватского нет, надо к его приезду все подготовить. Вот я и мотаюсь.

— Да сядь ты ради бога, посиди! — взмолился я. — Что ты все торопишься?

— Да я не тороплюсь! — скороговоркой ответил он и побежал что-то устраивать. В этом он был весь: всегда словно боявшийся что-то упустить, недосмотреть, оплошать в своей постоянной заботе о людях.

В тот вечер мы легли спать поздно, когда уже и деликатный Борис откровенно сказал, что не только мы, но и он, фактический начальник экспедиции, нарушает вместе с нами режим. Нас-то можно было понять! Нам хотелось все узнать об экспедиции, о ее находках и работе. По мере сил Петерс старался удовлетворить наше любопытство: мое — по археологической части, Шилика — по части колебаний уровня Черного моря, которыми он всерьез занимался последнее время.

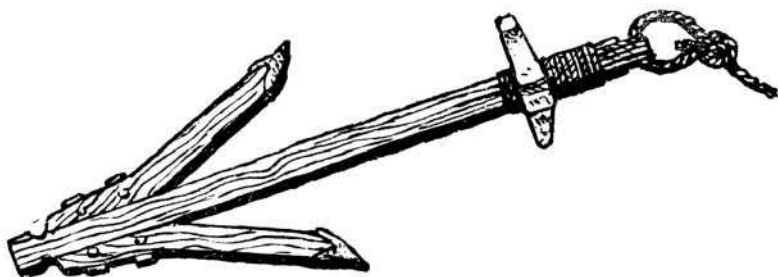
По наблюдениям Петерса, древние берега Черного моря сейчас находятся под водой на глубине трех-четырёх метров. К такому заключению пришли археологи после многократного обследования затонувших кварталов Пантикапея, Фанагории, Гермонассы и Нимфея, расположенных на берегах Керченского пролива, а также Херсонеса и Ольвии. Что касается этого места, где мы находились сейчас, то, по мнению Петерса, в древности именно здесь лиман соединялся с морем, и предположение Шилика совпадало с выводами Петерса. Правда, Петерс считал, что отделение лимана от моря могло произойти гораздо раньше, чем на берегах появились греки.

— А как же корабль? — спросил Шилик.

— С кораблем сложно. Как нашли его, знаете? Мишнев не рассказывал? Тут несколько лет назад водолазы якорь вытащили. Деревянный якорь со свинцовым грузом. Возили они его, возили, а потом выкинули! Мы только недавно узнали, что был якорь. Если такой, как описывают, — значит, настоящий античный. Жалко! Где выбросили — никто не помнит... А потом, после шторма, амфоры на дне увидели. Тогда здешний лоцман написал нам в Москву. Мы в январе сюда приехали. Холод, вода ледяная... Но поработали хорошо: двенадцать амфор подняли со дна! Вот тогда и было решено организовать эту экспедицию...

По рассказу Бориса получалась следующая картина. Корабль — теперь точно известно, что из Гераклеи, — штормом был отнесен к берегу и попал на скалу. Эта скала сейчас скрыта наносами песка. О гераклейском происхождении корабля и груза

можно судить по клеймам на ручках и горлах амфор. Все они изготовлены в нескольких гончарных мастерских в конце IV — начале III века до нашей эры. Это как раз время расцвета греческого хозяйства на Тарханкуте. Поскольку сильные штормы начинаются в здешних местах поздней осенью, можно думать,



что гераклейский корабль шел с пустыми амфорами за местным вином или же, наоборот, загрузив вино местного производства, отправился в обратный путь... Тут Петерс углубился в сложные расчеты. По его словам выходило, что корабль был большим и вместительным. Об этом говорили и размеры потерянного якоря, и большие свинцовые листы обшивки, которые удалось поднять со дна моря. Такой корабль должен был принимать на борт груз из трех тысяч амфор, вместимостью около пятнадцати литров каждая. А каждый виноградник обычного херсонесского гражданина, по расчетам С. Ф. Стржелецкого, изучившего урожайность и хозяйство херсонеситов, давал возможность его владельцу продавать около сорока пяти тысяч литров вина — иначе говоря, как раз такой корабль.

О кораблекрушении свидетельствовали амфоры, свинцовые листы обшивки, медные гвозди, которыми эти пластины крепились к деревянным брускам, и черепки чернолаковых сосудов. Была еще одна любопытная находка.

— Вот, смотрите, — сказал Борис и достал из-под раскладушки, на которой мы сидели, довольно большой кусок известняка.

Подобные куски, окатанные морем, валялись кое-где по берегу, так что, увидев их вместе с амфорами у палатки Петерса, я не обратил на них внимания.

— А что это? — спросил Шилик.

— Да ты возьми, возьми! — настаивал Петерс.

В руках у Шилика кусок развалился — он был уже расколот. В нем оказалась пустота и кусок деревянной палки.

— Это же топор! — с удивлением произнес Костя. — Вернее, отпечаток топора.

— Точно! Мы такие куски находили на дне и не брали. А тут я решил расколоть и посмотреть. И видишь — все, что осталось от греческого топора! Одна рукоятка... Понимаешь, что произошло?

— Понимаю! Сначала железный топор в воде заржавел, потом оброс ракушками, известью, но, пока создавалась такая скорлупа, морская вода съела остатки железа...

— Хочешь посмотреть, как он раньше выглядел?

Оттуда же, из-под кровати, Борис вытащил гипсовую отливку топора. Она точно укладывалась в форму. Топор получился узкий, похожий сверху на клин, с полукруглым, оттянутым лезвием. Верхнего угла лезвия у него не хватало.

— Что, обломан был? — поинтересовался Шилик.

— Нет. — Борис как бы зажая пальцами отсутствующий кусок. — Понимаешь?

— Воткнул в дерево?

— Верно. Они, наверное, мачту рубили, когда их к берегу несло! А как увидели, что все, уже не выбраться, сами спастись стали. А топор был корабельного плотника...

Наше явное сомнение только раззадорило Петерса.

— А вы видели, как плотники со своим инструментом обращаются? — напал он на нас. — Какой плотник бросит топор? Он его обязательно или за пояс заткнет, или в бревно всадит! С собой он брать топор не стал — не до того было. А в дерево его все-таки всадил — по привычке. И этот кусочек, пока торчал в дереве, не оброс ракушками. А когда дерево сгнило, вместе с ним и отвалился...

На следующий день мы сидели в шлюпке, стоявшей на якоре метрах в двухстах от берега. Ветер еще не поднял волну, море чуть колыбалось, и в прозрачной воде видны были темные фигуры аквалангистов, работавших на песчаном дне. Петерс и Мишнев стояли на носу шлюпки, держа в руках тонкие капроновые шнуры. Время от времени они подергивали их и в ответ получали такой же сигнал: аквалангисты сообщали, что все в порядке. Вокруг шлюпки на воде покачивались белые буйки, от которых вниз отходили тросики. Внизу тросики крепились к найденным амфорам. С берега буйки было видно хорошо, и по

этим буйкам, появившимся на месте каждой новой находки, археологи составляли точный план.

— Скоро ты нас в водупустишь? — спросил наконец Петерса Шилик.

— Через три минуты. Сейчас одна пара поднимется, и вы пойдете.

В ногах у нас лежали только что заряженные акваланги, и Шилик подгонял ляжки по своим плечам.

При такой небольшой глубине — около пяти метров — необходимости в аквалангах, чтобы взглянуть на амфоры, не было. Достаточно маски с трубкой и ласт. Но в маске приходится все время всплывать, а вам хотелось почувствовать, как работают на дне аквалангисты. Отсюда, с лодки, их движений почти не было видно, и только шумные пузыри выходящего воздуха, вырывающиеся из клапанов, свидетельствовали о жизни и какой-то подводной деятельности.

Ровно через три минуты на поверхности показались двое подводников. Они вскарабкались по железному трапу, спущенному с кормы шлюпки в воду, и сняли акваланги. Несмотря на жаркий солнечный день и теплую воду, ребята были в толстых свитерах, какие надевают водолазы под костюм, — не так холодно. Лежать почти неподвижно на дне, вонзая в песок длинный и тонкий металлический щуп, пытаться обнаружить амфоры или остатки корабля, — занятие малоувлекательное и тяжелое.

— Давайте! — повернулся к нам Борис.

Застегнуты ляжки, надет пояс со свинцовым грузом, отрегулирована подача воздуха из баллонов. Во всей этой амуниции становишься неуклюжим и с трудом подходишь к борту.

— Приготовиться к спуску! — командует Петерс.

— Готов! — отвечает Шилик и берет в рот загубник.

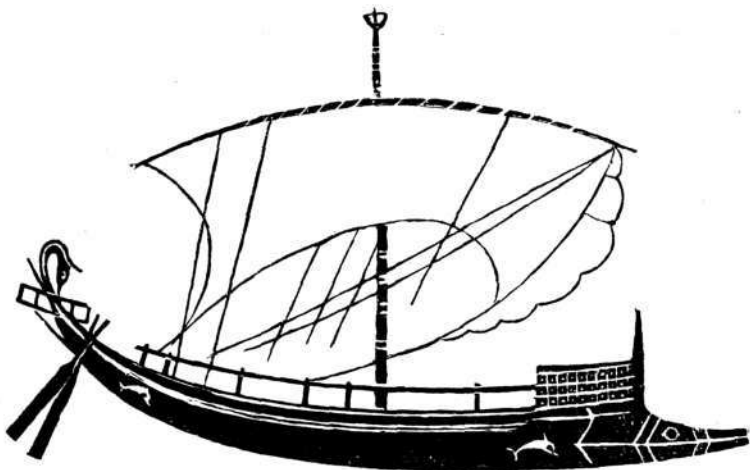
— Пошел!..

Шилик, придерживая руками маску, чтобы не слетела, отталкивается и переваливается спиной через борт. Если нырять как обычно, редуктор акваланга может с такой силой ударить по затылку, что человек теряет сознание. А так баллоны смягчают удар о воду.

Следом за ним плюхается его сопровождающий.

— Приготовиться к спуску! — командует мне Борис. — Пошел!

Акваланг я надел первый раз в жизни. Теоретически все было известно и отработано. Но между плаванием в маске и в акваланге оказалась большая разница. Мешали широкие и жест-



кие ремни, затылок шюгда ударялся о редуктор, груз на поясе оказался слишком мал, и вода выталкивала меня на поверхность. Наконец все неполадки были устранены, и мы спустились вниз.

На светлом песке, по которому бежали солнечные блики, выделялись темные туловища амфор. В воде амфоры казались гораздо больше и объемистее, чем на берегу. На них белели известковые наросты: колонии баянусов перемежались черными гроздьями мелких мидий. Когда я заглянул в горло одной из амфор, на меня уставились выдвинутые на стебельках глянце-вые глаза краба, испуганно зашевелившего клешнями и попятившегося вглубь.

Да, конечно, несколько амфор, лежащих на песке, куски свинцовой обшивки, даже топор — это немного. В Средиземном море подводные археологи находят мраморные и бронзовые статуи, колонны, сотни таких амфор, почти целые корабли... Но ведь и условия в Средиземном море другие, и поиски начались гораздо раньше. Там нет такого изменения береговой линии, нет подводных оползней, обвалов. Этот корабль затонул слишком близко от берега, на мели, и его разметало штормами. Будь здесь большая глубина, корабль сохранился бы целиком: ниже двадцатиметровой отметки действуют только морские течения. Какой бы ни был шторм, волнение на такую глубину не доходит. Именно эти условия позволили обследовать и поднять множество произведений античного искусства с затонувшего у берегов Туниса.

са, неподалеку от Махдии, древнего корабля. Около Марсея знаменитый Ив Кусто частично раскопал большой грузовой корабль, шедший из Италии. А все началось вот с таких же амфор, которые увидели рыбаки на дне моря...

— Ну как? — немного ревниво спросил меня Петерс, когда время истекло и нам пришлось подняться на поверхность. — Ожидал более внушительного зрелища?

Я пожал плечами. Конечно, ожидал! Но ведь все начинается с малого: сегодня черепок, завтра амфора, а там и до самого корабля недалеко...

7

На виллу к Щеглову мы вернулись к вечеру. И по лицам «змеенышей» сразу понял, что без нас что-то произошло. Щеглов сиял.

— Проморгали, проплавали, лодыри! А без вас тут находки у нас пошли, да какие!

— Скифа нашел? — догадался Шилик. — Или сатарха своего...

— Не угадал! Вот, посмотри...

На листе бумаги, уже вымытые, лежали странные черепки. На первый взгляд они казались обломками краснолаковой посуды, но, приглядевшись, повертев в руках, я понял, что ошибся. По черепкам обычно можно представить форму и размеры сосуда, который был разбит. Краснолаковые черепки эллинистического и римского времени остались от тончайших чашечек, кубков, мисочек, не уступавших по изяществу и тонкости стенок современному фарфору. Черепки, лежавшие передо мной, были довольно толстыми, хорошо заглаженными с внешней стороны, но грубые и шершавые с внутренней. Кроме того, они были какими-то неровными — с неожиданными выступами, пупырышками, отдаленно напоминающими шишковатый древесный ствол, покрытый чуть глянцевою пленкой красного лака.

— Нет, не понимаю! — с сожалением вернул я черепки Щеглову. — Может быть, осколки какой-то терракотовой статуи?

— Почти угадал. Это разбитая палица Геракла!..

Геракл был патроном херсонеситов, они чтили его наравне с богами. И Гераклея, из которой вышли первые поселенцы, тоже названа в честь Геракла — самого популярного героя древности. Изображение Геракла херсонеситы чеканили на своих монетах, отискивали на глиняных светильниках, ставили его

статуи. Больше всего встречается рельефов с отдыхающим Гераклом. На Тарханкуте подобный рельеф не так давно нашли возле поселка Межводный, где Коробов когда-то работал агрономом. А незадолго до нашего возвращения к Щеглову приезжали из карасевской экспедиции: там тоже нашли Геракла. И не просто рельеф — раскрашенный!..

Уезжая с Тарханкута, я побывал у Карасева под Евпаторией и видел эту замечательную находку. Красный, обнаженный Геракл лежал на желтой львиной шкуре, отдыхая после очередного подвига, которыми была заполнена его нелегкая и безрадостная жизнь. В руке Геракл держал канфар с вином, перед ним лежала его знаменитая палица. Такими рельефами греки обычно украшали стены общественных зданий.

Здесь же, на вилле, Щеглов нашел не самого Геракла, а его палицу. Эту тяжелую суковатую дубину герой вырубил из ясеня, росшего, по преданию, в Немеической роще; с нею он совершал свои подвиги и не расставался ни на минуту — даже во время отдыха или пира. В этом Геракл походил на нашего былинного Илью Муромца с его дубовой палицей богатырскою. Херсонеситы в своих домах, на улицах и на городских площадях ставили жертвенники Гераклу в виде таких же вот палиц. Слегка суживающиеся кверху, усеянные сучками, эти палицы могли быть бронзовыми, мраморными, высеченными из известняка и даже керамическими. Именно такую, терракотовую, палицу поставил в своем загородном доме владелец виллы. Скифы разбили ее, но Щеглов уверял, что все куски можно склеить.

— Но это еще что! — сказал Щеглов, закончив объяснения. — Главное, мы знаем теперь имя хозяина! Правда, приходится выбирать из трех имен, но одно из них безусловно верное...

Он осторожно развернул пакет, в котором лежали черепки от чернолакового рыбного блюда. Кое-где на них видны были царапины, но когда Щеглов сложил их вместе, на широком ободе явственно проступила монограмма «П» с косой чертой в верхнем правом углу.

— «Пар», — прочитал Щеглов. — Если бы такой черепок нашли в Херсонесе, возле храма, эта монограмма — а греки вообще любили зашифровывать имена монограммами! — могла читаться как «Партенон», то есть «посвященный Деве», главной богине Херсонеса. Но здесь, конечно, монограмма содержит имя хозяина. Выбирать приходится из нескольких имен — Парфений, Парфеноклес, Пармий... Так что, пока вы ездите, на вилле и хозяева объявились!

Щеглов радовался находкам, как мальчишка. За то время, что я провел в его экспедиции, я смог увидеть за его обычной серьезностью и романтику, и тот юношеский азарт, с которым он принимался обсуждать только что возникшую идею. Стороннему наблюдателю могло показаться, что, кроме археологии, для Щеглова ничего не существует. Это было не так. Сама работа — будничная работа археолога — медлительное и скрупулезное исследование, требующее терпения и усидчивости, было проникнуто для него такой же романтикой, как для других — охота, горнолыжный спорт или спуск в холодную темноту пещер. Раскапывая виллу, Щеглов успевал проводить со «змеенышами» занятия, писать научные статьи и даже прочесть несколько лекций для постоянных и временных жителей Черноморска. И за все это он принимался одинаково горячо и основательно.

...Мое пребывание на Тарханкуте затянулось дольше, чем я рассчитывал. Надо было уезжать. Собирался уезжать и Шилик. Он кончил электроразведку, и теперь план виллы был готов. За раскопанными кладовыми, ванной комнатой и маленькой винодельней, где стояла плита для пресса, начинался небольшой дворик. Судя по плану, его окружала крытая галерея, куда выходили другие комнаты — такие же кладовые, помещения для рабов и для скота. Все это Щеглову еще предстояло раскопать.

Я уже говорил, что с самого начала Щеглов поразил меня своей скрупулезностью и наблюдательностью. Казалось, у него был особенный нюх на мельчайшие детали. Другой мог пройти мимо них, не заметив, но именно они потом оказывались решающими для подтверждения той или иной гипотезы. Так, однажды Щеглова заинтересовало, насколько правы географы, считающие, что в первых веках до нашей эры климат в Причерноморье стал холоднее. Пыльцевой метод для этого не годился. В ряде случаев среднегодовые температуры водоемов можно узнать по анализам слоев извести раковин. Но Щеглов решил использовать для этого чешую рыб.

Греки занимались не только земледелием и виноградарством, но и рыболовством. Подобно моим знакомым рыбакам из Оленевки, они ловили кефаль, калканов и осетров. При раскопках археологи часто находили множество чешуи — и в рыбозасолочных цистернах, и просто в кучах. Собрав и изучив рыбную чешую из разных поселений, Щеглов вместе с одним из севастопольских ихтиологов подсчитал скорость роста древней кефали, определил средние размеры рыб и сравнил полученные цифры с объемами современной кефали. Оказалось, что и величина,

и скорость роста у древних рыб были много больше, чем у современных. Это означало, что похолодание действительно произошло, а до того климат Причерноморья был значительно теплее, чем сейчас.

Подобный случай произошел накануне нашего отъезда.

Все возможное время Щеглов проводил на вилле. Он зарисовывал отдельные части строения, подбирал черепицу и черепки друг к другу, обмеривал стены, присматривался к камням, обмазке, пытался выяснить, какие на вилле были починки. Наверное, сидя в палатке, он мог с закрытыми глазами описать каждый камень этих древних стен. Мы с Шиликом посмеивались, говоря, что Щеглов хочет найти клад, закопанный здесь хозяином перед набегом скифов. Клад не появлялся, но в стене Щеглов нашел «заклад» — довольно большую плиту, которая, как выяснилось впоследствии, закрывала прежний дверной проем.

И вот, в сотый или тысячный раз обходя раскопанные комнаты виллы, Щеглов обнаружил монету.

— А я что-то нашел! — торжествующе объявил он.

По правде сказать, мы с Шиликом не обратили внимания на этот возглас, обсуждая сложность предстоящего отъезда ввиду многочисленной аппаратуры Шилника.

— Эй вы, заговорщики! Я клад нашел! — крикнул нам громче Щеглов.

— А нашел, так неси сюда: делить будем! — отозвался Шилник.

Оба мы приняли это за очередной розыгрыш.

— А он не вынимается! — также шутливо ответил Щеглов.

В стене виллы, почти на уровне фундамента, в штукатурке виднелся край медной монеты, засунутой между камней. Только Щеглов мог заметить такой маленький кусочек зелени! И ребята, раскапывавшие эту комнату, и я, чистивший эту стенку ножом, монету проглядели.

Монета оказалась не только совершенно целой, но идеально сохранившейся: не потерта, не сломана. Если бы не темный слой окислов на ее поверхности, можно было подумать, что она только что вышла из-под чекана. И что самое удивительное, монета была не херсонесской!

На ее лицевой стороне было вычеканено курносое мужское лицо с бородой и чуть заметными рожками — голова сатира. На обратной стороне — изогнутый скифский лук, стрела и надпись «ПАНТИ». Такие монеты чеканили в Пантиканее, столице Бос-

порского царства, находившегося на месте современной Керчи.

— Как же она попала сюда? — недоумевал Шилик.

— А это строительная жертва, чтобы дом лучше стоял! — отозвался Щеглов. — Ее вложили сюда при постройке. Теперь мы совершенно точно можем определить, когда построена вилла. Такие монеты чеканились в Пантикапее между 330 и 315 годами до нашей эры. Монета совершенно новая, она почти не была в обращении. Значит, прошло совсем немного времени между ее чеканкой и строительством виллы. Клейма астинома Омфалика, как вы теперь знаете, дают примерно ту же дату — между 320 и 270 годами до нашей эры. Отсюда вывод может быть только один: наша вилла, или «вилла Парфения», как теперь ее можно называть, была построена в самом конце четвертого века!

— А во-вторых?

— И во-вторых, и в-третьих, и в-четвертых... Эх, если бы теперь начать копать саму Прекрасную Гавань! Когда точно возник этот город? Когда началось межевание? Теперь можно смело утверждать, что к концу четвертого века все клеры здесь уже существовали. Ведь не построил же этот Парфений виллу раньше, чем получил надел?! Интересно и другое: ведь монета-то не херсонесская! Как она попала к Парфению? Сам он привез ее из Пантикапея или получил в уплату от какого-то пантикапейского торговца? Но если верить «Присяге», никто из граждан Херсонеса не имел права продавать «хлеб с равнины», кроме как в сам Херсонес!..

— Что ж, по-твоему, хозяин виллы контрабандой занимался?

— А кто его знает! Я думаю, этот Парфений не зря чужую монету в стену замуровал: свою, херсонесскую, пожалел!..

В тот вечер к нам снова приехал Володя Коробов. Теперь он стал частым гостем на «вилле Парфения», как согласно окрес-



тип мы это место. В самом деле, ну что такое «усадебка у бухты Ветреной», как пишется в научном отчете? Здесь жили живые люди, для которых Тарханкут стал новой родиной, которые осваивали этот полуостров край Скифии... и понемногу разрушали его. Теперь Тарханкут приходится восстанавливать заново, исправлять ошибки, сделанные два тысячелетия назад.

Сопровождая Коробова в его поездках, я мог видеть, как все дальше в степь уходят поля пшеницы и кукурузы, для полива которых бурят скважины и поднимают жесткую минеральную воду с глубины 60—100 метров. На этой воде вырастают лесополосы, первые сады, цветут в палисадниках и на улицах розы, так удивившие меня по приезде. Щеглов признался, что и его точно так же поразило обилие роз — в городе, в колхозах, вдоль дорог.

— Может быть, это тоже наследие греков? — пошутил Шилик.

— Может быть, — отозвался Коробов. — Я раньше как-то не интересовался археологией, а теперь, после того что увидел и узнал, буду бороться за виноградники на Тарханкуте! Если у греков получалось, то с нашей техникой это еще проще!

— Значит, розы — наследие греков? — улыбнулся я. Мне удалось кое-что узнать об их появлении на Тарханкуте, не от Коробова, окольными путями. — Давайте я расскажу вам историю, которая, может быть, тоже станет одной из легенд Крыма...

— Давай рассказывай! — уселся Шилик поудобнее. — Люблю слушать!

Коробов посмотрел на меня с удивлением и хотел что-то сказать, но потом сдержался.

— Так вот, — начал я, — жил-был на свете парнишка, который очень любил красоту...

— А когда он жил? — спросил Шилик.

— Не перебивай! Жил — значит, жил. А когда вырос, решил, что самое интересное дело, которое только есть, — это выращивать на земле деревья, злаки, цветы и виноград. Этот паренек стал агрономом. Он окончил сельскохозяйственный институт, и его послали работать в степь. Направо была степь и налево, впереди и сзади — везде одна ровная пустая степь. И в этой жаркой, сухой степи стояли домики. В них жили люди, которые распахивали степь, засаживали ее кукурузой и пшеницей, а чтобы они росли, добывали воду из глубоких колодцев.

Молодой агроном приехал в эту степь зимой, когда дули хо-

лодные ветры, выпадал снег, превращающийся в грязь. И в степи, и в поселке было скучно и неуютно. Но настала весна, степь зазеленела, начался сев, и агроном подумал, что он попал в самое красивое место на земле. Но все это скоро кончилось. Не успела вырасти трава, как ее сожгло солнце. И хотя посевы поднимались и зеленели, в поселке опять стало голо и пустынно.

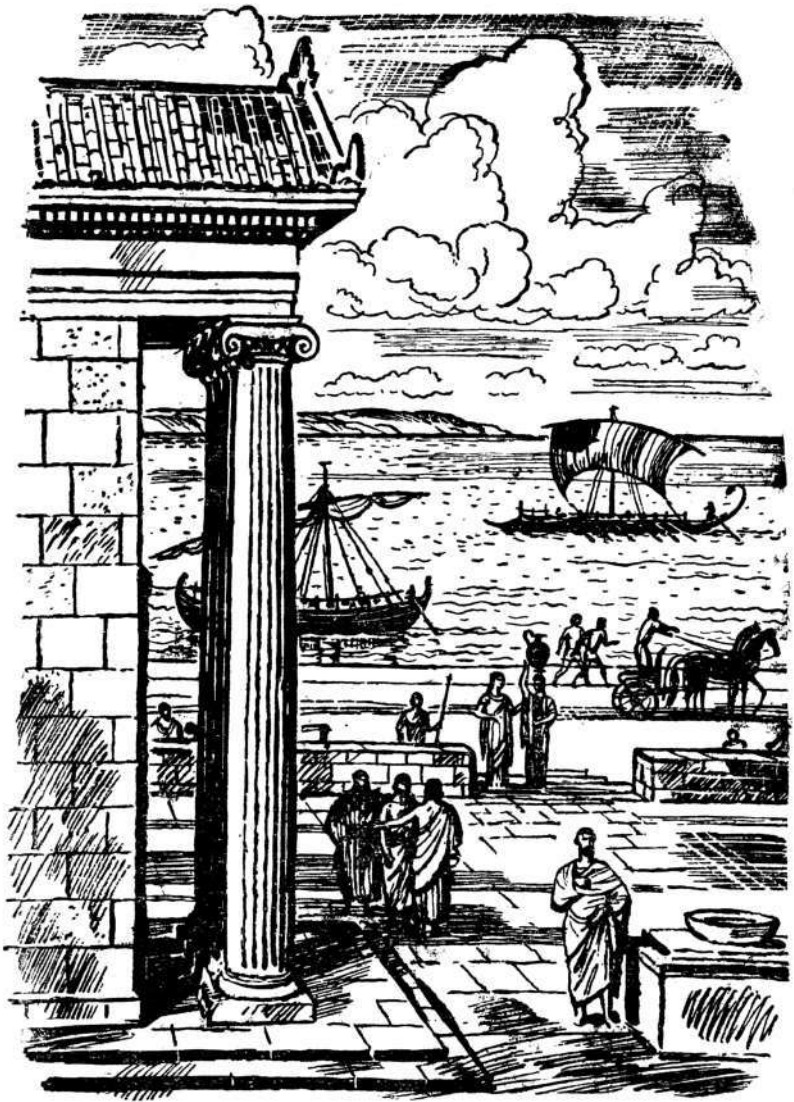
Тогда молодой агроном подумал: весной здесь красиво, но как же живут эти люди остальное время без красоты? Без цветов, деревьев, птиц? Он очень любил розы. И однажды, отправившись в командировку, в Москву, привез с собой много саженцев самой красивой розы, которая называлась «Глория деи». Эти ростки он посадил на центральной площади поселка. И когда розовые кусты зацвели, то все увидели, как это красиво... А что было дальше, Володя?

— Что дальше? Просто все люди хотят жить красиво, вот и все! Одни сажают георгины, другие розы...

— Так вот кто виновник! — рассмеялся Щеглов. — Но ведь от твоих кустов весь Тарханкут розами покрылся! А мне говорил: греки, наверное!..

Володя даже покраснел сквозь свой оливковый загар. Но так оно все и было. По секрету от Коробова обо всем этом мне рассказал его заместитель, такой же молодой паренек, как и сам Володя. А меня эта история тронула не меньше, чем открытия Щеглова. Да и было между ними много общего. Если один, занимаясь, казалось бы, «чистой» историей, находил в слоях времени зерна и корни древнего плодородия Тарханкута, то второй как бы шел за ним следом, своими руками восстанавливая утраченный в веках яркий наряд земли...





Глава четвертая

ГОРОД ЖИВЫХ ЛЮДЕЙ

1



е раз и не два убеждался я в правоте старой половицы: «Тише едешь — дальше будешь». Бывает, нетерпимо хочется попасть в какое-либо место, а все никак не выходит: то надо срочно написать статью, то экспедиция, то возникают неотложные заботы, то слишком поздно, то слишком рано... И когда, наконец, желание исполняется, оказывается, что приехал ты «в самое время».

Приблизительно так получилось у меня с Ольвией.

В то «тарханкутское» лето, возвращаясь от Щеглова, я побывал у Карасева. Меня интересовал не только найденный здесь рельеф с Гераклом. Холм вблизи Евпатории, получивший свое название — «Чайка» — от дома отдыха МХАТа, расположенного рядом, приобрел неожиданную известность. Сначала здесь нашли великолепную бронзовую статуэтку амазонки, затем — этот рельеф. Но для археологов «Чайка» была интересна другим. Под большим песчаным холмом, поросшим кустами серебристого лова, скрывались остатки огромного здания. Александр Николаевич Карасев, начальник Чайкинской экспедиции, считал, что это остатки эмпория — крепости-фактории, входившей в систему укреплений херсонеситов на побережье северо-западного Крыма. Возможно, первого эмпория, построенного на этой земле.

— Вы только посмотрите, посмотрите, какая великолепная кладка! — В восклицаниях Карасева, сопровождавшего меня по раскопам, чувствовалось почти физическое наслаждение от этих башен и стен. — Классика! Лучше, чем в самом Херсонесе, построено! Блоки, огромные, отесанные со всех сторон, подогнаны друг к другу... И по линеечке, как по струне, положены! Ни на сантиметр отклонения нет! Ах, какие они были строители!..

Высокий, сутулый, в выгоревшей кепке с огромным козырьком, который не мог прикрыть его большой облупившийся нос, в пиджачке и полотняных брюках, с палочкой, этот пожилой человек мог часами ходить, показывать и восхищаться строительным искусством греков. Влюбленный в античность, Карасев

сам был архитектором и не только знал, но как бы чувствовал замыслы своих древних коллег. В этой исключительной интуиции ему не было равных. По мнению Щеглова, Карасев «видел» любое античное здание под землей лучше, чем вся аппаратура Шилика...

Карасев считал, что, изучая даже одну только «Чайку», можно проследить последовательность освоения здешних земель херсонеситами и всю последующую историю края после походов Диофанта.

— Вот пожалуйста, — останавливался он над очередным раскопом. — Подвальные помещения. А что такое подвал? Это грандиозный элеватор! Херсонеситы хранили в этих подвалах огромные запасы зерна, собранного с равнины. Годами могли хранить зерно и ждать, когда поднимутся на него цены. Элеватор, крепость — дворец настоящий! А что потом с ним стало!..

Карасев в непритворном огорчении махнул рукой.

— Что потом, Александр Николаевич?

— «Что, что»... Скифы пришли! Вот безалаберный народ! В такое чудесное здание — и скот загонять! Ведь все эти помещения служили у них вместо скотного двора или стойл.

— А сами они где жили?

— В стенах. У них стены «жилые» были. Вот, извольте видеть: стена, скифская. Из камней сложена. Ни подтеки, ни трещины — эвон какая кривоуля. Две стенки из камня, а между ними мешками с песком заложено... На нас похоже, русская смекалка: быстро, быстро, раз-раз — и укрепление готово. А за стеной — комнатухи. Вот здесь под порогом строительную жертву нашли: лепной скифский горшочек, а в нем от барашка косточки. И горшочек негодный уже, и косточки обглодали. Такие строительные жертвы в Неаполе Скифском часто находят. Барашек, козленок, иногда заяц...

— Так чем же вам такие смекалистые скифы не нравятся? — поддепил я Карасева.

— Баламуты! Ничего серьезного! Помните хотя бы, как Дарий их преследовал. Он — за ними, они — в степь. Наконец персы взмолились: давайте сражаться! Ну, выстроились друг против друга. Только персы хотели начать — вдруг у скифов переполах, пыль столбом, повернулись и ускакали... Что такое? А заяц перед войском пробежал! Вот скифы и забыли о персах — за зайцем погнались, видите ли! Плкнули персы с досады и ушли — разве с такими воевать можно?!

За тот день, что я провел на «Чайке», я окончательно успел плениться Карасевым. Для него не существовало различия между настоящим и тем прошлым, которое он раскапывал. С уверенностью, которая неискушенному человеку могла показаться фантастичной, Карасев рассказывал об остатках стен и зданий так, что древние камни обретали жизнь. Среди них двигались люди — строители, рабы, бегали мальчишки, слышалось мычание волов и блеяние коз. И вот тогда я узнал, что «Чайка» — только один из эпизодов в многолетней и увлеченной работе Карасева, а главное — это Ольвия, которую он начал копать еще в двадцатых годах вместе с крупнейшим археологом античности, Борисом Владимировичем Фармаковским.

Тогда же и пригласил меня Карасев на раскопки Ольвии. Это приглашение он повторял ежегодно — в письмах, при встречах в Ленинграде, «заманивая» новыми открытиями и загадками, которые задавал археологам удивительный древний город. Но с нашего первого свидания прошло почти пять лет, прежде чем я очутился в Николаеве и взял билет на Парутинский автобус.

2

В сентябре, когда с севера, из степей, начинают дуть упругие ветры, приносящие запахи трав и перезрелого хлеба, по улицам Парутина завиваются пылевые смерчи. Пыль въедается в кожу, скрипит на зубах, просачивается сквозь плотно закрытые окна, и от нее сереют ослепительно белые стены парутинских домиков. Осенью здесь выжжено и высушено все — степь, поля, маленькие сады и даже небо над лиманом, огромным, сливающимся на горизонте с морем, где только в ясный холодный день можно заметить тонкую полосу песчаной косы-пересыпи...

— Скажите, как мне найти экспедицию? — обратился я к проходившей женщине, когда с рюкзаком вылез из автобуса.

— Экспедицию? Та идите прямо на Ольвию! Зараз у калиточку выйдите. Там и шукайте их... А може, вам к Карасям трэба? Так у последней хаты сверните — тамо они живут, Караси!..

«Караси» — надо было понимать: Александр Николаевич Карасев и Елена Ивановна Леви, его жена и непременный спутник и помощник в раскопках. Невысокая, седая, всегда улыбаю-

щаяся, Елена Ивановна была фактическим начальником Ольвийской экспедиции, но знали это только немногие археологи. Для всех остальных главным начальником являлся Карасев. Причина заключалась в том, что Леви была кандидатом исторических наук, а Карасев — всего-навсего научным сотрудником. И хотя по своим знаниям и опыту Карасев давно мог бы защитить не одну кандидатскую диссертацию, а, по крайней мере, две докторских, сам он предпочитал быть просто научным сотрудником. В последнем проявлялись у него те самые «скифские» качества, о которых он столь образно говорил мне на «Чайке».

— Приехал! Собрался наконец! А то ведь вот какой занятый народ пошел теперь: недосуг все! — добродушно ворчал Александр Николаевич, встречая меня на пороге дома. — Мы уж третий день с Елевой Ивановной поглядываем: придет или опять обманет? Ненадежный народ эти первобытники!

— Ну, зачем же так сразу, Александр Николаевич? — упрекнула его Елена Ивановна. — Приехал человек — дай отдохнуть с дороги. А у нас здесь клад нашли!

— Да ну?

— Да, двенадцать ассов ольвийских! И в прекрасной сохранности...

— Ну ладно, ассы там... Водопровод появился! Вот это, батенька, интересно!

Карасевы ничуть не изменились со времени нашего первого знакомства — такие же увлеченные открытиями, такие же радужные. Только сам Александр Николаевич выглядел неважно. Весной ему пришлось перенести тяжелую операцию, и думали, что на этот раз он в Ольвию не поедет.

— Ну да, не поеду! Старый конь еще везет! — бодрясь, восклицал он в ответ на мое беспокойство о его здоровье. — А все, батенька, стареем... Вот без клюки своей уже ходить не могу да и на солнце долго не выдерживаю. Пойдемте-ка...

— Неужели ты, Александр Николаевич, его сразу на раскоп вести хочешь? — переполошилась Елена Ивановна.

— Да что ты, Елена Иванна?! На квартиру сведу. Мы вам к приезду квартиру сняли...

— А может быть, вместе с экспедицией? — осторожно осведомился я.

— Студенты у нас тоже в разных местах живут. Палаток не хватает... Да и вам удобнее будет!

Квартиру Карасевы нашли мне замечательную. Домик хо-

заяв стоял в зелени сада почти на самом обрыве над лиманом. Выйдя из дома под низкие яблони, можно было видеть весь огромный лиман, красно-желтые обрывы на его противоположной стороне, разбросанные по степному берегу села, а ночью — широкую и длинную дорогу, колышущуюся на зыби. По этой улочке, состоявшей всего из нескольких домиков с самыми густыми и зелеными садами во всем Парутине, можно было пройти на Ольвию.

Городище начиналось сразу же за селом и соединялось с ним широкой перемычкой. С запада к ней подходил отрог Заячьей Балки, ограждавший город со степной стороны вместо рва, а с востока — глубокий овраг, выходящий к лиману. На месте древних городских ворот, раскопанных в начале нашего века Фармаковским, находились невысокие железные воротца и маленькая калиточка. Со стороны Парутина и Заячьей Балки Ольвию окружал забор из металлической сетки.

Вероятно, мне следовало зайти за Карасевым, прежде чем отправиться на Ольвию. Но я видел, как он тяжело шел, поминутно останавливаясь и припадая на палку, пока вел меня к дому. Впереди было много дней, а сейчас мне хотелось в одиночестве, один на один, увидеть знаменитый город, без упоминания которого не обходится ни одна более или менее крупная статья, посвященная древней истории Причерноморья.

«Ольвия» в переводе с греческого означает «счастливая», «Счастливый город». Так его называли основатели, выходцы из малоазиатского города Милета, равно известного в древнем мире своими купцами-мореходами и своими философами. За страсть к путешествиям греки называли милетян «вечными мореходами». Подняв косые паруса на своих кораблях или сядя за весла, когда ветер падал или оказывался противным, «вечные мореходы» плыли вдоль неизвестных берегов на восток, на запад и на север, открывали удобные гавани, выходили на берег и начинали торг с туземцами. И все тщательно записывали: морские течения, направления ветров, берега, гавани, поселки варваров, источники пресной воды, устья рек, обычаи туземцев и те товары, которые можно было получить у них в обмен.

Так создавались периплы — древнейшие лоции, руководства для купцов и путешественников. По этим периплам, державшимся в строжайшем секрете, зачастую отправлялись большие экспедиции, которые основывали новые города-колонии. Насколько это было распространено, можно судить по тому, что только один Милет, по свидетельству древних писателей, стал родона-



чальником восьмидесяти городов! И наше Черное море, которое греки сначала называли Авксинским, «негостеприимным», именно милетяне превратили своими поездками и поселениями в Эвксинское «гостеприимное»...

Здесь, на степных северных берегах, находилась Скифия — край «варваров», степных кочевников, собиравших дань с местных земледельческих племен. Торговля со скифами всегда была выгодна грекам. Они получали от скифов пшеницу, которой так не хватало в Элладе, скот, рабов, мед, воск, лес,

меха, шерсть, рыбу. В свою очередь, греки везли скифам вино, оливковое масло, драгоценные изделия своих ювелирных мастеров.

Ольвия стала крупнейшим греческим центром в Скифии.

Но когда она возникла? Как? Если Херсонес сразу же появился как город, можно думать, что Ольвия выросла из такой же торговой фактории, эмпория, каким была «Чайка». Причем самый первый эмпорий находился не на месте теперешнего Парутина, а возле Очакова, на острове Березань. Этот маленький островок неподалеку от устья лимана, больше известный тем, что на нем был расстрелян 6 марта 1906 года вместе со своими товарищами знаменитый лейтенант П. П. Шмидт, возглавлявший восстание на крейсере «Очаков», в VII веке до нашей эры был главным пунктом греко-скифской торговли. Его название сохранилось с глубокой древности. Березань — искаженное «Борисфен» как называли греки Южный Буг, впадавший неподалеку от Березани в Черное море. И только потом, когда упрочились связи милетян со скифами, на высоком мысу, отдаленном от степи Заячьей Балкой, а с другой стороны водами лимана, появилась Ольвия.

Любопытно, что «отец истории» Геродот, оставивший нам самое подробное описание Скифии и населявших ее племен, называл Ольвию «торжищем борисфенитов». Борисфенитами, то есть «живущими по берегам Борисфена», Южного Буга, он называл всех греков. Это двойное название — борисфениты (как называли ольвиополитов греки) и ольвиополиты (как называли

сами себя жители Ольвии) — сохранялось долго. Загадка заключается в том, что Геродот, писавший свои «Истории» в середине V века до нашей эры, употребил какой-то старинный термин «торжище», иначе говоря — эмпорий, тогда как городом Ольвия должна была стать, по меньшей мере, в середине VI века, на добрую сотню лет раньше.

Так что же: торжище или полис, город? По этому поводу между историками и археологами происходили бесконечные споры.

Детальное знание Геродотом географии скифов, их легенд, обычаев, быта заставляло предполагать, что «отец истории» сам бывал в этих местах. Если раньше в правильности сведений, сообщаемых Геродотом, весьма сомневались, то открытия археологов за последнее десятилетие реабилитировали «отца истории». Устройство скифских курганов полностью соответствовало тому обряду захоронения, о котором сообщал Геродот. По различиям в украшениях, посуде, по особенностям погребений были найдены и выделены племена, жившие именно в тех местах, на которые он указывал. Точными оказались даже расстояния между портами, городами и реками в Скифии. Однако всюду, говоря об Ольвии, он называет ее «городом борисфенитов».

Значит, и первая ошибка не случайна? Как она произошла?

Одним из возможных ответов будет следующий: Геродот никогда не был ни в Ольвии, ни в Скифии. Талантливый историк, ставший примером для последующих поколений историков, Геродот не путешествовал, а очень умело использовал все старинные, ранее составленные периплы и труды предше-



ствеяников. Подобно Жюлю Верну, давшему в своих книгах детальное описание множества уголков земного шара, куда попадали его герои, но где сам он никогда не бывал, Геродот вряд ли видел воды Понта Эвксинского. Отсюда — устаревшие к его времени сведения об эмпории на Березани, от которого он не всегда отделяет Ольвию. Правда, в другом месте он уже пишет о «городе борисфенитов», окруженном высокими стенами с башнями, городе с рыночной площадью — агорой, с храмами, прекрасными дворцами и благоустроенными улицами.

Такое мнение подтверждается другим рассказом Геродота — о войне персидского царя Дария со скифами. По Геродоту, Дарий, переправившись с войском через пролив из Малой Азии в Европу, вместо того чтобы всей силой обрушиться на Аттику, поворачивает в противоположную сторону и переходит за Дунай. Геродот заставляет персов долго и бесплодно гоняться за скифами, умирая от жажды в безводной пустыне с засыпанными колодцами. Именно этот рассказ породил легенду о высоком военном мастерстве скифов и применяемой ими тактике «выжженной земли». Однако географ тщетно будет искать в Причерноморье «безводные степи с колодцами», а историк — переход персов через Дунай. Поход персов на скифов был, но не там и не тогда, как рассказал Геродот. Эти события происходили задолго до царствования Дария, и не в причерноморских, а в закаспийских степях... Составляя свою историю, Геродот использовал два круга источников: «восточный», связанный с Малой Азией, Милетом и персами, и «северный», причерноморский, но в целях единства композиции искусно объединил разновременные и далеко отстоящие друг от друга события одним местом действия.

Однако существует другое решение первой загадки. Очень может быть, что в V веке до нашей эры, когда писал Геродот, «торжище», являвшее собой нечто вроде Архангельского торга на Двине, из которого потом развился город Архангельск, по-прежнему находилось на Березани, а не рядом с Ольвией. И тогда это различие — лишнее свидетельство тщательной работы Геродота.

Кстати, очередная случайность позволила археологам убедиться, насколько точны могут быть сведения, сообщаемые этим блестящим историком.

Рассказывая об образе жизни скифов, о том, как избегают они заимствовать обычаи других народов, Геродот привел историю некоего Скила.

Скил был одним из сыновей скифского царя Арвапейта. Но мать его была не скифянка, а эллинка. Она научила своего сына греческому языку и грамоте. Когда, после смерти отца, Скил наследовал царскую власть, он, любивший эллинскую культуру и эллинский образ жизни больше, чем скифский, стал посещать Ольвию. Входя в город, он оставлял всю свою свиту за стенами, приказывал закрывать городские ворота, чтобы никто не мог войти или выйти, а сам, переодевшись в греческую тогу, разгуливал по площадям, беседовал с купцами и горожанами и даже приносил жертвы в греческих храмах. Последнее особенно возмутило скифов, когда они узнали о поведении своего царя от одного из греков. Больше того, этот ольвиополит провел некоторых из самых знатных скифов тайком на городскую башню и показал им, как Скил участвует в религиозных процессиях ольвиополитов.

Против Скила восстали все скифы. Царем был избран его брат Октамасад. Скил вынужден был бежать во Фракию, надеясь спастись у тамошнего царя Ситалка, одного из своих родственников. Но Ситалк выдал Скила Октамасаду в обмен на своего брата, который точно так же бежал к Октамасаду, как Скил — к Ситалку...

История эта, достаточно живо рисуемая нравы равно греков и скифов, долгое время считалась одной из «побасенок» Геродота. Однако у нее появилось неожиданное продолжение. Рассказывая о Скиле, Геродот писал, что тот построил себе в Ольвии богатый дом, «вокруг которого стояли беломраморные сфинксы и гриффы». В этом доме — или дворце — Скил жил по месяцу и больше. Незадолго до гибели Скила в его дворец ударила молния. Естественно, никто из археологов и не думал искать его остатки, но когда при раскопках обнаружили обломки мраморных гриффов, поневоле пришлось вспомнить Геродота. Конечно, подобные скульптуры не обязательно должны были стоять только у дома Скила. Но примерно в то же время на территории древней Фракии, куда бежал Скил, нашли золотой перстень. На его щитке изображение скифской богини и... имя Скила, вырезанное греческими буквами.

Кстати, и Ситалк, выдавший Скила брату, оказался отнюдь не мифической личностью. Союзник афинян с начала Пелопонесской войны, он погиб в 424 году до нашей эры в битве с трибаллами...

Вероятно, каждый, кто знал об Ольвии из книг и по рассказам знакомых археологов, оказавшись здесь, вначале испытает

чувство разочарования. Да, на первый взгляд Херсонес куда как величественнее и импозантнее! Высокие стены с башнями и воротами, ступени древних лестниц, обрывающиеся в лазурное море, а главное, что действует на воображение, — мраморные колонны, создающие иллюзию стоявших здесь некогда храмов. Иллюзию, потому что херсонесские колонны — не греческие, а гораздо более поздние, средневековые, византийские...

Мне казалось, что, толкнув скрипучую железную калитку и сделав первый шаг, я словно переступлю из одного мира в другой. Из нашего — в тот, далекий, населенный героями Эврипида и Аристофана, плутоватыми, пахнущими оливками и луком, смуглыми людьми, одинаково способными открывать новые земли, петь гимны Дионису, сражаться с любым неприятелем и разыскивать в долгих беседах зерно истины... Как я ошибся!

За оградой лежала такая же, чуть всхолмленная, степь, может быть только более вытопанная, серовато-желтая, изрытая норами сусликов. Там и здесь видны были их смешные фигурки, готовые юркнуть вниз при приближении человека. Слева, среди нескольких деревцев, поднималась невысокая желтая башня старого Парутинского маяка, в котором размещился маленький музей Ольвии. А дальше, прямо за холмиками, куда уходила тропка, начинались глубокие прямоугольные раскопов.

Ольвию копало множество людей. В конце XVII века и позже, когда турки, владевшие Югом России, укрепляли Очаков, камень и известку для крепости добывали здесь, над землей еще возвышались греческие и римские стены. Камень — из стен; известку выжигали из мраморных плит и обломков статуй. Эти ямы и сейчас видны на изрытом теле древнего города. Затем, после Ясского мира, заключенного в 1791 году, когда все южные стены отошли к России и их начали заселять крестьянами, рядом с Ольвийским городищем возникло Парутино.

То, что на этом месте находился древнегреческий город Ольвия, установил в 1794 году академик Петр-Симон Паллас, а в 1799 году подтвердил Павел Сумароков. Несмотря на разрушения, причиненные Ольвии турками, эти первые описатели и исследователи Юга России еще застали на Ольвии остатки городских стен и отдельных зданий. Но к середине прошлого века, когда граф А. С. Уваров произвел первые раскопки, стен уже не было: жители Парутина довершили то, что не успели сделать

турки. И сейчас при перестройке домов в Парутине открывают то части колонн, то плиту с рельефом или надписью. После Уварова большие земляные работы произвели И. Е. Забелин и В. Г. Тизенгаузен. Они копали траншеями, и наиболее важным для них было собрать как можно больше предметов древности, надписей и произведений искусства. Настоящая новая жизнь для Ольвии началась только в первых годах нашего века, когда владельцы Парутина и Ольвии — Мусины-Пушкины передали



территорию городища и окружавшего его некрополя в дар Императорской археологической комиссии.

Добился этого выдающийся археолог и исследователь античности Борис Владимирович Фармаковский.

О Фармаковском мне много рассказывал Карасев. Он был его учеником и своими исследованиями на Ольвии продолжал то, что начал здесь этот замечательный ученый.

Приступая к изучению Ольвии, Фармаковский ставил перед своими экспедициями определенные задачи. В первую очередь он считал необходимым установить границы древнего города и его некрополя, изучить оборонительные сооружения, определить основные группы вещественных находок, способные рассказать о жизни ольвиополитов, их торговых связях, сельском хозяйстве и ремеслах. К тому времени археологи успели собрать множест-

во надписей, выбитых на мраморных плитах и заключающих в себе списки жителей, постановления и декреты. В надписях упоминался театр — где он? С какими городами торговала Ольвия? Это могли раскрыть монеты, иногородние вещи. Следовало отыскать мастерские и храмы, о которых упоминали надписи, а изучая обряд погребения, выяснить, кто еще, кроме греков, жил в этом городе.

За четырнадцать лет, до первой мировой войны, Фармаковский успел сделать много. Он открыл два замечательных каменных склепа, нашел крепостную стену V века до нашей эры над Заячьей Балкой, обнаружил ольвийскую цитадель и казармы римского гарнизона, городские ворота и крепостную стену, обращенную к современному Парутину; наконец, он нашел «нижний город», расположенный не на верху холма, а внизу, у берега лимана. С тех пор раскопки в Ольвии ведутся каждый год.

Да, все это я видел, проходя по Ольвии! Тропинка привела меня от калитки к неожиданно вылезшему из земли участку булыжной мостовой. Крупные булыжники, чуть стертые сверху, блестя на солнце, а между ними пробивались редкие травинки. Потом мостовая обрывалась, а из-под нее выходила дорога, мощенная битыми черепками. Булыжную мостовую построили римляне. Они любили широкие прочные дороги, по которым легко могли катиться повозки и шагать закованные в медь легионы. Черепичная вымостка — греческая. Здесь проходила когда-то главная улица Ольвии: от центральных городских ворот мимо жилых кварталов, высовывавшихся сейчас остатками стен из глубоких прямоугельников раскопов, к агоре — центральной площади города.

Вдоль улицы кое-где виднелись остатки каменных водосточков.

Я затрудняюсь описать ощущение, возникающее, когда вот так, в одиночестве, бродишь по руинам мертвого города. Касаешься нагретых солнцем камней, очищенных от земли, рассеявшихся и растрескавшихся; заглядываешь в черные отверстия глухих, глубоких цистерн и колодцев, на каменных краях которых сохранились ложбинки, протертые веревками; по рисунку кладки, по камням — то отесанным ровным квадратом, то равным, лишь с каемкой «руста», то совсем бесформенным, положенным на розовой цемянке, пытаешься среди переплетения стен отделать здание от здания, одну эпоху от другой. Внутренние дворики выложены плитами, как и теперь это делают в

кожных городах. Тянутся водосливы, лежат разбитые постаменты статуй, а в стенках раскопов мелькают красные, желтые, глянцево-черные черепки, сверкают радужные от времени кусочки римского стекла... Все это тревожит и настораживает, заставляет зорче вглядываться в окружающее, искать за вещами жизнь, но снова и снова наталкиваешься на черепки, лежащие в кучах у старых раскопов, на камни стен. И кажется, что прошлое, незримо присутствующее где-то рядом, отделено от тебя упругой непроницаемой пленкой. Даже знаменитый ольвийский алтарь, раскопанный Карасевым на священном участке, — целый, сложенный из серых плит, на котором ольвиополиты приносили самые важные жертвы богам, — и он не тронул мое воображение. Встреча не состоялась!

Спускаясь в широкую, давно заросшую траншею, оставшуюся от раскопок то ли Забелина, то ли Уварова, я спугнул рыжеватого длинноногого зайца...

— Что, разочарованы Ольвией? — спросила Елена Ивановна, когда я пришел к Карасевым. — Неужели не понравилась?

Мне оставалось только смущенно пожать плечами.

— Экие они пошли теперь, археологи! — с досадой и укоризной произнес Карасев, расстроенный моим состоянием. — Да где же глаза у вас?! Ну погодите, возьмусь я за ваше образование! С завтрашнего дня лопату в руки — и марш на раскоп! Нечего прохлаждаться!..

3

Можно не верить, можно смеяться над таким утверждением, но я убежден, что археолог в роли зрителя на раскопках — зрелище глубоко трагичное. Совсем иначе чувствуешь себя и воспринимаешь окружающее, когда в руке нож, совок или хотя бы плавшет с планом. Тогда все встает на свои места.

Серая земля пахнет сырой штукатуркой. Под ножом она распадается на комочки, отделяется целыми кусками, обнажая золотисто-желтый лесс. В «наказание» за мою непонятливость Карасев посадил меня в яму. И работа эта более квалифицированная, чем махать лопатой, перебрасывая тонны пустой земли, и все-таки по специальности: здесь нужен и глаз, и внимание, и опыт.

В раскопках города, существовавшего не одну сотню лет, есть свои сложности. Если на стоянках или на однослойных памят-

никах раскопки ведутся по «горизонтам», то здесь это невозможно. Вся толща культурного слоя, накопившаяся за века и тысячелетия, перепутана разновременными постройками. Фундаменты зданий римского времени прорезают остатки строений эллинистической эпохи; над прежними домами оказывается городская площадь, а сама она нарушена ямами еще более поздних эпох. При римлянах, когда территория Ольвии сократилась чуть ли не в пять раз, на месте центральных кварталов возникло городское зернохранилище, состоявшее из глубоких ям — узких сверху и расширяющихся книзу. Они выкопаны в самом культурном слое и редко доходят до материка — вот этого плотного лесса.

Так и идут раскопки. Сначала стараются извлечь содержимое всех поздних ям, затем ведут раскопки слоями и следят, когда появятся ямы еще более древние. Их снова вычищают, и все повторяется сначала. Польза такой методики очевидна: предметы более поздние не смешиваются с более ранними вещами. В руках археолога оказываются «чистые» комплексы...

Яма, которую пришлось чистить мне, была наиболее древней. Ее завалили мусором в IV веке до нашей эры, потому что в этом месте прошел фундамент большого общественного здания, которое сейчас раскапывал Карасев. В отличие от других мест, на Ольвии греческие строители закладывали не каменные, а особые «слоевые» фундаменты, или субструкции.

— Эти греки, батенька, такие хитрецы были... не сказать! — жмуря глаза и хитро улыбаясь, говорил Карасев. — Ведь ничего по-пустому не делали! Вот взгляните, как стены клали. Камень подтесан ровно настолько, насколько надо. А внутри, где не видно, и не тесали. И с субструкциями то же самое. Экономы! Вместо камня — слов. Сначала тот же лесс, только водой смочен и утрамбован, потом зола — опять водой смочили и утрамбовали... Вот и получается фундамент, полосатый, как зебра. А в результате какое уютное здание на нем возвести можно — не покачнется, не упадет!..

Такой полосатый фундамент делил мою яму надвое. Его следовало расчистить, чтобы проследить, на какую глубину он опущен. После этого можно подсчитать высоту стен здания и нагрузку на фундамент, а попутно выяснить форму древней ямы и попытаться определить, для чего она была вырыта.

Больше всего в яме встречалось разбитых амфор. Похоже было, что их сбрасывали сверху почти целыми. Иногда попада-

лись кости животных, черепки чернотелых сосудов — тарелочки, килики, похожие на широкие шахматные фигурки ножки от канфаров... А вот зеленые крупинки. Осторожно! Расчистив вокруг землю, я слегка задеваю ножом зеленую полоску, и на ладони оказывается «дельфинчик» — длинная рыбка с выпуклой головой, клювом и невысоким спинным плавником. Дельфинчики — древнейшие ольвийские монеты. Они встречаются только в Ольвии, притом в невероятном количестве. Похоже, древние ольвиополиты совсем не ценили своих денег. А что можно было на них купить? Связку головастых бычков, что щекочут ноги в мутной воде лимана? Хлебную лепешку? Миску молока?



Древние монеты Ольвии — загадка для нумизматов и историков. В отличие от других древнегреческих городов, Ольвия начала чеканить свои монеты не из дорогих металлов — золота, серебра или сплава, который греки называли электром, — а из меди. И не чеканить, а отливать. Сейчас известно два типа древнейших монет, выпускавшихся Ольвией: дельфинчики, мелкая монета, и ассы — крупные медные диски. На их лицевой стороне изображена голова Медузы Горгоны, а на обратной — орел, стоящий на дельфине. Насколько дельфинчики часто встречаются, настолько же редки ассы. Накануне моего приезда в одном из древних ольвийских подвалов наткнулись на клад ассов: двенадцать штук! Ассы настолько хорошо сохранились, что вряд ли долго находились в обращении.

Да и как они обращались? Можно думать, что эти монеты ценились по количеству меди, которое в них заключалось. В отличие от монет из драгоценных металлов, имевших значение валюты и свободно обращавшихся во всем античном мире, вроде знаменитых кизикинов с головой льва или золотых статеров Александра Македонского и Лисимаха, ольвийские монеты служили деньгами только в самой Ольвии и в ее окрестностях в течение VI, V и начала IV века до нашей эры. Потом, по-видимому, произошла «девальвация» — ольвиополиты перешли на

новую денежную систему, и старые знаки оплаты обесценились. Ассы переплавили, а мелкие дельфинчики постигла какая-то иная участь.

Но традиция сохранилась. В одной из надписей, доставшейся археологам, заключался декрет, предписывающий всем ольвиополитам и приезжающим купцам вести в городе торг только на



местную серебряную и медную монету. Обмен денег происходил «на камне в экклезиастерии», то есть на трибуне народного собрания...

На освещенной солнцем стенке ямы появляется широкая тень неизменной кепки Карасева. Александр Николаевич опирается на палку, смотрит вниз, и я отодвигаюсь, чтобы ему видна была амфора, которую я только что начал расчищать.

— Целая? — спрашивает он немного погоды с сомнением.

— Похоже, что целая! Вот бок очистил, и ручки есть, и на горлышке трещин не видно...

— Хм... — Карасев в замешательстве. — Ну так ножки не будет! Что вы с ней церемонитесь?! Родосская?

В розовой глине неприметно мерцают крапинки желтой слюды. Если глина красновато-коричневая, с такими же золотыми блестками — тогда амфора вышла из мастерских острова Фасоса; если глина желтоватая, а блестки светлые — с острова Косса; из Гираклеи — кирпично-красная, без слюды. А эта? Судя по ручкам и глине, все-таки родосская!

— Правильно. Пятый век до нашей эры... Значит, сама яма может быть еще древнее. Вот если вы везучий, может, так и получится...

Одна из ольвийских загадок. Сейчас все согласны, что Ольвия возникла в конце VII века до нашей эры. Об этом свидетельствуют находки вещей того времени, в первую очередь черепки расписных сосудов. Теперь в западной части города открыто несколько подвалов, оставшихся от зданий VI века. Но это только там. В центре же Ольвии, где находится агора и священный участок, где стояли храмы, никаких следов этого периода не сохранилось. В лучшем случае, остатки зданий V века.

А то, что было здесь раньше? Куда это все исчезло?

...Целая все-таки амфора! И горло, и ручки, и ножка — все без единой щербинки. Я зову Карасева и показываю ему эту красавицу.

— Ну ладно, ладно! Расхвастался... Герой! Пойдемте лучше, посмотрите, что там Елена Ивановна открывает. Водопроед! Мечта, а не водопроед!

— И трубы целы? — спрашиваю я, вытаскивая из ямы амфору.

— Целехоньки! Даже прокладки сохранились...

Прямоугольный котлован раскопа, примыкающий с юга к агоре, — гордость Карасева. Раскопки длились несколько лет. Теперь они подходили к концу. А сколько было споров, волнений, сомнений!

После войны, когда Карасевы возглавили ленинградский отряд Ольвийской экспедиции, во главе которой стоял другой ученик Б. В. Фармаковского — член-корреспондент Академии Наук Украины Лазарь Моисеевич Славин, Александр Николаевич решил, что настало время исследовать центр Ольвии. Если до этого решались какие-то частные задачи, то теперь следовало узнать «лицо» города, где концентрировались все общественные здания, храмы, коллегии выборных магистратов; где можно было надеяться найти творения античных скульпторов, а главное — надписи.

В течение двадцати с лишним лет год за годом велись раскопки. Они начались с восточной части, со склона. Там в разведочных траншеях Карасев обнаружил следы подпорных стенок ольвийского театра. Иметь театр мог позволить себе далеко не каждый город. Здесь, судя по остаткам — не раскопанным, а лишь валяющимся Карасевым, — амфитеатр занимал всю впадину

между «верхним» и «нижним» городом. На его скамьях могли разместиться несколько тысяч человек, а декорациями, «задником», служил порт, скрытый теперь водами лимана, и далекая водная гладь.

Исследуя склоны Ольвии, Карасев нашел над ольвийским театром здание торговых рядов, выходящее на агору с востока. Так была обнаружена одна граница площади. С севера к агоре примыкал теменос — священный участок с храмами, о котором мне придется еще говорить. С запада агору окружали богатые жилые кварталы, раскопанные Л. М. Славным. А что было с юга? Зная планировку древнегреческих городов, Карасев мог предполагать, что напротив теменоса на агору, куда собирались не только для заключения торговых сделок, но и для собраний, для встреч со знакомыми, послушать приезжего иностранца, ратора или философа, должны были выходить не менее важные и богатые здания: вероятнее всего, городской суд, дикастерий.

Рассчитав размеры площади и заложив раскоп, Александр Николаевич «сел» точно на южную границу агоры. И здесь началось нечто непонятное.

Никакого здания на южной стороне агоры не оказалось. Продолжалась площадь, правда гораздо более позднего времени, уже не греческая, а римская, мощенная мелким булыжником. Это восторазивало. Раскапывая другие памятники в центре города, начиная с восточных торговых рядов и кончая теменосом, Карасев установил, что подавляющая часть строений, расположенных вокруг агоры, относится к самому концу IV века до нашей эры. Именно в это время произошла грандиозная перестройка всего города, причем старые здания заменялись более пышными, более обширными и внушительными.

Итак, за агорой начиналась римская площадь, в которой были вырыты зерновые ямы.

А что находилось под ними? *

В течение двух летних сезонов археологи не могли ответить на этот вопрос. Вместо здания, от которого остались хотя бы слоевые фундаменты, на этом месте археологи раскопали большой котлован прямоугольной формы.

Греки, как известно, были расчетливым народом. Старые здания они не разрушали, а разбирали по камушку, чтобы снова пустить в дело. Но фундаменты-то они оставляли! А здесь — ничего...

Загадка разрешилась только к концу второго года раскопок.

По счастливой случайности в самом углу котлована остался один камень — угловой. А под ним — поддерживавшие стены слобые фундаменты. Следовательно, здесь действительно было здание, которое потом разобрали.

Одна загадка была решена, но ее сменила другая: никто из археологов не мог представить в античном городе здание, выстроенное не на поверхности, а наполовину уходящее под землю! В последнем сомневаться не приходилось — остатки пола Карасев обнаружил почти на двухметровой глубине. И это был пол именно здания, а не подвала, потому что на нем сохранились базы от двух рядов колонн, а колонны в подвале быть не могут. Отсюда следовало, что здание это, выходящее своим фасадом на центральную площадь, не могло быть низким, иначе оно нарушало бы архитектурный ансамбль агоры. Оно должно было быть очень важным для города, иначе ему не место в центре, и так далее... На дикастерий это не было похоже. Оставалось только копать и надеяться, что находки помогут решить загадку.

Сначала, словно чтобы вознаградить археолога за волнения и труды, на полу котлована нашли большую мраморную плиту. Она лежала лицевой стороной вниз, и, когда ее подвляли, там оказался великолепный барельеф из семи фигур и надпись: «Бывшие ситонами Феокл, сын Фрасиадама, Деметрий, сын Фокрита, Афней, сын Котона, Навгим, сын Героксена, при секретаре Афенодоре, сына Дематора, посвятили это изображение Герою Внемлющему».

Находка такого прекрасного произведения ольвийского искусства была крайне интересна. Во-первых, изображение коллегии ситонов свидетельствовало об экономических затруднениях в Ольвии. Когда цены на хлеб при неурожае или войнах слишком сильно поднимались, из граждан выбирали ситонов, ведавших закупкой зерна. Для Ольвии это было первым упоминанием о ситонах. Во-вторых, подобные плиты устанавливались только на важных общественных зданиях, и это отчасти подтверждало ожидания Карасева.

Еще важнее оказались другие, менее эффектные находки — черепки от расписных чернофигурных сосудов. По странной случайности все сюжеты этих росписей были, так сказать, на «спортивную» тему: бегущие юноши, кулачные бойцы, педагог, следящий за борцами...

И тогда Карасев выдвинул гипотезу, которая большинству археологов показалась маловероятной. Он предположил,

что здесь находился гимнасий — школа ольвиополитов. А зал с двумя рядами колонн — не что иное, как палестра, «спортзал» древних греков, где молодые ольвиополиты занимались борьбой, прыжками, бегом. Отсюда и черепки со спортивными сюжетами.

Карасеву возражали много и горячо. Начинали с того, что палестры в Греции всегда размещались под открытым небом; что такой гимнасий — первая находка в Причерноморье; что он не должен быть углубленным в землю... Так продолжалось долго.

Все возражения Карасев отвел, согласившись только, что ольвийский гимнасий — пока единственный на нашем юге. Вероятно, в теплое время молодые ольвиополиты занимались спортом и военным делом вообще за пределами городских стен. Но зимой — а зимы в Скифии намного холоднее, чем в Средиземноморье, — занятия можно было проводить только в закрытом помещении. Именно поэтому ольвийские архитекторы и «опустили» здание в землю: чтобы как можно лучше сохранить тепло.

Работа археолога стала очевидной на следующий же год. Продолжая раскопки, Карасев наткнулся на несколько загадочных площадок вдоль восточной стены. Квадратные, выложенные из гладких каменных плит, они лежали слегка наклонно к своему центру, где находилось круглое отверстие. Под этим отверстием, вкопанные в землю, стояли небольшие пифосы, наполненные чистейшим мелким песком. К каждому пифосу веда под полом керамическая водопроводная труба. Рядом, на плитах, виднелись следы от огня.

— Вот это и было самым лучшим доказательством для всех неверующих! — рассказывал мне Карасев. — Думаете, что это? Душевые кабинки? Верно! Атлеты-то после занятий обязательно мылись! Ну что мне вам объяснять... Они же, чертенята этакие, перед борьбой не только маслом натирались, чтобы ухватить друг друга труднее было, еще в пыли катаются! А после занятий свачала стригилем, ножом медным, грязь счищают, потом мыться, вот сюда... Мыла не было — с песочком! По трубам холодная вода идет, а если теплую надо — жаровню ставят, от нее и ожог на плитах... Так-то, батенька! Ну и потом всякое...

— А что еще?

— А вот вам и латрина — уборная школьная! Желоб каменный, отверстия в плитах, выгребная яма внизу... Я специально

наскреб осадок на камнях, в лабораторию свез: уборная! А за ней, вот тут, подсобные помещения, печь... Наверняка у них calorifer в гимнасии был!

В этом году рядом со школьной ольвийской уборной и «котельной» откопали глубокий и узкий резервуар, сложенный из тщательнейшим образом подогнанных плит. Из него поступала вода к «душевым», а сам резервуар, как полагал Карасев, сообщался с городским водопроводом. Сейчас это предположение подтвердилось.

— Елена Ивановна! Покажи Андрею... э-э... Леонидовичу водопровод. Ведь в какой сохранности дошел — мечта!

Вчера в северном торце бассейна открылось отверстие и остатки керамической трубы. Теперь, после того как рабочие расчистили примыкавшую к нему площадку, видны лежащие в специальном канале керамические трубы — целые, без единой трещинки, шесть или семь колен, уходящие в борт раскопа — с соединительными кожухами, обмазкой, ответвлениями...

— А как он связан с общегородской системой, Александр Николаич, как ты думаешь? — спрашивает у Карасева Елена Ивановна.

— Как связан? Может быть, ответвление от тоннеля, что под агорой идет, или собственный у них источник был, колодец какой-нибудь... Искать надо!

— А ты смотри, что мы только что нашли...

Елена Ивановна подает Александру Николаевичу толстый кусок красной керамической плитки.

— Опять какую-нибудь чепуху нашли! — по обычаю ворчит тот и переворачивает плитку. — Ах ты, красавица какая!..

Плитка — обломок облицовки, украшавшей фронтоны гимнасии. Прямо на нас смотрит, высунув язык, круглое и скуластое лицо Медузы, точно такое же, как ольвиополиты отливали на своих медных ассах.

— Очень хороша, очень... Такие, батенька, у нас и раньше были, да этот кусок хорош!

— И можно будет восстановить гимнасий? — спрашивает кто-то из студентов, работающих у Карасева.

— Конечно! У нас из гимнасии много всего подобралось: и карнизчики есть, и колонны, и черепица... Все восстановим! Вот водопровод бы дальше посмотреть...

— Нет, Александр Николаич, в этом году ту стенку ты уж не трогай, не успеем!

— Да знаю я, Елена Ивановна! А хочется! — плаксиво сморщивается Карасев и сам над собой смеется. — Мне все сразу подай, а что ты мне кусочки суешь?

Конечно, хочется! Особенно, если учесть, что ольвийский водопровод Карасевы изучают уже много лет, а довольствоваться приходится «кусочками». Чтобы проследить всю сложную общегородскую систему, надо раскопать весь город. Сделано и так много: найдены цистерны для воды, водостоки, по которым в хранилища поступала дождевая вода с крыш; найдена и чуть ли не на тридцать метров прослежена подземная галерея, по которой уходили сточные воды. Наконец, на восточной стороне «верхнего» города, возле теменоса и восточных торговых рядов, Карасев раскопал прекрасную цистерну — глубокую, прямоугольную, сложенную из огромных блоков известняка. Рядом с ней сохранилась небольшая будочка. В этой будочке находился сифон, открыв который можно было пустить воду из цистерны вниз, в театр. Вода в театре была нужна зрителям, а еще больше — сложным театральным машинам, при помощи которых происходила смена декораций, поднимались и опускались актеры, изображавшие богов. «Deus ex machina», «бог из машины» — это выражение пришло к нам из древнегреческого театрального мира.

«Будочка» эта была сложена из еще больших квадров известняка, чем обычные дома. Между камнями почти не осталось щелей. Только в одном месте, рядом с давно исчезнувшей деревянной притолокой двери, виднелось будто специально выскобленное углубление — полочка.

Древние смотрители водопровода, совершенно так же, как мой хозяева в Парутине, закрывая дверь, прятали ключ между камней...

Здесь же, возле гимнасического резервуара, водопровода, уборной, особенно хорошо прослеживается судьба самого гимнасия: видно, как его разбирали, как часть каменных блоков успели только свернуть с места, а под ними остались нетронутыми нижние части стен. Но почему стали разбирать гимнасий?

— А вы поглядите внимательнее, — приглашает Карасев. — Не рассчитали что-то строители! Осело здание, трещины пошли... Вон как эта стенка завалилась! И никак не понять, как

они такую промашку допустили. Всегда строили на совесть, а тут...

Он разводит руками.

— Может быть, это геты разрушили? — вносит предположение Люся Копейкина. Она тоже пришла посмотреть водопровод.

Круглолицая, плотная, невозмутимо спокойная, Люся приезжает на Ольвию, чтобы копать «архаические» ольвийские подвалы. Летом она ведет раскопки на Березани, открывая самое древнее поселение эллинов. Березань и потом, после возникновения Ольвии, сохранила свое значение. Насколько можно судить по надписям, начиная с середины II века до нашей эры, на этом острове находилось святилище героя, столь же чтимого греками, как Геракл, — Ахилла. Ахилл — главный герой «Илиады». После всех своих подвигов он погиб под Троей. Но боги даровали ему бессмертие. Согласно преданию, они похитили его с погребального костра и перенесли на Понт Эвксинский, где по просьбе матери Ахилла, Фетиды, Посейдон поднял из воды остров Левку, Белый остров, недалеко от устья Дуная. Теперь он называется Змеиным островом.

На острове Левке находился древний храм Ахилла Понтарха, Ахилла — властителя Черного моря. До тех пор пока остров и храм Ахилла оставались во владении ольвиополитов, Ольвия считалась владычицей Понта Эвксинского. Но в конце III или в начале II века до нашей эры произошли какие-то события, в результате которых Ольвия оказалась не в состоянии контролировать далекий от нее остров. И тогда святилище Ахилла, чрезвычайно чтимого ольвиополитами, было перенесено на Березань и поставлено на прежнее «торжище борисфенитов».

Но сейчас Люся напомнила о более поздних временах. В середине I века до нашей эры Ольвия подверглась ужасающему разгрому со стороны гетов, вторгшихся сюда из западного Причерноморья. После этого удара она уже никогда не смогла оправиться. Вместо большого цветущего города остался только маленький городок с римским гарнизоном...

— Ну что вы — геты! Если бы геты, потом и разбирать бы так не стали... Нет, это видно точно — осел гимнасий! — отмахивается Карасев.

Вот и еще одна загадка: почему просчитались строители?

Карасев сдержал свое слово. Каждый день после обеда он появлялся на городище, и начиналось путешествие по Ольвии. Это стало традицией. На раскопки каждый год приезжали новые студенты, и Карасев знакомил всех не просто с планировкой древнего города, с теми зданиями, что были открыты и определены, но раскрывал историю открытий — с гипотезами, сомнениями, доказательствами, с той «археологической кухней», которая захватывает не меньше, чем хороший детектив.

Нет, Карасев не рисовал перед нами кипучую и яркую жизнь древних ольвиополитов. В этом отношении он был строг и, как сказали бы некоторые, корректен. Но за всеми находками — черепками, монетами, слоевыми фундаментами — пропустил для слушателя именно тот мир, в который так неудачно я пытался проникнуть с первых дней своего появления в Парутине.

Первым «открытием» для меня явился гимнасий. Перед ним находилась площадь агоры, за которой, отделяя ее от священного участка, стояла «Большая стоя» — длинный крытый портик, достаточно обширный, чтобы вместить под своим навесом беседующих с учениками философов и риторов. С востока, над театром, на агору выходили здания, условно названные «торговыми рядами». По-видимому, в них помещались лавки ювелиров, парфюмеров, менял, обменивавших монеты всего древнего мира на общегородские деньги. Рядом с лавками Карасев предполагал склад или «филиал» ольвийского монетного двора: на полу одного из подвалов нашли много бронзовых кружочков для монет, еще соединенных перемычками.

— А ты, Александр Николаевич, расскажи, как мы запах нашли, — подсказала Карасеву Елена Ивановна, всегда присутствующая на этих беседах.

— Это уж тебе, Елена Ивановна, лучше рассказывать! Твой это раскоп, я тогда теменос копал...

— Тут вот что у нас получилось, — начала рассказ Елена Ивановна. — В одном из этих помещений находился маленький храмик. У греков всюду стояли жертвенники, алтари и небольшие храмйки. Тем более, на главной торговой площади...

— Чтобы плутовать удобнее было! — ввернул Карасев.

— Мы решили, что это храмик, потому что в земляном полу

оказались небольшие ямки, — продолжала рассказ Елена Ивановна. — Иногда в них лежали медные монеты, иногда глиняные лепешечки, изображавшие хлебные... По-видимому, здесь находилось святилище Афродиты-Апатур, Афродиты-обманщицы. Ну, а раз она была обманщицей, то и ее можно было тоже обмануть и вместо настоящей лепешечки положить глиняную! В одной ямке лежало несколько турьих рогов — какой-то охотник принес их в дар богине... А рядом — рядом мы нашли запах...

— Ты уж, Елена Ивановна, по порядку рассказывай! — проворчал Карасев. — А то «запах, запах»...

— А ты меня не перебивай! Такой же вот жаркий день был, устали мы все, вдруг Катя, работница наша, которая расчищала одну ямку, и говорит: «Что-то вы сегодня, Елена Ивановна, надушились!» Нет, говорю, Катюша, я никогда не душусь... «А пахнет, — говорит она, — хорошо так!» Я в шутку спрашиваю: кто из вас, девушки, сегодня душился? Никто не признается. А потом Катя принюхалась и говорит: «Да это от земли пахнет!» Представьте себе, действительно от земли, от этой ямки! И такой тонкий-тонкий, чуть сладковатый аромат, как розы пахнут... Тут все сбежались, стали нюхать. А потом запах исчез, испарился. Так вот удалось нам понюхать настоящие античные духи!..

— А почему они здесь были? А как пахли? А можно было бы их собрать? — заволновались слушающие студентки.

Еще бы — древнегреческие духи!

— Наверное, какая-нибудь ольвийская гетера или куртизанка пожертвовала Афродите несколько капель своих благоволий, — ответил Карасев. — Ох эти женщины — всегда кого-нибудь обмануть хотят!

— Это почему же ты так считаешь, Александр Николаевич? — немного обиделась Елена Ивановна.

— А зачем она тогда к Афродите-Апатур пошла? — резонно заметил Карасев. — Знаем мы их! Все шуры-муры, с философами беседуют, а сами только и думают, как бы обобрать своих поклонников! Розовое масло пролила! Оно дороже золота было...

Мне показалось, что эта история произвела на слушателей куда большее впечатление, чем рассказ о раскопках самого здания. Но ведь это так понятно! Исчезли города, целые народы; погибли сотни тысяч произведений древних художников, скульп-



торов, писателей, но легкий аромат розового масла, пролитый неведомой куртизанкой, сохранялся два с половиной тысячелетия в земле, чтобы счастливицы смогли почувствовать запах далекого, почти нереального для нас мира...

Начиная как-то очередное «занятие», Карасев остановил нас возле участка сохранившейся римской мостовой.

— Под этой римской дорогой, как вы знаете, лежит мостовая главной улицы Ольвии, — начал он. — От городских ворот она ведет прямо к агоре. Что находилось на трех сторонах агоры, вам известно: «Большая стоя», за которой был теменос, торговые ряды и гимнасий. А что на четвертой? С правой стороны?

Карасев помолчал, словно ожидая, что услышит ответ. Но хотя многие уже знали, что именно находится в указанном месте, только Костя Марченко внятно и тихо произнес:

— Дикастерий.

— Что ты говоришь? — повернулся к нему Карасев. — Правильно: дикастерий — городской ольвийский суд! Мы думали, что он окажется на месте гимнасия, но потом выяснилось, что это ошибка...

Карасев прошел несколько шагов вперед и остановился перед раскопом.

Если от гимнасия остались основания колонн, «душевные» площадки, резервуар, водопроводная система, довольно хорошо сохранившиеся подсобные помещения, то этот раскоп казался на редкость пустым и скучным. Над землей приподнимались невысокие слоевые фундаменты, сохранившие свою полосатость, но оплывшие от дождей и снега за те несколько лет, что про-

шли после их освобождения от земли. Только в задней части, где Люся Копейкина вскрывала подвалы более ранних зданий, оказавшиеся под дикастерием, в глубоких котлованах можно было увидеть ровную кладку архаических стен.

— С чего бы начать? — призадумался Карасев, по привычке поднося пальцы ко рту. — Ага! Как вы могли заметить, — начал он, присаживаясь на подставленный ему табурет, — планировка Ольвии соответствует Гипподамовой системе: прямые улицы пересекаются под прямым углом. Гипподам был афинским архитектором и жил в пятом веке до нашей эры. Можно думать, что после перестройки Афин эта система была принята во всех греческих городах... И в Ольвии тоже! Хотя Ольвию основали милетяне, но в пятом веке Ольвия входила в Афинский морской союз, и, если верить Плутарху, Перикл, отправившийся в эту кую демонстративную поездку со своим флотом на Понт, должен был посетить и Ольвию. Связи с Афинами у Ольвии были прочными и постоянными. Вот там, — он махнул рукой в сторону теменоса, — мы с Еленой Ивановной нашли прелюбопытнейший декрет! Как там написано, Елена Ивановна?

— Это насчет Ксантиппа? — осведомилась Елена Ивановна, которая специально занималась ольвийскими надписями. — «Ольвиюполиты дали Ксантиппу, сыну Аристофонта, эрхиейцу, Филополиду, сыну Филополида, дейрадиоту, — афинянам, им самим и потомкам их проксению: право гражданства, освобождение от пошлин на все товары, какие бы ни ввезли или ни вывезли они сами, или их дети, или братья, у которых отцовское имущество общее, или слуги, и дали право входа в гавань и выхода из гавани и в мирное, и в военное время, без конфискации и без заключения договора». Первый и единственный декрет в честь афинян!

— Да, афинян. И как раз к концу четвертого века до нашей эры относится, — подтвердил Карасев. — Так что Ольвия, видимо, перестраивалась по подобию Афин... А это важно! Описание Ольвии не сохранилось, а описание Афин у нас есть. Дикастерий находился с правой стороны афинской агоры, а у его входа стояли «государственные часы» — водяные часы, клепсидры, — и фонтан с питьевой водой... Сутяги были эти греки! Если верить Аристофану, каждый афинянин треть своей жизни проводил в судах. То на соседа доносы писал, то тягался из-за какой-нибудь ерунды...

— Ты все-таки расскажи, как мы его искали, — осторожно направила Карасева Елена Ивановна.

— А? Вот так и искали! — Карасев сдвинул кепку на затылок. — Тут, видите, вдоль центральной улицы водосток идет каменный и уходит под землю — вот в этот приемник. А там уже подземная галерея с трубами в сторону театра и гимназия... Все хорошо, но почему здесь еще один водосток оказался? Причем не горизонтальный, а вертикальный. Начали мы копать...

Этот водосток, и сейчас сохранившийся на своем месте, привел археологов к огромному слоевому фундаменту. В пять или шесть раз более широкий, чем обычные слоевые субструкции, поддерживающие стены зданий, этот фундамент тянулся вдоль центральной улицы в агору почти на тридцать два метра. Зная по опыту, что мощность и ширина фундамента зависит от той нагрузки, которую он должен выдерживать, Карасев пришел к единственно возможному выводу: здесь находился портик с колоннами, причем фасадная часть здания была не меньше двух этажей!

Но был ли это дикастерий?

По мере того как из года в год продвигались раскопки, выяснялись любопытные подробности. Во-первых, здание оказалось квадратным в плане. Во-вторых, внутри его оказался дворик, тоже квадратный, на который выходили двери из небольших прямоугольных комнат. В-третьих, совершенно неожиданно за портиком была открыта большая и глубокая цистерна для воды, вероятно каким-то образом связанная в древности с водосток на улице.

Попутно удалось установить время постройки и разрушения этого здания, тогда лишь условно названного дикастерием. Фундамент портика, выдвинутого несколько на улицу, прорезал и перекрыл мостовую, относящуюся к середине IV века. Следовательно, на этом месте строительство могло начаться только в конце IV века до нашей эры, что совпадало с датой общей перестройки города. С другой стороны, в остатках, перекрывающих руины, попадались только вещи конца I века до нашей эры. Иначе говоря, разрушение произошло незадолго до гетского разгрома или во время его.

— А теперь пойдете! — предложил Карасев, поднимаясь. — Сейчас мы стоим на месте портика. Здесь было восемь массивных колонн. За ними — вход в вестибюль. В вестибюле с правой стороны фонтанчик с питьевой водой. Почему? А здесь ведь цистерна была! Наверное, эта же вода наполняла и часы. Опять совпадение с Афинами! Дальше — выход в квадратный дворик,

а из него — на три стороны в комнаты. Если раньше скептики могли сомневаться, что мы открываем дикастерий, то теперь и они убедились...

— Почему? Из-за дворика?

— Из-за него тоже! В этом дворике мы нашли остраконы — черепки амфор. На всех на них процарапаны имена — только мужские и только греческие. По нескольку имен на каждой черепке... Зачем, спрашивается? А вот зачем. В этих маленьких комнатках сидели судебные секретари. И на дворике, и внутри комнат мы собрали множество глиняных кружочков. Одни были целые, другие — с дырочкой посередине... Примерно половина на половину! Это — псефы, фишки для голосования в судах. Целый кружочек, опущенный в урну для голосований, — «оправдан», с дырочкой — «виновен»...

— А для чего остраконы с именами? — спросил кто-то из нас.

— Списки судебных заседателей. Имена только греческие и только мужские. Заседателем мог стать у греков лишь полноправный гражданин — вот почему здесь нет варварских имен. А остраконы, эти «визитные карточки», выдавались секретарями перед самым слушанием дела, чтобы никто из таждущихся не знал заранее, кто будет разбирать его иск, и не смог бы подкупить судей. Вон в тех квадратных комнатах и происходило разбирательство. Девять комнат — девять судебных камер...

— И в Афинах нашли тоже самое? — спросил я Карасава.

— С Афинами, батенька, еще интереснее получается! — увлеченный рассказом, воскликнул Александр Николаевич. — Афинский дикастерий раскопал американец Томпсон, вернее, раскопал то, что он условно назвал дикастерием: на правой стороне агоры. Но в Афинах ведь что? Там только фундамент остался — больше ничего! А у нас — все судопроизводство сохранилось! Но совпадения поразительные: тридцать один метр и восемьдесят два сантиметра — это «аттический плетри». Ольвийский дикастерий занимает площадь в один квадратный плетри. И точно такие же размеры имеет афинский. До деталей совпадают! Ольвиополиты даже клепсидры поставили на фронтоне, чтобы не хуже афинян быть! Вот ведь какие они, эти греки... И теперь не нам сверяться по афинскому дикастерию, а афинский распутывать и разбирать по нашему, ольвийскому...

Каждый такой рассказ Карасева — с подробностями, где и кто нашел первый остракон, как прослеживали слюевые фундаменты, кое-где уничтоженные поздними постройками, — незаметно вводил слушателей в ту или иную часть древнего города. И потом, хотя внешне ничего не изменилось, вместо руин, открытых раскопками, я видел те здания, о которых ученый рассказывал столь живо и обстоятельно. Карасев словно подталкивал нашу фантазию, прорывал ту гибкую невидимую пленку отчужденности, которую я чувствовал в первый день. И такая сила, такая внутренняя увлеченность звучали в рассказах старого археолога, что эти беседы превращались — по крайней мере для меня — в действительно открытие древнего мира, который надо было лишь почувствовать в камнях и обломках, чудом сохранившихся в этой земле.

Но самым любимым местом Карасева на Ольвии, его гордостью, вне сомнения, был теменос.

5

Как ни беспощадны люди, время все же сохранило для нас какую-то, видимо совершенно ничтожную, часть библиотеки прошлого. Правда, даже эти остатки мы получаем из десятых рук. Позднейшим спискам, упоминаниям, цитатам, более или менее пространным выдержкам мы обязаны монахам средневековья, которые — иногда из чувства благоговения перед силой и талантом древних авторов, иногда из любопытства, — включали эти отрывки в свои труды, сборники и хрестоматии. Множество ученых последующих веков должны были собирать по крупицам этот «золотой фонд» всемирной культуры, снабжая его переводами, комментариями, поправками многочисленных ошибок. Но каждый историк и археолог, в свою очередь, должен «промыть» все это богатство, чтобы из расшифровки случайных названий, имен, намеков, вскользя брошенных замечаний составить представление об интересующем его предмете.

Собственно, об Ольвии сохранилось ничтожное количество сведений: рассказ Геродота о Скиле, из которого можно все же получить достаточное представление о городе, так называемая «Борисфенитская речь» Диона Хрисостома, посетившего Ольвию в конце I века нашей эры, и несколько других, более мелких упоминаний. Но даже эти сведения, которые могут умес-



титься на двух-трех страницах, — драгоценная канва для археолога, если он умеет ею пользоваться.

Приступая к раскопкам центральной части Ольвии двадцать лет назад, Александр Николаевич Карасев мог только догадываться, что где-то на территории «верхнего» города находятся остатки ольвийского теменоса — священного участка. Теменос можно сравнить с «сердцем» древнегреческого города. Здесь стояли храмы, главные алтари, статуи богов и героев, декреты, благодарственные надписи, выбитые на мраморных плитах. Здесь же хранилась храмовая и городская казна.

Но как выглядел теменос? До раскопок на Ольвии археологи располагали сведениями лишь о единственном подобном комплексе — афинском Акрополе. В остальных древнегреческих городах, переживших за свою историю слишком много потрясений, катастроф и перестроек, от теменосов осталось немного. Путеводной нитью в данном случае могли стать надписи, уже найденные в Ольвии. Из них явствовало, что главными были храмы Аполлон Дельфиния, покровителя купцов и мореходов, Зевса, Афродиты, Афины и Диониса.

Определить местоположение ольвийского теменоса помог рассказ Геродота о Скиле. Процессию в честь Диониса — Вакха, в которой Скил участвовал, тайком проведенные в город скифы увидели с башни. Следовательно, празднество совершалось на достаточно открытом месте, чтобы увидеть его с башни городских ворот.

Такое место, наиболее ровное и почти не затронутое раскопками, находилось в центре города, над театром.

— Все начиналось с догадок, предположений и, скорее, наших фантазий, — посмеивался Александр Николаевич, когда мы переходили с ним от камня к камню по территории теменоса. — В Афинах — скала над городом, цитадель. А в Ольвии — только центр города, так нам казалось... И вот представьте себе, что вместо мощного культурного слоя, со множеством находок, на которые мы рассчитывали, — какие-то зерновые ямы, маленькая винодельня... А вниз — чистейший лес. И ничего больше. Кого угодно такое начало обескуражит!

Хотя было известно, что после гетского разгрома территория древнего города значительно сократилась, а тоненький культурный слой относился как раз к первым векам нашей эры, в недоумение приводил лес. Появление леса в раскопе означало, что археологи достигли материка. Следовательно, центр города был абсолютно пустым?

По чистой случайности раскопки этого «пустыря» решено было начать не с юга, от агоры, а с севера, там, где поверхность Ольвии была нарушена глубоким римским рвом. Этот ров прорезал на несколько метров в глубину слой древнего города, и теперь, зачистив его склон, археологи увидели, что загадочный лес — отнюдь не «материк». Действительно, чистый, без прослоек, находок и даже угольков, он отделял верхний, римский, слой от более нижнего, греческого. Но как он здесь появился? Лес откладывается на юге только во время ледникового периода. Даже если бы жизнь на городище замерла на несколько веков, ничего подобного не могло произойти.

Значит, его принесли сюда, старательно засыпая всю обширную площадь, сами ольвиополиты? Одна загадка рождала другие. Тем более, что при зачистке рва в обресе стенки среди леса появились мощные слоевые фундаменты каких-то зданий.

— Ну, то, что это фундаменты ольвийских храмов, не вызывало сомнений, — рассказывал Карасев. — Кое-где сохранилась каменная облицовка цоколей. Да и план их, и размеры — все соответствовало нашим знаниям о греческих храмах. Чем дальше мы пробивались через этот лес, тем больше находили подтверждений: архитектурные детали вроде обломков колонн, керамические украшения вроде той Горгоны, что при вас нашли в гимнасии. А главное — обломки расписных сосудов с процарапанными посвящениями: Зевсу, Аполлону Дельфинию, Афи-

не... И по особенностям каменной кладки, по вещам все это отнеслось к самому концу четвертого века до нашей эры. Правда, мы не могли еще точно установить, какому именно божеству был посвящен тот или иной храм, но само их сосредоточение в этом месте указывало, что мы действительно нашли теменос.

Опираясь на палку, Карасев провел меня мимо остатков храмов в центр теменоса, к массивному, сложенному из темных известняковых плит алтарю, напоминающему в плане широкий прямоугольный крест.

— Вот... — Он погладил рукой камень. — Сокровище! Живая история ольвийского теменоса! Ну, долго рассказывать, как мы его нашли. Уезжать уже собрались, а тут... И денег не осталось, так рабочие по собственному почину предложили свою помощь. И ведь как работали!..

Он замолчал от нахлынувших воспоминаний.

— Так вот. Плита эта, — Карасев постучал палкой по нижней плите, выдававшаяся из-под алтаря узкой ступенькой, — основание самого древнего ольвийского алтаря. Ее положили сюда, вероятно, еще первые поселенцы. И эта дорожка... — Он указал на неширокую дорожку, идущую от алтаря к храмам. — Теменос возник сразу, как отдельный, отгороженный от города участок. Алтарь, а дальше — древнейший храмик. От него ничего не осталось. Может быть, сначала и храмика не было — только статуи в роще...

— Как же вы могли узнать, что была роща? — недоверчиво спросил я Карасева. — В лессе оказались следы от корней?

— Не-ет, гораздо лучше! Я вам теперь каждое деревцо указать могу! Вот пройдемте по этой дорожке...

Это было настоящее путешествие по древнему теменосу, и только здесь я впервые почувствовал, как оживают камни, засыпанные и чуть видные после раскопок ямы, и такие неприглядные остатки слоев субструкций.

Когда был снят слой лесса и закончены раскопки храмов IV века до нашей эры, археологи оказались стоящими на поверхности более раннего времени. Под лессом, особенно на площадке, окружавшей центральный храм, открылись следы черепичной вымостки, остатки невысокой каменной ограды, старые постаменты статуй, расположенных вдоль нее, и остатки еще более раннего храма. Все это лежало на толстом слое чернозема, «полевки», как называют его здесь местные жители.

Но, по расчетам, слой этот был гораздо толще, чем тот, что находился на современных полях и нетронутых участках степи.

Почему? — естественно возникал у археологов привычный вопрос. Потому ли, что здесь чернозем был лучше, быстрее накапливался? Вряд ли! Скорее всего, его сюда навезли, как лесс, потребовавшийся в более поздний период. А если чернозем привозили, стало быть, здесь что-то хотели посадить. Вероятнее всего, деревья священной рощи, которая обычно окружала древнегреческие храмы.

Но это была только догадка. Подтверждение пришло позднее, когда был снят слой «полевки» и под ним, уже в светлом материковом лессе, обнаружилось множество ям.

Эти ямы и были «ключом» ко всему семеносу.

Одни из них, сравнительно глубокие и обширные, оказались набитыми обломками прекрасных чернофигурных сосудов. Другие — полусферные, неглубокие...

— Ну, как раз такие, чтобы посадить дерево! — восторгался Александр Николаевич. — Точно такие же и теперь садоводы выкапывают. А в одной — вот здесь, возле юго-западного угла позднего храма, — росло не просто священное дерево. Вероятнее всего, это была первая маслина, которую милетяне привезли сюда еще на первом корабле. Остальные деревья пересадили, когда начали перестраиваться, а вот эту оставили на месте и даже заборчиком обнесли. Не верите? Вокруг этой ямы мы нашли восемь маленьких ямок с древесной трухой — ограда самого священного дерева ольвиополитов!.. Так что роща была. И в ней, по всей видимости, стоял или совсем маленький первый храмик, или же статуя...

— Аполлона Дельфиния?

Карасев развел руками.

— Увы, не знаю! Вероятнее всего, Аполлона. Ведь в остальных ямах был не просто черепки, а остатки посвятительных сосудов. Наверное, эти килики употреблялись на храмовых празднествах, потому что на черепках каждого сосуда было написано посвящение именно Аполлону Дельфинию. Сосуды хранились в храме, но они разбивались! А выбрасывать просто так храмовую посуду, тем более с посвятительной надписью, нельзя. Вот и закапывали их в специальные ямы на территории храма...

Так произошло первое «опознание»: центральный храм ольвиополитов был посвящен Аполлону Дельфинию. Ясно, что и

при дальнейших перестройках здесь находился ему же посвященный храм. Другие храмы были опознаны таким же образом. В таких же ямах археологи нашли расписные сосуды с посвящениями Зевсу и Афине. Следовательно, у Зевса и Афины на теменосе был один общий храм...

Здесь, в центре древней Ольвии, за невысокими стенами, над которыми поднималась зелень священной рощи, высокие и, по-видимому, раскрашенные фронтоны храмов, находилось большое храмовое хозяйство. У входа в теменос археологи открыли остатки маленькой гончарной мастерской с запасом песка и глины, с керамическими формами для статуэток, которые могли тут же покупать ольвиополиты, чтобы жертвовать в храмы в благодарность за удачу уже свершившихся предприятий, или призывая благосклонность богов на грядущие дела. Между священной рощей и этой мастерской находилась глубокая цистерна для воды. За храмом Зевса и Афины — обширный водоем. Его выкопали, когда старая цистерна пришла в негодность: археологи обнаружили на ее стенке большую трещину. После сооружения водоема эта цистерна заменила многочисленные ямы для «погребения» пришедших в негодность храмовых сосудов и терракотовых статуэток. Ведь их тоже нельзя выбрасывать на общегородскую свалку! Статуэток в цистерне нашли около трех тысяч — все разбитые или с намеренно отбитыми головами, чтобы никто не мог их использовать второй раз...

— Ну да, нечто вроде периодического «списания» храмового имущества! — посмеивался Карасев пришедшей в голову аналогии.

— Но вы еще не сказали, откуда появился на теменосе слой лесса! — напомнил я Карасеву.

— Разве это не понятно? — удивился он. — Вероятно, вы заметили, что здания, которые мы находим вокруг агоры, относятся к концу четвертого века до нашей эры? Это было время какой-то грандиозной перестройки всего города, его обновления... И теменоса это тоже коснулось! Нам удалось проследить любопытную деталь: если сначала уровень теменоса совпадал с уровнем окружающих улиц, то к концу четвертого века до нашей эры на территории теменоса приходилось уже не входить, а спускаться! Да-да, вырос культурный слой! Сначала пристроили у входа одну ступеньку, потом еще две...

— И таким образом, засыпав все лессом, ольвиополиты решили поднять внутренний уровень теменоса?

— Тут, батенька, дело сложнее! Ведь на теменосе, как по-

нимаєте, все было священным. Храмы разобрали, но остались алтари, жертвенники, вот эти постаменты от разбитых статуй... Что с ними делать? Не нужны, а выбросить нельзя! Вот греки и решили похоронить все это — ведь лесс был чистейшим. Проще-то просто мусором городским завалить, как обычно при строительстве делалось, да нельзя — предметы священные!..

— Но, кроме этих соображений, никаких доказательств нет?

— Почему же? Во-первых, уровень засыпки не превышает уровня центрального алтаря. А я говорил вам, что этот алтарь — кстати, имевший сверху три плиты с чашами для возлияний, по числу трех храмов, перед которыми он стоял, — по крайней мере, раз пять перестраивался и увеличивался. Даже после гетского разгрома, когда город сократился и бывший теменос остался за городскими воротами, здесь еще помнили об этом древнейшем алтаре. Только он уже был не каменный — сверху его деревянный «кожух» закрывал... А во-вторых, мы нашли древние рёперы. Вот тот камень, поставленный на попа, и еще там, за алтарем. Они один уровень отмечают, именно тот, до которого греки засыпали теменос лессом. Тут у них все было продумано...

— А почему, как вы думаете, началась такая перестройка?

— Хитрый вы, батенька, какой! — рассмеялся Карасев, и глаза его озорно сощурились под тенью козырька. — Все вам подай! Хотели и перестроили...

— Ну-ну, Александр Николаевич! — не отставал я. — Так же не бывает! Тем более, такой экономный народ, как вы говорите...

— Ну ладно! — сдался Карасев. — Только ведь это предположение, гипотеза, доказательств прямых у вас до сих пор нет, учтите! Когда Александр Македонский отправился в Индию, начальником над Понтом он оставил некоего Зопириона... Зопирион, полководец Александра, полагал, что он может показаться бездельником своему победоносному властителю, если не предпримет на свой страх и риск какое-либо мероприятие. Поэтому, как сообщают древние авторы, он собрал около тридцати тысяч войска и пошел войной на скифов. Излишнее усердие часто кончается плачевно. Войско Зопириона было полностью разбито, а сам он убит. Где произошло это сражение, как далеко продвинулся в Скифию Зопирион, — ничего не известно. Поход Зопириона должен был окончиться в 331 году до нашей эры.

Возможно, полководец дошел до Днепра, потому что Аммиан Марцеллин упоминает о существовании Александровых алтарей у берегов Борисфена. Но больше всех сообщает об этих событиях римский историк Макробий, который писал, что борисфенты, осаждаемые Зопирионом, отпустили на волю рабов, дали права гражданства иностранцам, изменили долговые обязательства и таким образом могли выдержать осаду врага.

По-видимому, свобода города висела на волоске. Осада велась по всем правилам эллинского военного искусства: тараны били в стены и в ворота, в город летели зажженные стрелы и огромные камни, разрушавшие дома и храмы. Пострадал, конечно, и теменос, — не случайно Карасев обнаружил под слоем лесса столько мраморных осколков и пустые постаменты статуй и декретов. Но Зопирион Ольвию не взял и вынужден был отступить.

В ознаменование победы ольвиополиты, по-видимому, решили не просто заново отстроить город, но и полностью его перестроить, в первую очередь храмы и другие общественные здания, украсив их и расширив. Отсюда и «захороненные» остатки теменоса, постройка гимнасия, дикастерия и «Большой стол»...

6

Обычно развалины античных городов предстают перед современным зрителем в безжалостном свете дня, который обнажает каждую трещину каменной кладки, все непоправимые изъяны и бреши, что нанесло им сокрушительное время. И только голубизна неба, синь моря и жаркое солнце напоминают о полдне жизни, царившем некогда среди этих камней.

В Ольвию я попал осенью, когда не переставая дуют восточные и северные ветры, — рвут одежду, сбивают с ног, и весь воздух наполнен звенящим гудом; когда море бурно, а луна, багровая и тревожная, поднимается в зловещем тумане над уютной, сухой землей; несутся с ветром и забываются к подножию каменных стен колючие кустики перекати-поля... Беспричинный трепет охватывает тебя, чувство одиночества и заброшенности, и тянет к огню, в замкнутый квадрат дома, к человеческому теплу.

Так я стал сопричастен ощущениям древних ольвиополитов,

для которых с концом лета, с северными ветрами начиналась зима, холод и одиночество. Нечего было ждать далеких парусов на горизонте, гостей и купцов из теплого Средиземноморья. Ольвиополиты оставались одни, отсеченные стеной и рвом от пустынных и опасных степей, уходящих на север, к гиперборейцам.

...Низкие, маленькие здания, узкие улочки с белыми глухими стенами, в которые бьется ветер. Мерзнут ноги. Скоро наступит время, когда придется снять легкие сандалии и надеть башмаки скифа, закутаться в плащ, подбитый козьей шкурой, натянуть шапку, прикрывающую уши. Скоро мальчишки вернутся к занятиям в гимнасий, опустеет рыбный рынок и замерзнет вода в большой цистерне... Но свет очага и глиняного светильника озаряет свитки гимнов Гомера, звучат ласкающие слух и колеблющие сердца строфы Сафо и Алкея; снова плутоватые герои Аристофана, как в театре летом, вызывают смех, а посвященные беседуют о правоте Демокрита из Абдеры или о изящной мудрости Платона... Пусть Эллада далеко — очень далеко от холодной и угрюмой Скифии, — но и на скифской земле цветут ее цветы...

Нет, прошлое не только любопытно или поучительно! Спускаясь в прошлое, открываешь не только его, но и самого себя, прислушиваясь к собственным чувствам, мыслям, ощущениям, отзывающимся — как на звук отзывается чувствительный камертон — на такие мелочи, как аромат розового масла, пролитого неведомой куртизанкой, как вытертая в камне щель, куда прятал ключ распределитель воды, или рассыпанные псефы, определившие чью-то судьбу. Да, именно такие сугубо человеческие проявления только и способны перекинуть незримый мост между настоящим и прошлым.

Бродя вечерами по теменосу, останавливаясь возле алтарей и жертвенников, я думал о том далеком времени, которое когда-нибудь наступит для наших потомков. Человек шагнет в космос, подчинит себе пространство, столь же загадочное, как время. Сначала будут разведчики, затем первые исследователи, и наконец, завоевав планеты Солнечной системы, человечество уйдет к новым звездам. Поколения обживут новые миры. Но все равно, сколько бы ни прошло веков или тысячелетий, сколько бы ни сменилось поколений, весь этот звездный посев человечества будет чтить и хранить в благодарной памяти маленькую зеленую планету, откуда был дан в космос Первый Старт. Они станут рассказывать о ней легенды, мечтать раз в жизни

пройти по ее душистым лугам и рощам, окунуться в волны голубых морей. А потом, как драгоценную реликвию, хранить, может быть, просто щепотку песка, кусочек глины или камень последней мостовой...

Может показаться странным, почему, бродя по Ольвии, я стал думать о звездах и о будущем. Но здесь сыграли роль слова Карасева, брошенные вскользь, как примечание к его открытиям на теменосе.

Остановившись возле ограды древнего храма Аполлона Дельфиния и оглядевшись, Александр Николаевич произнес с досадой:

— Вот, ничего уже не осталось! Ну разве не варвары все эти экскурсанты?!

Я спросил, что его так огорчило.

— Эх, говорить не хочется! Может, тут и я виноват — нельзя оставлять было... А в общем, ведь это не доказательство, только домысел! Ну, слушайте...

Расчищая участок перед входом в священную рощу, Карасев заметил, что рядом с каменной дорожкой находится необычная площадка, выложенная мелкими разноцветными камушками. У нее не было определенных границ, камни были различной величины и формы. Но каждый камень, если это не известняк, каждая галька, найденная на Ольвии, — привозные. Все они «приплыли» с берегов Средиземного моря, из Эллады.

Не только во времена Гомера, гораздо позднее Скифия и страны гипербореев казались для эллинов столь же далеки и загадочны, как для нас соседние планеты. Несколькоими поколениями отдаленный от Эллады, выросший среди скифских степей, ольвиополит помнил и любил землю своих предков. Туда, в мягкий и теплый климат Средиземноморья, к островам и холмам Аттики, тянула его наследственная ностальгия. Он хотел видеть скалы, на которых пел Орфей, ступать по камням, которые попирали сандалии его богов и героев. Он уезжал туда, чтобы продолжать образование, торговать, участвовать в общенациональных праздниках, во время которых наступил мир между городами, выступать на состязаниях. И — тут я повторяю Карасева — быть может, каждый возвращавшийся, по обязанности или по собственному почину, привозил с собой хотя бы один камень из мест, где он побывал. Этот камень он клал рядом с другими такими же на площадке перед священной рощей, чтобы каждый раз, входя в храм, ощущать под ногами

камни Эллады, землю той, самой главной, родины. Он приносил как бы духовную жертву Аполлону — за благополучное путешествие, за удачу, за дозволение вернуться назад.

Они лежали здесь, эти камни, которых теперь — увы! — нет: из Милета, Коринфа, Сиракуз, Самоса, Родоса, Дельф, Коса, Афин, из Аттики, Пелопоннеса, Малой Азии и Великой Греции. Это как та земля, что в сказке насыпает в свои сапоги изгоняемый с родины, чтобы всегда чувствовать ее под собою.

Теперь, за десять с лишним лет после открытия, многочисленные туристы растащили все эти камушки «на память»...

Пускай это была фантазия, домысел. Но вместе с другими рассказами Карасева она помогла мне преодолеть тот невидимый барьер, который отделял прошлое от настоящего. Теперь, для того чтобы окончательно «войти» в былую ольвийскую жизнь, я должен был «познакомиться» с обитателями древнего города. Нет, не просто с «греками», чье присутствие можно ощутить в любой находке, будь то черепок, стена, слоевой фундамент или стеклянная бусина, а именно с людьми, населявшими некогда Ольвию: узнать их имена, дела, судьбы, подобно историче- рин Скила, рассказанной Геродотом.

Невозможность этого лишь кажущаяся. На самом деле о реальных жителях древней Ольвии нам известно гораздо больше, чем можно предположить. Об этом позаботились не только археологи, но и сами ольвиополиты.

Уже не раз мне приходилось обращаться к надписям, найденным здесь за полуторавековую историю исследования города. Иногда это целые мраморные плиты, иногда обломки. На них сохранились тексты и обрывки строк декретов, постановлений, списки граждан, надписи на пьедесталах, надгробия. На черепках сосудов процарапаны имена их владельцев, заговоры, дарственные и посвячительные надписи. Все это составляет огромную и своеобразную «библиотеку», наполненную различными сведениями как о самих ольвиополитах, так и об их обычаях, жизни и делах. Самое замечательное, что большинство этих свидетельств относится к определенному историческому периоду — между концом IV и серединой I века до нашей эры, то есть между осадой Ольвии Зопирионом и гетским разгромом, которому, как считают, предшествовал разгром скифский. Основанием и для такого предположения служат монеты нескольких скиф-

ских царей, которые чеканили ольвинополиты в знак своей зависимости от них.

Когда Ольвия попала в зависимость от скифов? Можно думать, что не раньше середины III века до нашей эры. Зато конец скифского владычества над борисфенитами определяется довольно четко. Его указывают монеты скифского царя Скилура, последнего настоящего скифского царя, устроившего свою столицу в Крыму, в Неаполе Скифском, рядом с теперешним Симферополем. При Скилуре, царствовавшем долго и удачно до глубокой старости, скифская держава достигла своего последнего расцвета. Преемником Скилура стал его любимый сын, Палак, предпринявший неудачную войну против херсонеситов и наголову разбитый Диофантом. Походы Диофанта происходили между 115 и 106 годами до нашей эры. Последняя дата и указывает на время окончательного освобождения Ольвии от скифских царей. Ее стоит запомнить: в дальнейшем она понадобится для некоторых хронологических уточнений.

В середине прошлого века на острове Березань была найдена плита с надписью: «В добрый час! Ахиллу Понтарху архонты во главе с Калисфеном, сыном Калисфена, в третий раз: Посидей, сын Дада, Аттас, сын Феокла, Нил, сын Аргуаннага, посвятили благодарственное приношение за благосостояние города и собственное здоровье».

На первый взгляд ничего особенного в этой надписи нет. Коллегия архонтов — высшая выборная власть в Ольвии. В отличие от Херсонеса, где была демократическая республика, и Боспора, где правили цари, в Ольвии у власти стояли аристократы — наиболее родовитая, богатая и образованная часть граждан. По особенностям написания букв археологи датировали эту надпись первой половиной II века до нашей эры. Внимание привлекало только одно имя «Аттас, сын Феокла».

Дело в том, что несколько позднее, уже на Ольвии, обнаружена большая плита с полностью сохранившимся текстом декрета, сходного по манере написания с березанской надписью. Разница во времени между ними, по-видимому, была невелика. Декрет начинался так: «Какие города увенчали покойного Феокла, сына Сатира, золотым венцом». Перечислялись Ольвия, Никомидия, Никея, Гераклея, Византий, Амастр, Тия, Прусса, Одессос, Томы, Истр, Каллатия, Милет, Кизик, Анамия, Херсонес, Боспор, Тира, Синоп. Дальше шел текст: «При архонтах Феокле, сыне Сатира, в четвертый раз с товарищами, месяца

Воидромона 15 дня, в состоявшемся народном собрании, по докладу Антифонта, сына Анаксимена, архонты предложили: так как Феокл, сын Сатира, муж, происходящий от предков славных и оказавших много добра нашему отечеству в посольствах, всяких должностях и благодеяниях как отдельным гражданам, так и пребывающим у нас иностранцам...» Феокла хвалили за добродетельную жизнь, за любовь к отечеству, за попечение о благе города: «и в постройках потрудился так, что через него наш город сделался красивее и славнее»; он в четвертый раз занимал должность главного архонта, управляя «безупречно и справедливо». Поэтому «похищенный завистливым роком до конца службы» Феокл вызвал печаль горожан и иностранцев, вследствие чего «совет, народ и города, из которых пребывали у нас иностранцы, сочли достойным, чтобы Феокл был увенчан золотым венком». Через специального глашатая ольвиополитов оповещали, что «совет, народ и города пребывающих у нас иностранцев увенчивают Феокла, сына Сатира, превзошедшего всех от века, отличавшихся заботами об общем благе, и приносившего пользу городу; чтобы его изображение на щите было поставлено на общественный счет в гимнасии, о постройке которого он сам имел попечение; чтобы это постановление было вырезано на белокаменной плите и поставлено на самом видном месте города, чтобы все узнали, что этот муж был дерзновенен в мужестве, немедлителен в добродетели, спасителен к согражданам и человеколюбив к иностранцам; а также для поощрения лиц, могущих любить отечество и благодетельствовать ему».

Как можно думать, Атлас березанской надписи был сыном этого самого Феокла, сына Сатира. Здесь совпадает и время, и происхождение обоих, и выборные должности архонтов, по-видимому наследственные в Ольвии. Еще более интересно, что этот Феокл оказывается строителем гимнасия в городе. Но какого? Того, что раскапывает Карасев? Но здесь стоит прислушаться к «свидетельству» самого гимнасия. Ведь он, судя по всему, был выстроен в конце IV века и просуществовал не особенно долго, потом его разобрали. Следовательно, надписи эти относятся не ко II веку до нашей эры, когда Ольвия оказалась под властью скифских царей, а к середине или к концу III века до нашей эры, когда был разобран первый гимнасий и построен второй. Этот второй гимнасий еще предстоит найти. И там, может быть, окажется портрет Феокла...

Еще более интересные сведения сообщает другая надпись,

относящаяся примерно к тому же времени. Никират, сын Пания, был стратегом — ольвийским военачальником. За свои воинские заслуги он еще при жизни был удостоен статуи. После того как Никират погиб в засаде, устроенной врагами, ольвиополиты постановили, «чтобы тело его было принесено в город для надлежащего погребения; чтобы находящиеся в городе мастерские и лавки были закрыты, а граждане надели траур, и все следовало бы в погребальной процессии; чтобы при выносе тела он был увенчан золотым венком от имени народа; а также чтобы ему была воздвигнута конная статуя на том месте, где захотят его родственники».

Когда читаешь эти надписи, выразительные и лаконичные, Ольвия преображается. словно сам видишь теперь и строительство гимназия, и архонтов, и народное собрание, и зычного глашатая, проходящего по улицам, объявляющего постановление народного собрания и властей, чтобы никто потом из горожан не мог отговориться неведением; и траурную процессию, проходящую мимо закрытых лавок и мастерских — из города на ольвийский некрополь, на котором стоит теперь Парутино...

Одной из самых драгоценных таких находок все историки по справедливости считают почти полностью сохранившийся декрет в честь Протагена, сына Геросонта. Подобно Феоклу, Протаген происходил из самого богатого и влиятельного рода ольвиополитов. Достаточно перечислить его заслуги перед Ольвией, чтобы предстала вся история города во время его жизни.

Некий царь Сайтаферн, по-видимому царь скифов, от которых тогда уже как-то зависела Ольвия, прибыл в Канкит и потребовал свою долю «по случаю проезда». Городская казна пуста, и Протаген пожертвовал 400 золотых. Затем, все из-за того же безденежья, архонты заложили какому-то Полихраму за 100 золотых священные сосуды, — Протаген их выкупил, спасая от переплавки. Те же архонты во главе с Димоконтом дешево купили большую партию вина. Но денег у них не было, и Протаген снова дал 300 золотых. При жреце Иродоре в Ольвии настал голод, вздорожал хлеб, Протаген продал горожанам с рассрочкой на год и без процентов около 100 тонн хлеба — вдвое дешевле, чем на рынке! В то же время явились за дарами какие-то сая, быть может, те самые, царем которых был Сайтаферн, и Протаген снова дает 400 золотых. Он постоянно дает в долг городу все возрастающие суммы, устраивает на свои

средства посольства, еще раз спасает город от голода, строит две городских стены, башни, починяет казенные суда, исправляет житницу и ставит пилон у места выставки товаров, освобождает город от долгов...

Когда жил Протаген? Во времена Феокла, раньше или позже? Но для меня он был интересен даже не этим. С его именем я как бы очутился среди густой толпы ольвиополитов, со всеми их делами, родственными отношениями, несчастьями и благодеяниями.

Есть среди надписей так называемые «списки». Это обломки каких-то декретов или постановлений, от которых остались только имена горожан. Один из таких списков, найденный на Ольвии, содержал в себе имена Протагена и его отца, Геросонта. Следовательно, остальные были их согражданами и современниками! Это тем более было замечательно, что следующие имена были известны уже из других надписей. Так, в этом списке упоминался Еврисибий, сын Димитрия. А на одном из найденных в Ольвии пьедесталов значилось, что здесь стоит статуя Еврисибия, сына Димитрия, посвященная за какие-то его заслуги Зевсу. Так же получается с Клеомбротом, сыном Пантакла. Подобно Протагену, его имя находится в списке рядом с именем его отца. Клеомброт прославился в Ольвии своими постройками — главным образом, башен и стен... Особенно же интересна другая семья, столь же древняя и родовитая, как семья Клеомброта, Протагена и Феокла, но представленная не стратегами и архонтами, а жрецами. Это — Агроты.

Есть нечто особенное в чувстве, охватывающем нас, когда мы попадаем в обстановку, среди которой жил кто-либо из великих или известных людей. С расстоянием времени чувство это распространяется на каждого, чье имя сумело избежать забвения. Но как это редко бывает и как мало удается узнать! Где находится «башня Геракла», построенная Клеомбротом, или его пилон? Где стены, возведенные именно Протагеном? Где башни больших ворот — Кафигиторова, Придорожная и Эпидавра? Мы этого не знаем. С Агротами произошло иначе.

Одновременно с раскопками теменоса и агоры, которые вели Карасев и Леви, начались работы Л. М. Славина — к западу от площади и к югу от диастерия. Там в древности находился аристократический квартал Ольвии. Среди развалин богатых домов, в подвалах и на внутренних двориках с водостоками и канализацией, находили монеты, расписные чернолаковые сосуды, украшения и терракотовые статуэтки. Особенно богат

находками оказался один довольно старый дом, находившийся во втором переулке за дикастерием. По обломкам сосудов и статуэткам можно было предположить, что хозяева дома были богаты и не чужды искусству. Самыми замечательными находками оказались две статуи: обломок мраморной Артемиды, изваянной каким-то талантливым скульптором, и совершенно целая, тоже мраморная, статуя Кибелы — «матери богов».

Дом этот так бы и остался среди отчетов под очередным номером: «дом № такой-то». Но оказалось, что главное здесь — не остатки колонн, не статуи и терракоты, а обломки посуды, на которой процарапано имя хозяина дома: «Агрот, сын Дионисия». Подобные находки нередки, но Агрот — личность известная и незаурядная.

Еще в конце прошлого века среди других надписей на Ольвии был найден пьедестал статуи, где значилось: «Братья Агрот и Посидей посвятили статую отца своего Дионисия, жреца, Аполлону Дельфинию». Имя Дионисия, отца Агрота и Посидея, было уже известно по одному из «списков». Сопоставляя две надписи, можно было утверждать, что отец Агрота был жрецом, служил в «новом» храме Аполлона Дельфиния и был современником отцов Протагена, Клеомброта и Эврисибия. В 1959 году на агоре Карасев нашел следующую надпись, рассказывающую о жизни уже Агрота: «Агрот, сын Дионисия, будучи жрецом, посвятил этот алтарь Афродите-Понтии и венец в пять золотых».

Следовательно, старший сын пошел по стопам отца. Старший, потому что в посвящении статуи отца он упоминается первым. Сопоставляя известные нам надписи, можно думать, что сыновья Дионисия вместе с Протагеном и другими сверстниками бегали в гимнасий, где стоял щит с изображением Феокла, очищали грязь палестры в душевых кабинках, снимая ее стригилем и водой с песком... Потом, став жрецом, старший сын прочно оседает в Ольвии, в доме, перешедшем к нему от отца. Судя по кладке, по строительным приемам, дом этот построил в III веке отец или дед Агрота...

А что случилось с его братом Посидеем? За исключением первой надписи, его имя больше не упоминается. Можно было предположить, что Посидей рано умер или был убит. Но все оказалось иначе. Ответ на этот вопрос был получен на острове Делосе, в Средиземном море. Там нашли плиту с декретом, в котором, по предложению делосца Антигона, сына Харистия, жители Делоса даровали проксению — право гражданства —

«ольвиополиту Посидею, сыну Дионисия!» По-видимому, младший брат Агрота стал купцом, мореходом или дипломатом. В те времена одно из этих занятий подразумевало и два остальных.

И вот здесь при сопоставлении нескольких надписей из Ольвии и из других самых неожиданных мест возникает возможность не только проследить судьбу сына Посидея и племянника Агрота, но и определять время жизни многих людей, в том числе и Протагена.

Еще В. В. Латышева, первого и самого основательного исследователя истории Ольвии, заинтересовали несколько надписей, найденных на месте этого города. Две из них поставил в благодарность Афродите-Евпелии «Посидей, сын Посидея». В третьей, сохранившейся с изъянами, раскрывается его место среди горожан. Я приведу эту надпись полностью.

«...Предложил: поскольку... сын Посидея, ольвиополит, пребывает расположенным к народу тенедейцев и оказывает услуги как вообще, так и в частности имеющим с ним дела гражданам, без отговорок, имея ревность во всякое время, за это народ определял ему почести: похвалу, достойную его благодетель, (золотой?) венок и (медное?) изображение. Да постановит совет и народ: дабы народ тенедейцев оказался благодарным, вспоминая о хороших людях, которые окажут услуги их городу, и почтил их соразмерно с их благодетельствами, похвалят... сына Посидея, ольвиополита...»

Призыв ольвиополитов не остался втуне. Насколько широки были связи и влияние Посидея, сына Посидея, можно судить по двум обломкам декретов, в которых его благодарят уже не ольвиополиты, а жители упомянутого острова Тенедоса и острова Коса. Но это еще не все. Опять же в середине прошлого века на территории Неаполя Скифского вместе с надписью царя Скилура были обнаружены три постаменты статуй. Поставил их... Посидей, сын Посидея.

Тот же или другой? Если возможно было сомневаться в тождественности имен, то эти сомнения полностью уничтожились характером посвящений и написанием букв текста: точные копии надписей Посидея из Ольвии. В первой надписи Посидей, сын Посидея, сообщил, что водружает статую Зевса-Атабирия в знак благодарности. Вторая надпись прославляла Афины-Линдию. Третья, самая интересная, гласила: «Ахиллу, владыке острова, Посидей, сын Посидея, победив пиратствующих сатархов». Четвертая надпись этого вездесущего Посидея была найдена в

Неаполе Скифском совсем недавно, на этот раз с посвящением нимфе Родос.

Было над чем задуматься! Посидей, сын Посидея, в благодарности за успехи своих дел, посвящал статуи как будто ольвийским божествам: Зевсу, Афродите, Афине, Ахиллу. Но — с небольшой «оговоркой». Это были не совсем «те» боги, которым поклонялись в Ольвии. Эпитет Зевса «Атабирий» происходит от самой высокой горы на острове Родос; Афина-Линдия, покровительница оливководства, кораблестроения и потерпевших кораблекрушение, тоже оказывается связанной с Родосом, — в городе Линде находился ее главный храм. И наконец, сама нимфа Родос.

Может, был прав В. В. Латышев, считая, что Посидей — родосец, только получивший права гражданства в Ольвии, а потом перебравшийся в Неаполь? Кстати, тогда Латышев сомневался, что вблизи теперешнего Симферополя находятся развалины Неаполя Скифского, столицы Скилура.

Таким образом, остается только Ахилл и... декрет самих ольвиополитов, где ни словом не оговаривается, что Посидей, сын Посидея, — иностранец, получивший права гражданства. А уж это было бы обязательно подчеркнуто!

Какой же остров освободил этот ольвиополит от сатархов, которых Щеглов считал жителями Тарханкута? Березань, где во II веке до нашей эры уже было святилище Ахилла? Или Левку? Белый, а теперь Змеиный остров? Можно думать, что разговор шел о том далеком и главнейшем острове. В этом случае заманчиво сопоставить деятельность Посидея с заслугой неизвестного лица, о котором повествует обломок декрета, найденный на Змеином острове. По остаткам надписи можно понять, что ольвиополиты ставят ему статую за то, что он оказал Ольвии множество услуг и, в частности, «изгнал с острова» каких-то разбойников...

Так кто же этот Посидей, сын Посидея: родосец, как явствует из его посвящений, или ольвиополит, племянник жреца Агрота? Мне кажется, верно именно последнее. А объяснить «несоответствие» можно следующим образом.

Остров Делос, давший права гражданства его отцу, Посидею, сыну Дионисия, брату Агрота, был всего лишь одним из эпизодов в жизни и деятельности ольвиополита. Очень вероятно, что такое же право гражданства, переходящее по наследству к его детям, брат Агрота получил и на Родосе, где женился, об-

завелся домом, семьей, а потом вернулся в родную Ольвию уже со взрослыми детьми.

Ольвия была всегда тесно связана с островом Родосом политическими, государственными и торговыми, и родственными узами. Из огромного числа ручек родосских амфор с клеймами, найденных на берегах Черного моря, только на долю Ольвии приходится одна треть! Это значит, что каждый третий родосский корабль, попадавший с товарами в Черное море, заворачивал в ольвийскую гавань. А о «семейных» связях Родоса и Ольвии можно судить хотя бы по надгробию родосского некрополя, где была похоронена «борисфенитка Гедейя, дочь Аристократа», то есть уроженка Ольвии.

Получив воспитание и образование на Родосе, Посидей, сын Посидея, естественно, привык чтить тамошних богов: Зевса Атабирия, нимфу Родос, Афину-Линдию. Вернувшись в Ольвию, может быть из-за смерти своего дяди Агрота, Посидей занял среди ольвийской аристократии подобающее ему по праву происхождения место. Почти несомненно, что он стал дипломатом. Таким образом Посидей и очутился в Неаполе Скифском, столице Скилура, под чьей властью находилась Ольвия, чеканящая его монеты. Все это могло иметь место лишь до 115 года, до смерти Скилура и похода Диофанта, следовательно, между серединой и концом II века до нашей эры.

А отсюда уже не трудно рассчитать и время жизни Протагена: вся его деятельность должна была протекать в первой половине II века до нашей эры...

7

В один из первых дней моего приезда на Ольвию произошла забавная история.

Приехал я в середине недели. По мере того как приближалось воскресенье, упоминание об этом дне в устах Карасева становилось все более тревожным и раздраженным. В субботу все работали уже лихорадочно, унося с разборных площадок черепки, разложенные рядами для подсчета и описания горлышки, ножки и ручки амфор, собирали лежавшие около ям кости, старались успеть зарисовать все зачищенные стенки раскопа. По своей наивности я полагал, что эти приготовления делаются в ожидании приезда каких-то гостей. Но меня разуверили.

— Воскресенье на Ольвии — да это же вакханалия! — почти с отчаянием воскликнул Карасев. — Экскурсии придут!.. А это варвары, ей-богу, варвары! Если бы только посмотреть... Нет, обязательно надо какую-нибудь кладку разрушить, в стенах поковыряться из-за этих проклятых монет, будь они велады!

Шесть дней на Ольвии тишина. К воскресенью готовятся, как к нашествию неприятеля. И действительно, с утра в этот день перед воротами заповедника выстраивается вереница машин и автобусов — из Николаева, Херсона, Очакова, Одессы... Больше всего привозят школьников, а за ними, по горькому опыту, нужен глаз да глаз! На роль смотрителей и экскурсоводов призывается вся экспедиция. В заповеднике «дееспособных» только двое: научный сотрудник Анатолий Виссарионович Бураков и девушка-экскурсовод. А экскурсий больше десятка. Смотрительница музея «тетя Клава» и Максим Кондратьевич, который все свое время проводит на городище, подметая раскопы и укрепляя цементом открытые археологами стены, ни по возрасту, ни по своему образованию в «воскресный счет» не идут.

Зато после обеда, когда уезжают машины, наступает долгожданная тишина. Тогда вместе с Колей Марченко, своим учеником, и другими научными сотрудниками Карасев возвращается на раскоп, чтобы заняться архитектурными обмерами и чертежами...

Так было и в этот раз. Мы спустились в котлован гимнаasia, чтобы обсудить дальнейшее направление раскопок. С одной стороны, Карасеву хотелось расширить раскоп, чтобы проследить направление водопровода; с другой стороны, надо было продолжать работы за подсобными помещениями гимнаasia, чтобы выяснить его общую планировку. В субботу там успели опуститься только до щебня поздней римской мостовой, и до уровня пола гимнаasia оставалось около полутора метров.

И в этот момент мы увидели, как наш мягкий и добрый начальник побагровел.

— Вон! Сейчас же вон отсюда! Скажите этим болванам, что я запрещаю прыгать по раскопам! — закричал Карасев Косте Марченко и поднял свою палку. — Слышите?! Нельзя здесь прыгать!..

Это относилось к двум морячкам, которые спрыгнули с невысокой стенки и теперь стряхивали пыль с брюк.

— Товарищи, по раскопам ходить нельзя. Пожалуйста, вый-

дите отсюда и смотрите сверху, — вежливо попросил Марченко, поглядывая на щупловатых морячков с высоты своего двухметрового роста.

Морячки засмутились:

— Мы не знали... Мы уйдем сейчас!

— Знаете, товарищ профессор, мы вам колодец нашли! — заискивающе проговорил второй, стараясь задобрить строгого и разъяренного начальника. — Мы случайно...

— Да, да! Все случайно! Прошу вас немедленно выйти! — твердо, но уже остывая, произнес Карасев, поворачиваясь к ним спиной. — Нет, это черт знает что!

— Да мы действительно нашли колодец! — настойчиво повторил первый и дернул своего приятеля за рукав, чтобы он не уходил. — Вы бы поглядели, товарищ профессор...

— Господи, что они от меня хотят? — в изнеможении произнес Карасев, опускаясь на низкую деревянную скамеечку и вытирая лицо платком. — Уважаемые товарищи! Здесь все колодцы известны. Они раскопаны, обмерены, сфотографированы, нанесены на план и пронумерованы!

— Да нет! — обрадованно заговорил второй моряк, видя, что «профессор» смягчился. — Этого колодца вы не видели! Мы прыгнули... — Он занулся. — Ну, соскочили! И вот он — провалился. Еле вытащил его! Да это тут, рядом...

— Где рядом? — уже заинтересованно спросил Марченко.

— Вот, у вас же здесь, — ответил моряк и показал на участок за гимнасием, где находилась римская вымостка.

— Колодец теперь выдумали какой-то! — уже добродушно ворчал Карасев, с трудом выбираясь из раскопа. — Наверняка зерновая яма, пустая... «Колодец»! Делать вам нечего, вот я что скажу! Лучше бы пришли к нам и лопатой поработали, чем со стенок прыгать...

— Да мы вот... Увольнительная у нас... А то бы мы с удовольствием... товарищ профессор!

— Александр Николаевич! А ведь и правда колодец!..

Марченко опередил всех и стоял теперь, нагнувшись над круглым узким отверстием, неведь откуда возникшем на совершенно ровном месте. В том, что еще вчера и даже сегодня утром здесь не было никакого колодца, каждый из нас мог бы присягнуть.

— Понимаете, мы прыгнули... Я прыгнул, думал, крепко, вдруг провалился... Хорошо, задержался на локтях, а то бы так

и пошел... Зацепиться-то не за что... — перебивая друг друга, рассказывали моряки.

Колодец оказался великолепным. Прямая, ровная труба, чуть меньше метра в диаметре, сложенная из тщательно отесанных и подогнанных блоков известняка, уходила вниз. Метра на три в глубину она была пуста. Внизу виднелась кучка рыхлой земли — остатки рухнувшей под ногами «открывателя» кровли. Видимо, в древности горло колодца закрывала деревянная крышка, потом ее завалили камнями и землей, а сверху прошла мостовая. За две тысячи лет дерево сгнило без остатка, а земля так утрамбовалась, что превратилась в пробку, достаточно крепкую, чтобы выдержать работавших здесь в субботу студентов. Но прыжок и удар выбили «пробку» вниз...

— Хорошо еще, Александр Николаевич, что благополучно обошлось! — сказала Елена Ивановна, заглядывая в колодец. — Здесь не только ногу — голову сломать можно!

Полюбовавшись на неожиданную находку и посмеявшись над открывателями, которым в награду за «подвиг» Карасев рассказал о гимназии, мы вернулись в раскоп. В течение следующей недели этот колодец был гордостью экспедиции. Его показывали каждому приезжающему и рассказывали полуанекдотическую историю открытия.

Им и впрямь можно было залюбоваться. Во-первых, колодец идеально сохранился. Во-вторых, глубиной он был не меньше тридцати метров, — именно на такой глубине от «верхнего» города находился водоносный слой. Расчищать его полностью в это лето не собирались. Таким образом, это был первый известный колодец, из которого древние обитатели «верхнего» города могли доставать холодную и чистую воду.

Вскоре колодец отступил на задний план перед новым открытием, которое, казалось, могло пролить свет на одну из загадок, поставленных Ольгией перед исследователями.

В разных местах раскопки ведутся по-разному. Все зависит от того, что именно изучает археолог и что встречается ему во время раскопок. Как правило, раскоп начинается с современной почвы и последовательно углубляется до материка. Но может быть и иначе. Например, идя в глубь земли, археолог встречает остатки какого-либо интересного здания: оно сохранилось лучше других, дает больше важного материала, имеет особое значение для истории города. Но здание построено не на материке, а на уже накопившихся культурных слоях более раннего периода. Что делать? Идти вниз, дальше? Но тогда ценнейший

памятник придется разрушить! Делать это стоит далеко не всегда, тем более если раскоп можно углубить на соседнем участке.

По счастливой случайности большинство самых важных и значительных зданий в центре Ольвии было построено не на равных слоях, а на лессе, на материке. В связи с этим возникла другая проблема: куда исчезли более ранние слои? Ведь строительство, руины которого раскрывали и Карасев и Славин, началось только в конце IV века до нашей эры. До этого город существовал не одну сотню лет. Та же священная роща возникла в ограде теменоса если не в конце VII века, то, во всяком случае, в начале IV века до нашей эры.

Куда делись все слои, весь тот драгоценный материал, что помог бы узнать о жизни первых поколений ольвиополитов?

В том, что некогда он здесь был, сомнений не возникало. Достаточно вспомнить подвалы древнейших ольвийских зданий, открытые Люсей Копейкиной под задними помещениями диакстерия.

Но почему и куда исчез? Если отсутствие подобных слоев на теменосе и агоре объяснимо — территорию площади и священного участка убирали и подметали, — то в других местах действовали какие-то иные причины.

И вдруг эти слои появились, и не где-нибудь, а под служебными помещениями гимнасия!

Это была неожиданность, гораздо большая, чем колодец. Ведь гимнасий был построен не просто на материке. Он был углублен, врезан в лесс по крайней мере на полтора метра. Каким же образом слои могли оказаться под материком?

А вещи, которые стали попадаться под полом гимнасия, приводили в восторг. Здесь лежали обломки расписных родосских блюд VI века до нашей эры, монеты, геммы, обломки классических расписных чернофигурных сосудов... Может быть, тоже яма? Но находки шли широкой полосой: за резервуаром, под небольшими пристройками, под «котельной» и дальше на запад, в сторону города. Была, правда, одна особенность, которую усмотрела Елена Ивановна: слой с находками не был ровным. Дальше, в сторону палестры, он исчезал, в то время как с другой стороны утолщался и конца ему не было видно.

Чтобы во всем этом разобраться, основные раскопки следовало перенести на «участок с колодцем» и там углубиться до



того же уровня, до уровня пола гимнасия. Колодец обнаружили значительно выше пола гимнасия. Поэтому можно было думать, что его построили лет на триста позже, чем гимнасий, когда успел отложиться полтораметровый культурный слой, перекрывший палестру и «котельную» с латриной.

...Я уехал из Ольвии, чувствуя, что вот-вот произойдет какое-то открытие и хотя бы одна из загадок этого удивительного города будет решена. Но никто не мог предположить, насколько открытие это будет удивительным и неожиданным...

— Пospешили, поспешили убежать, батенька! — говорил мне потом зимой Карасев, и все его лицо расплывалось от удовольствия. — Ну что бы еще неделку задержаться?! Нет, умчался!.. Вот слушайте теперь и кусайте свои локотки...

События развивались следующим образом.

Сначала появилась одна стена, идущая от гимнасия в сторону колодца, потом отходящая от нее поперечная. Они были сложены из таких же прекрасных квадров известняка, как и сам гимнасий. По виду их, по кладке становилось ясно, что весь этот участок — только часть гимнасического здания. По-видимому, колодец его прорезал? Но от этой мысли довольно скоро пришлось отказаться. Высоко поднимаясь теперь каменная труба колодца оказалась точно «вписанной» в центр прямоугольной комнаты, которую создавали стены. Так точно рассчитать, не зная, что находится внизу, не мог ни один строитель.

Может быть, с самого начала здесь находилась «комната с колодезем», который сохранился после разборки гимнасия, и, когда стали засыпать котлован, его просто надстроили?

Это походило на истину.

Когда раскопки углубились еще на метр, появился пол, прекрасно сохранившийся, выложенный на таком же уровне и такими же массивными плитами, как оставшиеся полы в помещениях гимнасия. Здесь и нашли разгадку. Под каменной «трубой» поздней надстройки в полу комнаты находился большой каменный круг — облицовка колодца IV века до нашей эры! Сверху он весь был прорезан неглубокими пазами, на которых крепился какой-то сложный подъемный механизм, позволявший доставать воду.

Это был тот самый гимнасический колодец, существование которого Карасев предсказал, едва лишь был открыт водопровод.

Но все это археологи могли рассмотреть и оценить уже потом. Настоящее открытие ожидало их в нише одной из стен удивительной «комнаты с колодезем». Там на специальном постаменте стоял бюст, вернее, верхняя часть крупной статуи.

Уже первый взгляд, брошенный на скульптуру, убедил Карасева, что перед ним редчайшая находка. В нише находился торс мускулистого юноши с выпадающими на спину длинными, чуть волнистыми волосами. Устремлены вперед незрячие глаза, чуть заметная улыбка трогает сжатые губы... Память подсказала остальное.

Такие фигуры обнаженных сильных юношей, с опущенными вдоль тела полусжатыми в кистях руками, с выдвинутой вперед левой ногой, древние греки ставили в VII—VI веке в своих святилищах, а позднее на стадионах. Подобная статуя так и называется в археологии — курос, юноша. На самом же деле это изображение Аполлона.

И этот Аполлон был одним из самых древних, которые нам известны.

Ольвийский Аполлон сохранился не полностью. Еще до надстройки гимнасия он успел потерять руки и нижнюю часть туловища, повреждены были нос и губы. Но все равно это была великолепная находка: впервые на берегах Черного моря археологи нашли почти полную архаическую скульптуру. До этого

встречались только их обломки. Однако самое главное заключается в другом.

Ни одну из известных нам древних статуй не удалось найти на том месте, где ей надлежало стоять. Здесь же, хотя сам Аполлон был по крайней мере на два столетия древнее гимнасия, при строительстве «комнаты с колодецем» для куроса с самого начала сделали нишу и постамент.

И вот тут мы попадаем в область чрезвычайно увлекательных догадок и предположений. Куросы такого типа известны на древней родине ольвиополитов, в Милете. Так, может быть, это и есть самая древняя и самая чтимая статуя Аполлона Дельфиния, которую привезли с собой первые поселенцы вместе с ростками священной оливы?! Ведь не случайно, раскапывая теменос, Карасев предположил, что сначала не было даже храма, а стояла лишь одна статуя. Потом сменились вкусы, появилась новая, более красивая и внушительная статуя Аполлона, старая была разбита во время одной из городских катастроф, быть может, в результате все той же истории с Зопирионом. При определении ее дальнейшей судьбы сыграло роль то обстоятельство, что Аполлон не только патрон купцов-мореходов, но и покровитель искусств, наук и спорта, покровитель атлетов и спортивных состязаний. Так древняя статуя оказалась в здании нового гимнасия.

А вот почему она стояла именно здесь, в «комнате с колодецем»? Почему вообще оказался здесь колодец, заключенный в специальном помещении, а не рядом с резервуаром, например? К тому же в этой комнате находилась не только статуя древнего бога. В противоположной стенке была устроена такая же ниша, а в ней остатки мраморной плиты. На сохранившейся части не оказалось никаких следов надписи, но она, без сомнения, была.

От всех этих находок создавалось впечатление, что колодец был не совсем обычным.

Подойти к его разгадке удалось, решая совсем другую, первоначальную задачу: каким образом под стенами гимнасия оказался слой более раннего времени?

Все объяснилось просто.

В древности эту часть города прорезал небольшой овражек или глубокий ров. Долгое время овражек никому не мешал. Но когда после победы над Зопирионом ольвиополиты принялись благоустраивать свой центр, этот овраг, или ров, оказался не к месту. И его... завалили культурным слоем, накопившимся на

месте теперешнего гимнасия, вокруг агоры и дикастерия. Греки поступили точно так же, как теперь это делаем мы: сносим дома, а образовавшимся мусором заваливаем ямы и неровности. Отсюда и отсутствие слоя на других участках, и древние предметы под гимнасием, который частично был поставлен на этот завал.

Именно поэтому гимнасий и стал оседать! То ли архитекторы не учли усадку рыхлого грунта, то ли ошиблись в своих расчетах, но поползли трещины, расселись стены, и ольвинополитам не оставалось ничего другого, как разобрать все здание на камень.

Так сразу были решены две загадки. Но оставалась еще главная, связанная с колодцем и статуей Аполлона.

Ее тоже помог решить овраг. Насколько можно судить, загадочный колодец приходился как раз на центр оврага или котловины. Учитывая глубину подземных вод и узость стен колодца, приходится отбросить мысль, что овраг сначала был завален, а рыть для колодца шахту начали потом, уже построив гимнасий.

Скорее всего, трубу колодца возводили одновременно с засыпкой оврага. А это, в свою очередь, означает, что колодец в овраге существовал задолго до Зопириона и гимнасия. Можно думать, что первые ольвинополиты, ответственные за гидротехнику города и обеспечение его жителей водой, с намерением врезали один из первых колодцев Ольвии — или самый первый?! — в дно долины. Таким образом они сокращали и объем земляных работ, и наверняка могли дойти до водоносного слоя.

А если эта догадка верна, то не требуется объяснять, почему в помещении, скрывавшем самый древний, ставший священным колодец, был поставлен и древний покровитель Ольвии...

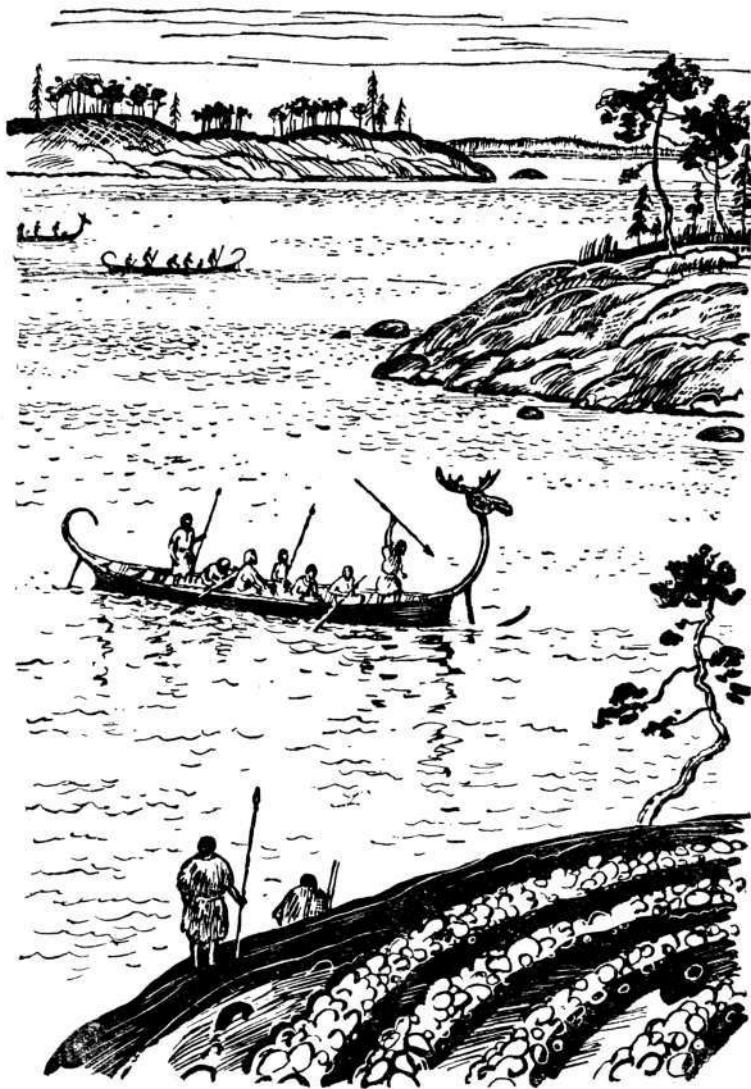
— Вот он, самый древний Аполлон Дельфиний! — с гордостью в почтении произнес Карасев, подведи меня к ящику и снимая брелент. — С него и началась наша Ольвия!

В ящике, еще не отмытый, серый от ольвийской пыли, лежал курос. Так же как и две с половиной тысячи лет назад, он глядел перед собой незрячими глазами и загадочно улыбался. Он знал много такого, о чем мы сейчас даже не можем догадываться. Он присутствовал при возникновении и гибели Ольвии, видел, как мальчишки становятся зрелыми мужчинами, как они погибают, защищая свое новое отечество; как на смену им при-

ходят их дети и внуки, равно чтившие его, Аполлона, и в годы молодости, и в глубокой старости, когда, словно исследуя судьбы своего города, день за днем глядел он в глубину колодца, пытаюсь найти ответ на вопросы, что задавали ему люди...

Древний хранитель исчезнувшей Эллады.





ПУТЬ ЧЕРЕЗ ЛАБИРИНТ

1

Заканчивая книгу, я хотел в последней главе рассказать о загадке, для решения которой, в сущности, вовсе не обязательно было путешествовать и вести раскопки. Подобные случаи выпадают на долю археолога гораздо чаще, чем он предполагает. Вот почему и глава эта должна отличаться от всех предыдущих: в ней нет встреч, почти нет находок, а сама загадка решается путем систематизации и упорядочения уже известного материала. Иначе говоря, я хотел показать «кабинетную» работу ученого.

Впрочем, подумав, я усомнился в своей правоте. Так ли было на самом деле? Ведь и решение пришло ко мне лишь потому, что несколько лет подряд я проводил месяц или два в странствиях по Терскому берегу, являющемуся одновременно северным берегом Белого моря и южным берегом Кольского полуострова. Подобная двойственность — что «север», а что «юг» — часто висит путаницу в жизнь, и человек забывает, что у каждого явления и предмета существуют две стороны, а не одна, которую ему в данный момент показывают. Поэтому знакомство с Белым морем, с его берегами и природой Севера в конечном счете оказалось наиболее важным...

Первый лабиринт, который довелось мне увидеть, находился километрах в шестнадцать к западу от Умбы. Небольшое село, чьи деревянные, поросшие зеленым и золотым лишайником дома теснились между крутым косогором берега и кипящими порогами реки, брызгавшей пеной на мостки и маленькие баньки, древностью своей могло спорить с Москвой. Когда-то Умба, основанная повгородцами, была одним из трех главных селений всего Беломорья, но давно уже захирела, отдав свое имя современному районному центру, выросшему поблизости на берегу обширной бухты.

В один из солнечных и жарких дней, на которые не всегда щедро короткое заполярное лето, мы с приятелем моим, старым рыбаком, знавшим здесь каждый залив и каждый камень, погрузившись на карбас, выбрались из глубокого и узкого фьорда Малой Пярви и, очутившись в море, взяли курс на запад.

Высокие красно-желтые скалы обрываются здесь в воду крутыми, сглаженными льдом и волнами лбами. На них растут редкие сосны, узловатые, перекрученные, израненные ветрами. Расползшимися корнями сосны цепляются за каждую выбоину, каждую трещину в скале. Дальше, за прибрежными скалами, высятся вараки — горы, покрытые уже более густым лесом, но, как правило, с лысой, вылизанной ветрами вершиной. Сам бе-



рег изрезан губами, то небольшими, обозримыми сразу заливчиками, то извилистыми, на километры тянущимися в глубь материка фиордами, куда могут зайти во время шторма даже крупные суда.

Сейчас наступил отлив, и все скалы, все выступившие из воды камни были опушены желто-зеленой бахромой распластавшихся водорослей.

В отличие от остальной части Терского берега, протянувшегося на восток почти на четыреста километров, здесь были на редкость неудобные для рыболовства места. Я говорю не об удочке. На удочку здесь, как и во всем Кандалакшском заливе, который отсчитывался от Умбы на запад по берегу, треска шла исключительно хорошо. Речь идет о настоящем промысле.

Рыбой с большой буквы — уважительно — здесь называли только семгу. Все остальное — мелкая треска, трещетка, или пертуй, навага, шипастый, ленивый и страшный на вид пинагор, мелкая беломорская селедочка, пестрая, хищная форель, сильная кумжа, злобная, кирпично-красная зубатка, щука, хариус, серебристый, нежно-прозрачный сиг, окунь, не говоря уже о прочей мелочи, — все они назывались по именам. И только семга, основа богатства и жизни Терского берега, называлась Рыбой. В подобной почтительности, в нежелании лишней раз произносить собственное название «объекта промысла», как име-

новали семгу на канцелярском жаргоне официальные документы, мне слышались запреты древности, когда охотник (или рыболов) для успеха охоты не смел называть «настоящее» имя зверя, прибегая к описательным эпитетам — не «медведь», а «косолапый», «когтистый», «пожиратель меда», «разгребатель муравейников» и так далее...

Чем больше я знакомился с краем, с его обитателями, с их



бытом, тем более понимал, что так все когда-то и происходило. Деликатес, подаваемый полупрозрачными розовыми ломтиками в ресторанах, до последнего времени был единственным условием существования поморов. Удивительно калорийная и витаминная пища только одна и могла помочь людям переносить все невзгоды сурового климата, долгую полярную ночь, холода, промозглые туманы и штормы, борьбу с морем, расстояния в десятки километров, которые отделяют здесь одно селение от другого.

Семга приходит в реки с моря. До сих пор еще не найдены ее морские пастбища, не прослежены пути ее многомесячных скитаний в океанских глубинах. Она выводится из икринок в северных реках, достигает там размера среднего пескарика и уходит, «скатывается», как говорят рыбаки, в море. Через год, через три, нагуляв, набрав килограммы мяса и жира, она возвращается в родную реку крупной и сильной рыбой, чтобы отметать икру. В неведомом механизме ее памяти природа зафиксировала точные координаты родной реки, устье которой она находит, пройдя тысячи километров океанских бездн. Когда мне приходилось разговаривать об этом удивительном свойстве семги с ихтиологами, те объясняли «чутье» рыбы особо чувствительными хеморецепторами, образующими в ее носовой и ротовой полости изумительной точности и тонкости «экспресс-лабораторию», определяющую любые химические примеси в морской

воде, по ничтожным количествам которых семга отличает «запах» родной реки от других, соседних. Об этом же, но другими словами говорили и рыбаки. Наблюдая из поколения в поколение на Терском берегу, как семга приходит с востока вдоль берега, разыскивая устье нужной ей реки, рыбаки уверяли, что родную воду «Рыба чует правой ноздрей»...

Да, громадная серебряная красавица, со скоростью торпеды идущая вверх по каменистой бурной реке, в стремительных прыжках преодолевающая двухметровой вышины пороги, вылетающая в пируэте на полтора метра из воды, чтобы, резвясь, войти обратно в нее со звуком ружейного выстрела,— такая рыба была достойна и поклонения и уважения! И чувства эти сохранялись, безусловно, с более древних времен, когда от семги и от диких еще оленей зависела в прямом смысле жизнь обитателей этого края.

Кем они были? Как жили? Современные терские поморы были потомками новгородских колонистов, которые, как можно судить по некоторым документам, сохранившимся в новгородских архивах, встретили в здешних местах «терскую лопь» — предков современных саамов-лопарей. «Саами» означало на языке аборигенов «люди», подобно самоназванию каждого первобытного народа, отличающего себя, «людей», от «прочих», «нелюдей». Именно от «терской лопи» новгородцы должны были перенять приемы промыслового лова, научились перегераживать реки «забором» с ловушками, ставить «езы»; от них же они научились оленеводству, и очень скоро неприхотливый север-



ный олень, основная добыча еще палеолитических охотников, полностью вытеснил коня в хозяйстве помора. Можно было бы думать, что от лопарей поморы переняли и морской лов семги на тонях, но к тому времени, когда первые этнографы появились в Лапландии, как именовался раньше Кольский полуостров, саамы со своими оленями и чумами кочевали в центральных тундрах, а если выходили на морской берег, то морской лов, как и на озере, ограничивался удочкой. Собственных тоней у них не было.

А главным промыслом семги был здесь морской, тонево́й.

Тоня́ — ударение падает на последний слог этого слова — имеет двойное значение. Тоней на севере одинаково означают и «тонево́й участок», часть берега с прилегающей к нему акваторией, где располагаются сети или рыболовные ловушки, и «тонево́я изба», а вместе с ней и весь комплекс — амбар, ледник, сетевка, где хранятся сети, сушилка для сетей и та изба, в которой живут рыбаки во время лова. В прежнее время каждая поморская семья имела свой тонево́й участок на берегу моря, свою изба́шку, и с весны до поздней осени переселялись в нее из села. Сложной и тяжелой была эта работа, которая должна была обеспечить семью на целый год рыбой — для себя и для продажи. Как только начинался ход семги, приходилось все время следить за сетью, за тем, как заходит в нее рыба; пойманную рыбу надо было выбирать, чистить, засаливать, хранить, и это круглосуточно, по шесть — восемь раз в сутки, в любую погоду. Надо было очищать сети от ила и водорослей, поднимать их, просушивать, распутывать. А когда начинались штормы, приходилось вытаскивать сети, чтобы их не порвало штормом, вновь забивать в твердое песчаное дно вырванные волнами кольца...



Путешествуя теперь по Терскому берегу, можно видеть остатки этих тоневых избушек, стоявших часто, порой до трех-четырех на одном километре. Летом берег был заселен в полном смысле слова, и обычные расстояния между селами, достигавшие тридцати—сорока, а то и пятидесяти километров, не ощущались. Зимой же в каждой из этих избушек путник обязательно находил запас муки, крупы, чая, соленое мясо, одну или



две бочки с соленой рыбой, дрова и спички. Зимой поморы уходили в отъезд, подряжаясь перевозить на оленях грузы, но главное, с февраля начинался зверобойный промысел. Вместе с движением льдов в Белом море появлялись стада гренландского тюленя с новорожденным потомством — бельком. Опасный и трудный промысел «зверя» обеспечивал поморов салом и шкурами, из которых шли непромокаемые сапоги и тяжелые рыбацкие куртки. Промысловиков часто носило на льдинах по морю, выбрасывало на берега, но каждый помор знал, что в любой занесенной снегом тоневой избушке он найдет и тепло и пищу...

Я рассказываю так подробно о семге, о промысле и жизни помора в недавнем еще прошлом потому, что без этих простейших и обязательных сведений читатель не поймет остальное. Человеческая жизнь, в особенности внешний ее облик, называемый бытом, во многих случаях даже в условиях современного города зависит от природы. Неожиданный снегопад останавливает движение транспорта, а чередование времен года подчиняет своему ритму нашу деятельность, весьма далекую от природы. Там же, где человек еще непосредственно связан с природой, жизнь его определяется непрерывной с ней борьбой, в которой и та и другая сторона выступают как равные, и «побе-

да» становится не уничтоженным, а лишь еще одной ступенью к самоутверждению.

Сейчас мы постепенно учимся не только ценить природу, но и понимать то мудрое равновесие и взаимозависимость ее составных частей, которое складывалось в течение десятков и сотен тысячелетий. Мы узнали, что выпадение из общей цепи даже самого маленького звена — вида насекомых, птиц, рыб или



животных — может привести оставшийся мир на значительной территории к катастрофе. Открывая для себя Терский берег, изучая поморов, их быт, хозяйство и последовательность сезонных работ, взаимоотношения между людьми и животными, с каждым разом я все больше убеждался, что выжить и так своеобразно развиться, создать свой мир неповторимого облика они смогли лишь благодаря тому, что мудро прислушивались к природе и запоминали ее уроки. И безусловно, самыми первыми и самыми главными их учителями должны были быть древние обитатели этого края, чей опыт общения с природой насчитывал не века, а тысячелетия...

Наш карбас, издавая непрекращающийся пулеметный треск, вспарывал почти идеальную гладь воды. Такие дни выдаются редко даже при ясной погоде, когда на голубом небе, сколько ни оглядываешься, не видно ни облачка, вода тиха и прозрачна, переходя от ультрамариновой сини вдали вдруг к темно-зеленой глубине у борта, а невидимый обычно Карельский берег приподнят миражем на горизонте, и рефракция удваивает и утраивает темные роци невидимых островов. Мы шли мимо синих заливов и пестрых, синевато-серых, черных и коричневых скал с красной полосой, обнаженной отливом. В отличие от восточной части Терского берега, о которой я говорил, низкой и

песчаной, где лишь иногда из прибрежного песка выстунит окатанная и стертая морем скала, здесь не было видно ни тоневых избушек, ни их остатков. Единственная тоня находилась на наволоке, песчаном мысе возле устья Умбы, между рекой и морем. Дальше уже сетей не ставили: у берега сразу начиналась такая глубина, что корабли могли бы при нужде приставать прямо к скалам.

Справа осталась Пан-губа с ее двумя коленами, гасящими ветер и накат волны в любой шторм; широкая, закрытая мысами Островская губа с несколькими островами — от больших, лесистых, до просто каменных глыб, отороченных каймой желтых водорослей. Везде берег здесь был крут и каменист. Наконец впереди я увидел мыс, крутой и скалистый, резко выступавший в море. Глубокой и широкой выемкой мыс был рассечен надвое, и можно было догадаться, что в прошлом он представлял собой два самостоятельных островка, теперь соединенных перемычкой.

— Вон там и лабиринт твой! — прокричал мне сквозь треск мотора провожатый.

Я протянул руку по направлению крайней к морю скалы. Мой спутник помотал головой.

— Правей!.. Площадку видишь? На берегу! Ну, где елочки... Во-он сосна... Возле нее как раз!

Соскочив на крупную гальку и оттащив якорь на канате выше волноприбойной линии, мы столкнули карбас в море, чтобы он не остался из-за отлива на берегу, не «обсох», и поднялись по склону к площадке у сосны, находившейся метрах в восьми над уровнем наивысшего прилива.

Если бы не точный ориентир и не мой спутник, уверенно шагавший по чуть заметной тропке в зарослях молодого сосняка, покрывавшего обращенный к лесу северный склон скалы, я, вероятно, долго искал бы лабиринт. Как часто бывает, книжное знание сбивало с толку. Не то что оно было неверным: знание было правильным, но представление — искаженным.

О каменных лабиринтах Севера написано не так уж много. Я читал все статьи, видел несколько фотографий — как правило, плохих, серых, неопределенных, где передний план нельзя отделить от заднего и нет масштаба, столь необходимого для восприятия размеров и расстояний. Вероятно, именно поэтому я думал, что передо мной откроется обширное сооружение из внушительных каменных глыб, обросших мхом, низкой порос-

лью вереска, полярной березы и багульника. На самом же деле на небольшой площадке, образованной несколько покатой, ползаросшей мхом поверхностью скалы, я увидел двойную каменную спираль с четко обозначенным ходом к центру, выложенную из камней в кулак или вдвое больших. Часть этой спирали, где склон площадки защищал ее от непосредственного воздействия морского ветра, была затянута ярко-зеленым покровом мха, на котором угнездились кустики вереска, в то время как другие камни лежали просто на обнаженной площадке скалы.

Единственным доказательством древности этого сооружения был слой мха да еще чернота лишайника на камнях и на скале — взъевшаяся в камень черная пористая корка, покрывавшая только внешнюю сторону камня. Я поднял и перевернул один голыш, лежавший в ряду спирали и покрытый как бы запекшейся коркой старого, давно отмершего лишайника. С нижней стороны, прикасавшейся к скале и лишенной солнечных лучей, он был девственно розов, являя розово-желтые кристаллы полевого шпата, как будто его только что окатала и выбросила на берег волна. И мох и корка лишайника служили гарантией возраста, потому что я знал, как много времени требуется в этих местах, чтобы на поверхности выброшенного морем камня угнездились первые споры, а еще неизмеримо больше — чтобы в кристально чистом воздухе Заполярья ветры с моря или из тундр нанесли пылинки, образовавшие такой слой дерна.

— По-нашему, вот это вавилон и есть, — повторил мой спутник, показывая на лабиринт. — А вот почему так назвали его — не знаю... Может, со священным писанием как ни то связано? На тоні (он так и сказал по-северному — «на тоні») сидишь парнишкой, делать нечего когда, вот старики и приведут тебя на вавилон этот, а ты давай пройди его весь, чтобы в центр попасть, распутай... Делать-то нечего, радио не было, а тут какая ни то забава.

— Разве была здесь тоня? — спросил я его, отрываясь от лабиринта, в котором найти путь от входа к центру не представляло никакого труда: узкий ход между двумя рядами камней, так, что только ногу было можно поставить, обходил все изгибы и не знал ложных ответвлений и тупиков.

— А как же! — Он даже удивился. — «Ударник»! Тоня «Ударник» — так ее и прозвали — самая уловистая по здешнему берегу! А раньше вавилон. Тут, ежели ты на тоню эту сел, всегда с рыбой будешь! Из-за того и жребий тянули, и споры были,

кому на ней сидеть... Да вот пойдём! Избу-то порушили года два, как народа не стало, а сетевка и посейчас стоит...

Мы вышли на другую сторону мыса. Площадка, где находился лабиринт, была расположена так, что над перемычкой, соединявшей далеко выдвинутую в море скалу и материк, нависал невысокий обрыв, под которым лежала осыпь крупной гальки. Все это показывало, что море и впрямь некогда разделяло этот мыс надвое и теперешняя скала с лабиринтом была таким же островком, как та, выдвинутая в море и украшенная пирамидкой гидрографического знака.

Вид, открывшийся мне за сосняком, был поразителен. От нашего мыса на запад до высокой скалы с голой маковкой, отмечавшей вход в длинную и извилистую Пильскую губу, что составляло больше километра, тянулся низкий песчаный берег с узкой полосой золотистого пляжа — настоящего лукоморья, как называют на севере изогнутую часть берега, заключенную между двумя мысами. Отлив уже достиг своей кульминации, но, в отличие от соседнего участка берега, где мы оставили наш карбас и где каменная осыпь уходила в воду довольно круто, здесь обнажилась полоса песчаного дна шириной не менее пятидесяти — семидесяти метров и, что важно, с «трубой», то есть идущей вдоль берега ложбиной, отделенной от моря песчаной косой. Эта «труба» и была причиной богатых уловов, о которых говорил мой спутник. Насколько я знал побережье, перед нами был единственный песчаный пляж на более чем ста километровой отрезке берега. В сочетании с мелководьем, обнажившимся при отливе, ровном песчаном грунте, чистом от водорослей, и «трубе», никогда не осушавшейся, так как по ней шло прибрежное течение, место это представлялось идеальным для промысла. Именно такие участки выскивают старые рыбаки, чтобы ставить снасти на семгу в море, если «трубу» на старом тоневом участке занесет песком и илом.

Рассматривая сухой пляж и ровный, уходящий от моря берег, поросший прямыми могучими соснами, так похожими на сосны Прибалтики, я мог видеть, что и в древности, когда береговая линия проходила на несколько метров выше, берег в этом месте был таким же, как и сейчас, столь же удобным для ловли и для установки ловушек. Я не сомневался, что где-то рядом, может быть неподалеку от развалин тоневой избышки или чуть дальше, находятся остатки поселения древних рыбаков.

«Так что же, — задавал я себе вопрос, — выходит, правы те археологи, которые считали, что лабиринты не просто как-то

связаны с рыбной ловлей, а изображают модели рыболовных ловушек древности?..»

Вопрос был поставлен, и на него требовалось найти ответ.

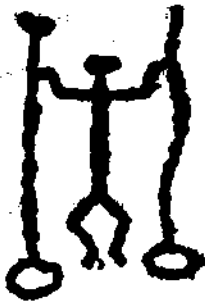
2

Встреча с первым лабиринтом возле Умбы совершила поворот в моем отношении к Северу, заставила взглянуть на этот край с новой стороны. Сначала я открыл для себя существование Терского берега. Потом, по мере того как его облик и природа стали для меня понятными и в какой-то мере родными, произошло следующее открытие — открытие поморов. И наконец, когда природа, люди и ближайшая история края предстали передо мной в некоем взаимопроникающем единстве, наступило время сделать следующий шаг, к которому с неизбежностью побуждал сидевший во мне археолог, — шаг в древность. Умбский лабиринт оказался хорошим к тому предлогом.

Так для меня возникла, а потом на какое-то время все заслонила «загадка северных лабиринтов».

...В конце следующего лета я сидел за столом, на котором был расстелен план Соловецких островов. На плане лежало несколько кусочков колотого кварца, похожего на высококачественный сахар-рафинад. За раскрытым окном зеленела мелкими листочками северная черемуха, солнце освещало деревянные двухэтажные дома, столь характерные для старого Архангельска, а с улицы доносился не отделяемый от Севера стук каблучков по пружинистым деревянным тротуарам, всегда хватающий за сердце, когда слышишь его после долгого перерыва.

Анатолий Александрович Куратов, местный археолог и мой давний приятель, навалившись на стол и вода карандашом по плану, рассказывал о своей очередной экспедиции. Невысокий, с плотным телом и короткими сильными руками, с крупной лобастой головой, над широким выпуклым лбом которой вечно торпорцились жесткие и прямые черные волосы, он поминутно взглядывал на меня большими, выразительными карими глазами, словно проверяя впечатление от своего рассказа. Насколько я знал Куратова по нашим встречам — и в Москве, и во время моих северных путешествий, — он принадлежал к той счастливой категории археологов, для которых увлеченность наукой очень скоро и незаметно подчиняет и наполняет всю жизнь. Потомственный северянин, он любил и знал Север, а будучи непри-



хотлив, отправлялся в далекие маршруты налегке и в одиночестве, когда не хватало средств на организацию настоящей экспедиции.

В последние годы внимание Куратова было захвачено северными лабиринтами. Это было понятно. Как рыцарю средневековых романов и поэм невозможно пройти мимо пещеры, где притаился дракон, или мимо замка, где томится заколдованная принцесса, так археологу, живущему на Севере и изучающему Север, трудно остаться равнодушным, когда рядом существует загадка лабиринтов. К тому же человеку с темпераментом, каким был мой приятель...

Лабиринт возле тони «Ударник», на который я впервые попал, был только малой и невзрачной копией сооружений, исследуемых Куратовым на Соловецких островах. Здесь, на маленьком архипелаге, по праву признанном «жемчужиной северного края» — по удивительной красоте скал, островов, заливов, по особому микроклимату, столь отличающему острова даже от близлежащего Карельского берега и Онежского полуострова, — находилось множество каменных сооружений. Естественно, я не отношу к ним ансамбль крепости-монастыря, столь многократно прославленный и в истории русского искусства, и просто в русской истории. На Соловецких островах — на Большом Заяцком острове, на мысах острова

Анзер, на Большом Соловецком острове и в некоторых других местах — группами и поодиночке расположены лабиринты, сделанные уже не из крупной гальки, как тот, что осматривал я, а из массивных валунов или невысоких, достигающих в высоту 20—25 сантиметров каменных гряд, насыпанных по спирали и имеющих в диаметре порой тридцать с лишним метров. Рядом с ними тянутся рассыпавшиеся каменные стенки, виднеются круги, каменные кучи, похожие на небольшие курганчики;

здесь же сложенные из плит камеры, напоминающие каменные склепы «домиков мертвых», — дольмены, так распространенные в бронзовом веке в Северо-Западной Европе. Иногда небольшие лабиринты соединяются каменными цепочками, иногда вокруг них располагаются другие фигуры.

На самой вершине холма, венчающего западную часть Большого Заяцкого острова, откуда открывается вид на окрестные острова и проливы и где особенно много каменных куч, лабиринтов и прочих фигур, не поддающихся определению, монахи Соловецкого монастыря выложили из камней большой крест. «Молодость» креста не вызывала сомнений, потому что, в отличие от камней лабиринтов и каменных куч, покрытых коркой лишайника, камни креста были столь же чисты и светлы, как прибрежные валуны.

По самым приблизительным подсчетам А. Я. Брюсова, который использовал данные Н. Н. Виноградова, в середине тридцатых годов нашего века на Соловецких островах было известно около пятисот различных каменных сооружений, большая часть которых представлялась весьма загадочной. Теперь, после нескольких лет, в течение которых Куратов методично, шаг за шагом обходил Соловецкие острова, эту цифру можно было почти удвоить. На самом же деле фактическая разница оказывалась меньшей: за прошедшее время, особенно за военные годы, многие лабиринты успели разрушить, и память о них сохранилась лишь в описаниях прежних исследователей.

Соловецкие лабиринты привлекали внимание не только своей загадочностью, но и своей неповторимостью, тем, что так отличало их от всех других лабиринтов. Здесь лабиринты располагались многочисленными группами, тогда как в других местах, как правило, находились единичные экземпляры. Столь же удивительным было и отсутствие на Соловецких островах каких-либо стоянок древнего человека. Ни поиски прежних археологов, ни старания самого Куратова найти хотя бы одну стоянку, по предметам которой удалось бы связать древних обитателей Соловецкого архипелага с одной из археологических культур, существовавших некогда на берегах Белого моря, до последнего времени успехом не увенчались.

Вот почему этим летом, в то время как я странствовал по востоку Терского берега, мой приятель решил снова вернуться на Большой Заяцкий остров, чтобы испробовать другой подход: разобрать одну из каменных куч, сопровождавших лабиринты. Такие попытки делались не раз. Первое, что приходило в голову

при взгляде на эти высокие, черные от старого лишайника кучи валунов, — каменные курганы... Однако найти в них остатки погребенных еще никому не удавалось.

— Я решил так: пусть меня постигнет неудача, но я наконец перестану мучиться вопросом: а что это за кучи? То есть мучиться-то я все равно буду, но хотя бы одно узнаю твердо: есть там погребения или нет и никогда не было! — рассказывал с воодушевлением Куратов. — Выбрали мы среднюю кучу среди одной из групп. Тут требовалось все рассчитать: чтобы куча не оказалась случайной, чтобы ее никто до нас не трогал, чтобы она ничем не отличалась от остальных. Сфотографировали, измерили, начали разбирать. Я сам все время стоял тут же и фиксировал каждый камень: а вдруг что-нибудь в насыпи окажется?.. Вот такой эта куча была в плане, вот ее разрез... — Он протянул мне два чертежа. — Ничего не нашли. Ну, говорю, давайте еще немного углубимся в галечник, на котором эти кучи стоят и из которого сложены... И вот, Андрей, представь себе: ниже — я специально это котом проверил, — сантиметров на тридцать ниже поверхности, оказалось среди камней темное пятно! Яма, могильная яма!.. Вот как она выглядит на фотографии: еле заметная, не яма, а тоненькая прослойка — немного песка, глина, как от дерна, угольки. И кусочек кости — один! По-видимому, покойников они сжигали...

— А ты уверен, что кость эта — остатки трупосожжения? — переспросил я его, рассматривая невзрачный обломок кости. — Что это не случайная кость, возможно даже, оленя или медведя?

Я вертел кусок в руках, с сомнением рассматривая мелкие трещинки на сохранившейся головке сустава, которые, по мнению Куратова, свидетельствовали о древней кремации.

— Я уже давал эту кость на исследование, и специалисты признали, что это человеческая кость, — ответил он. — Да, вот еще что лежало в яме...

С этими словами Куратов подвинул мне осколки кварца. К тому времени я уже научился отличать кварцевые орудия от бесформенных отщепов, но на этих не было никаких следов обработки. Впрочем, не было у меня и сомнений, что эти куски разбиты рукой человека. В Карелии, в Финляндии, а в особенности в Заполярье — в Норвегии и на Кольском полуострове, — где месторождений собственного кремния почти совсем не было,

людям приходилось изготавливать орудия из более неудобных материалов, в первую очередь из кварца.

— А стоянки? — спросил я Куратова скорее по привычке задавать этот вопрос, чем надеясь на ответ. Ведь кусочки кварца, найденные в каменном кургане, давали исследователю путеводную нить.

— Стоянки? — переспросил он. — Пока стоянок нет. Но вот на восточной оконечности Большого Заяцкого я нашел кварцевый скребок и там много битого кварца...

Куратов достал из стола коробку и высыпал из нее еще несколько кварцевых кусков. Скребок я увидел сразу, а два других, по-видимому, представляли собой типичные пирамидальные нуклеусы. Одного взгляда на них было достаточно, чтобы убедиться в существовании стоянки с кварцевым инвентарем на восточной оконечности Большого Заяцкого острова, а рассказ Куратова о битом кварце только подтверждал это. Он не решился назвать свою находку стоянкой, потому что впервые встретился с кварцевой индустрией и, подобно другим археологам, искал на Соловецких островах поселения с кремнем и керамикой. В отношении кварца у меня было больше опыта. Я знал, что кварцевые отщепы и битый кварц на Севере выполняют ту же роль, что колотый кремень и черепки в нашей средней полосе, указывая археологу на близость древнего поселения...

Настойчивость Куратова позволила найти если не самих строителей лабиринтов, то, по крайней мере, их ближайших родственников.

3

Каменные лабиринты были наиболее загадочными из всего многообразного наследия, оставленного древними обитателями Беломорья. В проблеме лабиринтов главным был вопрос: для чего создавали эти сооружения? С какой целью? Что они обозначали? Если выкладка небольшого лабиринта из прибрежных камней на ровной поверхности скалы представляла известный труд, то что сказать о тех лабиринтах, которые сохранились на Соловецких островах? Там каждая спираль представляла собой гряду из камней, достигающих в ширину 30—40 сантиметров, а в высоту не менее 20—25 сантиметров. И это при диаметре в 20—30 метров! А если учесть, что лабиринты составляют це-

лую группу, то в создании их должно было участвовать значительное количество людей.

Задача усложнялась тем, что сами лабиринты нельзя было назвать «беломорскими» и этим сразу определять сферу поисков. Сейчас наука располагает данными почти о полутора сотнях подобных памятников, находящихся на обширнейшем пространстве — от Белого моря до Исландии включительно. Они известны в Англии, Швеции, Норвегии, Финляндии, на всех берегах Кольского полуострова, в Кандалакшском заливе, на Карельском берегу. Есть они и на северных берегах Балтийского моря, и в Ботническом заливе. Археолог, привыкший к тому, что определенный вид памятника указывает на определенную археологическую культуру — племя, народ, существующие в столь же четких и определенных границах, — при взгляде на карту лабиринтов, разбежавшихся на тысячи километров по извилистым берегам северных морей, невольно приходит в недоумение. Еще удивительнее тот факт, что даже наиболее далекие друг от друга каменные спирали на самом деле не разнятся, а повторяют друг друга. Огромные расстояния и различные страны не позволяли принять единственно возможный вывод, что все лабиринты выложены руками одного народа. В первую очередь требовалось найти такой народ — многочисленный, освоивший морские просторы Севера не хуже легендарных викингов. Но где его искать? На всей территории, отмеченной лабиринтами, в эпоху неолита и позже, в эпоху бронзы, жили самые различные племена, оставившие на местах своих поселений предметы столь же отличающихся друг от друга культур.

Предположение представлялось настолько абсурдным, что всерьез никто не пытался его защищать. А если прибавить, что на некоторых древнегреческих монетах изображение лабиринта, который построил Миносу Дедал и в котором Тезей убил Минотавра, полностью повторяет северную спираль, выложенную из камней на берегу моря, то остается лишь развести руками...

Чем труднее задача, тем она привлекательнее. Куратов был далеко не первым, кто поднял копьё и затрубил в рог, вызывая на бой сказочных обитателей этих «заколдованных замков». В каждой из северных стран народные поверья по-своему объясняли появление лабиринтов, сообразуясь и со своей историей, и с древним преданием, мимо которого археолог проходить не в праве. Если верить сказителям, в Ирландии и в Англии на этих спиралях в лунном свете танцевали феи; в горной Норвегии ка-

менные гряды выкладывали йотуны — ледяные великаны, которых Тор крушил своим каменным молотом; в Швеции лабиринты отмечали входы в подземные дворцы карликов-двергов, владевших драгоценными камнями, рудами, изготавливавшими для героев саг волшебные мечи, щиты и копья... Приход христианства в суровые страны Севера, где царствовали неприхотливые языческие боги, не гнушавшиеся для ночлега и трапезы ни хижиной охотника, ни домом крестьянина, вступавшие в перебранку, а то и в прямую драку с хозяевами, ознаменовалось крещением не только людей, но и окружающего мира. Древние замки dwarves и фей, лишь кое-где в воспоминании о прошлом сохранившие название «девичьих плясок» или «дороги великанов», оказались переименованными в «вавилонны», «падение Иерусалима», «игру святого Петра». «Илиада» и «Одиссея», столь полюбившиеся воинственным скандинавам, для которых древнегреческие герои были всего лишь «добрыми викинг-гами», передававшиеся — в кратком пересказе — из уст в уста, дали повод назвать крупные лабиринты «троянскими замками».

У нас на Севере — в Карелии, на Соловецких островах и на Кольском полуострове — только две исторические личности были удостоены чести стать общепризнанными «строителями» лабиринтов: Петр I и Пугачев. Если верить соловецкому преданию, следует признать, что царь-геркулес Петр Алексеевич во время двухдневного пребывания на Соловках только и занимался тем, что в поте лица сооружал эти монументы, понуждая к тому же и свою многочисленную свиту... Естественно, такая легенда уже никак не могла помочь исследователю лабиринтов. Однако обитатели легенд и сказок, уходящие во времена язычества, давали пищу для размышлений и могли привести к интересным заключениям.

И все-таки что такое лабиринт? Для чего он был создан?

Чтобы решить подобный вопрос, обычно археологу достаточно исследовать загадочный памятник, в первую очередь его раскопать. В случае с лабиринтом такой путь оказывался невозможен. Раскопать центр лабиринта или часть его спиралей пытался почти каждый новый исследователь, а таких было немало. В середине прошлого века лабиринты и легенды, связанные с ними, отметил замечательный этнограф и исследователь Севера С. Максимов; их изучали А. В. Елисеев и К. П. Рева, собравший многочисленные коллекции вещей с неолитических стоянок

кожного побережья Белого моря. В начале нашего века лабиринтами интересовался А. А. Спицын, первым из археологов обследовавший некоторые стоянки, которые мне пришлось раскапывать на Плесеевом озере. Наиболее серьезные работы по лабиринтам провел Н. Н. Виноградов, а за ним А. Я. Брюсов и отчасти Н. Н. Гурина. Я привожу эти имена для того, чтобы показать, какое количество археологов, причем далеко не рядовых, пыталось разрешить эту загадку, достаточно сложную, и как всякий последующий исследователь оказывается в науке всего лишь «правофланговым», даже если своей работой он и докажет полную ошибочность взглядов предшественников.

Ведь путь для него прокладывали именно они, даже если он им и не воспользовался...

Раскопки каменных лабиринтов на Соловецких островах, на Мурманском побережье и в Кандалакшском заливе не принесли никаких результатов. Обычно под каменными спиралями оказывалась скала; в ином случае — галечник, недвусмысленно свидетельствующий, что строителями лабиринтов он потревожен не был. Таким образом, надежда найти под лабиринтами какие-либо погребения, тайники, разлеталась дымом. Самые тщательные изыскания не обнаружили среди камней лабиринтов ни каменных орудий, ни осколков сосудов, ни костей. Впрочем, две последние категории находок здесь были почти невероятны. Суровый, крайне тяжелый, сырой и морозный северный климат за тысячелетия надежно и без следа уничтожил на местах древних поселений не только всякие органические остатки, но даже черепки от сосудов. Если порой они встречались археологу при раскопках, то в крайне неприглядном состоянии. Да и мастерством своим древние гончары Заполярья похвастаться не могли...

Итак, археологи убедились, что сами лабиринты — не погребальные сооружения и не остатки жилищ. Начинать приходилось сначала, и каждый из исследователей для истолкования лабиринта почти всегда использовал его положение на местности, указывая черты и признаки, которые он считал главными.

К тому времени, когда Куратов принялся за детальное изучение этих каменных загадок, в науке утвердились две группы гипотез. Общим для каждой из групп оказывался не только объект исследования, но и время, к которому относили создание лабиринтов: середина второго — первое тысячелетие до нашей

эры. Этому времени на Севере соответствует эпоха бронзы, впрочем, весьма условно. Бронзовых орудий было немного, а пользовались, как правило, кварцевыми, кремневыми, шлифовали такие минералы, как сланец и шифер, употребляли роговик, широко применяли кость.

Может показаться странным, каким образом удалось установить время создания сооружений, неведомо кем и неведомо для каких надобностей построенных? Произойти это могло только на Севере Европы, где простое определение высоты той или иной точки над уровнем моря дает в руки исследователя если не окончательную, то, во всяком случае, начальную дату. Поскольку принцип такого определения крайне важен для всей первобытной северной археологии, и для рассказа о лабиринтах в особенности, я постараюсь его вкратце объяснить, чтобы сделать понятнее весь дальнейший ход мысли.

В этой книге мне уже приходилось говорить об оледенениях. Хотя взгляды ученых на поведение ледяного щита во время последнего оледенения и различны, в самом его существовании никто не сомневается. Сам факт оледенения подтверждают отложения в древних озерах и моренные гряды, которые можно считать свалкой того мусора, что тащил или хранил в себе лед, а потом и возникшие при его таянии потоки. Существует еще одно свидетельство оледенения Севера Европы, в частности Кольского полуострова, последствия которого незаметны для человеческой жизни, но с которыми приходится считаться геологам и картографам. Это колебания береговой линии.

Что колеблется: суша или море? Колеблется ли уровень Мирового океана или неустойчива земная кора? Поскольку данные колебания отмечены только для Севера Европы, геологи и геофизики единодушно считают виновником колебаний земной коры тот самый ледник, от которого остались теперь лишь небольшие глетчеры Норвегии.

Согласно такой точки зрения, во время последнего ледникового периода скопившаяся масса льда за десятки тысячелетий своей тяжестью прогнула земную кору. По мере того как лед таял, прогиб становился меньше и суша поднималась. Чтобы сократить объяснение и сделать его наиболее понятным, я скажу, что вся Северная Европа в этом случае походила на стальную пластину, неподвижно укрепленную своим южным концом и свободно колеблющуюся северным. За десять тысяч лет, прошедших после освобождения от ледника, «пластина» совершила

несколько колебаний с затухающей амплитудой, в результате чего море то глубоко вдавалось в сушу, заполняя и размывая еще больше речные долины и образуя террасы, то откатывалось назад. Такие циклы трансгрессий (наступлений) и регрессий (отступлений) дали в руки геологов естественную шкалу для приурочивания того или иного события к какому-либо циклу или его части. Но каждый последующий цикл был значительно слабее предыдущего. Поэтому на берегах северных морей в неприкосновенности остались террасы, отмечающие максимальные линии трансгрессий, тогда как террасы регрессий размыты и скрыты под последующими наносами. Со стороны (или в разрезе) это похоже на ступени гигантской лестницы, ведущей к морю, причем высота ступеней последовательно уменьшается, а плоскость каждой из них служит для геолога вехой определенного времени.

Высота лабиринтов над уровнем моря указывала время, после которого здесь уже не было моря и раньше которого лабиринт не мог быть создан.

К сожалению, метод этот не давал гарантии, что лабиринт на данном месте был построен одно или два тысячелетия спустя. Но с таким неудобством приходилось мириться.

За исключением даты, гипотезы о назначении лабиринтов были диаметрально противоположны. И хотя Н. Н. Гурина высказала свое предположение о происхождении каменных лабиринтов много позже, чем Н. Н. Виноградов и А. Я. Брюсов, в своем рассказе я нарушу хронологическую последовательность.

Свою гипотезу Н. Н. Гурина обосновала расположением лабиринтов на берегу моря, а для Кольского полуострова еще и рядом с современными тоневыми участками. В нескольких случаях на Мурманском берегу ей удалось найти поблизости и стоянки древних рыболовов. Цепь логических построений — лабиринты, берег, море, рыбаки — приводила к мысли, что лабиринты — модели древних рыболовных ловушек, располагавшихся в этих местах при отливе. Модели должны были напоминать о конструкции и ориентировке настоящих ловушек. Собственно Гурина только использовала гипотезу карельского археолога И. М. Мулло, допускавшего даже, что некоторые лабиринты могут представлять собой даже не модели, а остатки самих рыболовных ловушек: во время прилива рыба заплывала в спираль лабиринта и уже не могла найти оттуда выход.....

Предположение Гуриной, однако, не могло объяснить, почему в некоторых случаях, как на Соловецких островах, в одном месте расположено сразу несколько, до десятка, одинаковых гигантских моделей? К тому же забытыми оказывались все остальные каменные сооружения, столь обильно представленные не только на Соловецких островах, где находился, как можно думать, главный центр «лабиринтной культуры», но и в некоторых других местах. А без объяснения всего комплекса задача не могла считаться решенной.

Первые, наиболее серьезные исследователи соловецких лабиринтов — Н. Н. Виноградов, проживший несколько лет на Соловецких островах и оставивший детальное описание их памятников, и Я. А. Брюсов, во многом использовавший работу Виноградова, — одинаково пришли к мысли, что лабиринты являются культовыми памятниками древних беломорцев. После неудачных попыток проникнуть под лабиринты оба археолога обратились к окружающим каменным кучам. Уже остатки разрушенных в древности дольменов могли их убедить, что если не сами лабиринты, то расположенные рядом насыпи из камней должны быть погребальными сооружениями.

Впечатление это еще усиливалось расположением лабиринтов.

На Большом Заяцком острове огромные спирали лабиринтов как бы опоясывали по берегу невысокий вытянутый холм, сплошь покрытый каменными кучами, дольменами и прочими сооружениями. Входы в эти лабиринты были сложены и ориентированы так, что вошедший оказывался смотрящим на каменные курганы и дольмены. Последние же, как верили оба исследователя, несмотря на неудачу раскопок, представляли погребальные сооружения, а в целом грандиозное кладбище первобытности. Это впечатление позволило Н. Н. Виноградову прямо утверждать, что лабиринты связаны с культом мертвых и являются не чем иным, как входами в «царство мертвых», которое они окружают. Вход в лабиринт предназначался здесь не столько для живых, сколько для души усопшего, которая через лабиринт попадала «на тот свет». Поэтому и повороты в лабиринтах, по мнению археолога, нужны были лишь для того, чтобы дух, раз пройдя по такому извилистому пути, уже не в силах был найти дорогу назад, к живым.

Для окончательного доказательства гипотезы недоставало только самих погребений или их остатков. Несколько каменных куч, разобранных исследователями, не принесли обнадеживаю-

щих результатов. По-видимому, остатки кремации в них были слишком незаметны. И только теперь раскопки А. А. Куратова позволили сделать решающий шаг.

4

Я был рад удаче своего приятеля, понимая, что произошла она лишь благодаря его настойчивости и внимательности. Теперь можно было утверждать, что на Соловецких островах — в первую очередь на Большом Заяцком острове и на острове Анзер — находились кладбище и грандиозное святилище первобытности. О том, что гигантские каменные спирали, столь долго занимавшие воображение археологов, оказались входами в «царство мертвых», можно было бы догадаться и раньше, вспомнив названия, которые они сохранили с исторической древности: пласки фей, дворцы dwarves... Ведь маленькие народцы, насильно обращенные христианством в обитателей «преисподней», то есть того же «царства мертвых», «нижнего мира», своими «обиталищами» невольно выдавали входы в древний «потусторонний мир».

«Вход» в этом смысле был отнюдь не гиперболой, хотя на самом деле каменные лабиринты служили гигантскими алтарями, на чьих спиралях жрецы древности приносили какие-то жертвы подземным богам и совершали магические обряды. Однако было бы неверно только этим ограничить значение находок Куратова.

На мой взгляд, одной из главных заслуг Куратова была не столько находка древнего погребения под каменной кучей, сколько долгая и кропотливая работа по составлению планов лабиринтов и их окружения, по картографированию результатов, по созданию первой классификации каменных лабиринтов и выделению определенных типов.

Наука бессильна без порядка и без системы. Как в игре, в ней следует заранее определить условия и те названия фигур, которыми оперирует исследователь. В данном случае потребовалась долгая работа, чтобы, используя старые материалы, случайные известия, сохранившиеся в записках путешественников, фотографии и — даже! — открытки, составить первую схему распространения и нахождения лабиринтов в северных странах. А когда все это было сделано, выяснилась любопытная картина.

Лабиринты известны на огромном пространстве, но в самом Белом море они есть далеко не на всех берегах. Они сохранились кое-где на Карельском побережье, в Кадалакшском заливе, на Терском берегу, в гортле Белого моря у Поной, на Мурманском берегу. Оттуда их цепочка уходит на запад, в Норвегию. Все остальные берега Белого моря — Онежский, Летний и Зимний — лабиринтов и подобных им сооружений не знают, хотя Соловецкие острова лежат в виду Онежского полуострова, а от Терского берега отделены сотнями километров.

Как теперь выясняется, ничего удивительного в этом не было. Распространение лабиринтов в Белом море точнейшим образом отмечало границу между двумя человеческими общностями, отличавшимися друг от друга и формами своих вещей, и материалом, из которого они изготовляли свои орудия. Население восточного и южного побережья Белого моря, где никогда не существовало ничего похожего ни на лабиринты, ни на какие-либо иные каменные постройки, изготовляло свои орудия из розового и беловатого кремня месторождений Северной Двины; обитатели Карелии и Кольского полуострова, кроме кремня, причем иного, чем двинский, использовали еще и кварц, который Куратов нашел в погребении на Большом Заяцком острове. Значит, не случайно археологи не могли обнаружить на островах Соловецкого архипелага ни одной стоянки с кремневыми орудиями!..

Да, Соловецкие острова были «островом мертвых» и святилищем людей, изготовлявших орудия из кварца. Здесь лабиринты были неразрывно связаны с заупокойным культом — культом мертвых. «Но как быть с другими лабиринтами? — думал я. — Как объяснить их? Ведь комплексы, подобные найденному на Большом Заяцком острове и на острове Анзер, почти не повторяются! Несколько лабиринтов были описаны на реке Поной, причем далеко от моря. Но были ли вместе с ними и каменные кучи? Неизвестно. На такие невзрачные детали почти никто не обращал внимания. Единственным достоверным описанием лабиринтов с каменными кучами в Финляндии археологи обязаны Л. Пяккөнелу, который нашел их в устье реки Торнео. А остальные? Ведь отдельных лабиринтов, находящихся на берегу моря, на островах, при устьях рек и даже далеко от моря, но на берегу реки, — их около сотни! Наконец, тот лабиринт, который я видел на Терском берегу возле Умбы, — там не было никаких следов погребальных памятников!..»

И вот здесь невольно приходилось возвращаться к той законо-

мерности в расположении одиночных лабиринтов, на которой строила свои домыслы Н. Н. Гурина. Как правило, вблизи одиночных лабиринтов, рядом с ними, находились современные рыбацкие тони. Больше того: современные рыбаки знали, что самые удобные, самые добычливые для ловли рыбы участки находятся перед лабиринтами. На Мурманском берегу в таких местах Гурина обнаружила и стоянки с кварцевыми орудиями. Это означало, что древние рыболовы, у которых не было современных капроновых сетей, пенопластовых поплавков-кибасов, железных якорей, вынуждены были для гарантии успеха выбирать лучшие из лучших мест — и для поселений, и для промысла. Они могли ловить рыбу только на ровном, осушавшемся во время отлива дне, используя ловушки, действовавшие во время прилива и опорожнявшиеся при отливе.

Каменные спирали на берегу не были «моделями». Это были алтари, на которых первобытные рыболовы приносили жертвы Хозяину Воды, чтобы он загонял свою рыбу в поставленные ловушки; Соляцу, которое, не спускаясь за горизонт или спускаясь на краткое время, совершало такие же круги по небосводу, как жрец-заклинатель в петлях лабиринта. Может быть, в танце воспроизводилось движение той семги, Большой Рыбы, возвращающейся в родные реки с моря и являющейся настоящей «рыбой жизни» для древних обитателей Севера, которая, по уверениям моих друзей-поморов, «чуует» воду родной реки «правой поздрей». Здесь я уже вступаю в область догадок, но обширность материала, собранного этнографами у северных народов, позволяет делать весьма широкие допущения.

...Через несколько лет я смог снова подняться на скалу с одинокой сосной, увидеть белую полосу песка, могучие сосны над лукоморьем и медленно зарастающие спирали лабиринта. Совсем иначе смотрел я теперь на этот жертвенник самых древних поморов, сожалея, что пришел с пустыми руками и не знаю, какую жертву привыкли получать их боги на этом алтаре. Возможно, они укладывали в центре головы съеденных рыб, веря, что «душа» каждой рыбы так же бессмертна, как и их собственная, и, если не съесть голову и хвост, а опустить их в море или реку, рыба снова возродится и снова придет в расставленные ловушки. Так поступают все охотники и рыболовы Севера, и то же самое делают с головами оленей эскимосы, а еще недавно саамы-лопари. Они верили, что в противном случае Хозяин Оленей может рассердиться на человеческую жадность и неблагодарность и не пустит больше оленей к людям...

Строители лабиринтов были рыбаками, охотниками на морского зверя, как все народы, живущие на морском берегу, но, кроме того, они были и мореходами. За несколько лет, которые прошли для меня с того момента, когда я впервые увидел полузаросшую мхом и вереском, выложенную из камней спираль, я смог многое узнать об этих людях, и путь через умбский лабиринт привел меня к интереснейшим открытиям, которые позволили связать воедино историю далеких и сравнительно близких эпох. У этих людей была сложная история, и она не кончилась на лабиринтах. Но об этом я надеюсь рассказать более подробно в отдельной книге, откуда взят и этот эпизод.

А теперь я хочу вернуться к началу главы, чтобы выполнить обещание, рассказав о решении археологической загадки, к которой привел меня северный лабиринт и для которой не потребовалось вести раскопки и совершать путешествия. К загадке Лабиринта с большой буквы.

5

Занимаясь каменными лабиринтами Севера, я никак не мог забыть, что точное изображение самого распространенного типа такого сооружения находится на древнегреческой монете IV века до нашей эры. Правда, монета не была исключением. Изображения лабиринтов такого типа оказались на стенах средневековых северных церквей и даже на резных камнях Дагестана. Я уже не говорю о наскальных изображениях в Южной Швеции, где выбиты две человеческие фигуры, держащие над головами лабиринты...

Если исключить Север Европы, где появление изображений и совпадение конструкции не вызывают удивления, поскольку там же лежат и каменные лабиринты, вид которых мог повлиять на художника, все остальные следует признать возникшими независимо друг от друга. Так, в исследовании Дебирова о резьбе по камню в Дагестане можно видеть, что лабиринт возникает здесь в процессе эволюции. Известный чуть ли не с каменного века культ солнечного козла приводит к изображению фигуры из четырех козлов, сходящихся ногами в одной точке. В Средней Азии в эпоху ранней бронзы подобная фигура на орнаменте превращается в широколопастной крест, образованный телами животных. В Дагестане же стилизация идет по другому пути. Здесь от каждого козла остается передняя пара ног и голова с

длинными, закинутыми за спину рогами. Отсюда один шаг до стилизованного равноконечного креста с крюками на концах. Но на этом стилизация не останавливается. Крест начинает вращаться, его концы вытягиваются, образуя вихревую спираль с четверенными линиями, и из этой вихреобразной фигуры возникает упорядоченный лабиринт.

Редкостный случай, показывающий весь процесс стилизации, от реалистического изображения до символа, особенно ценен тем, что раскрывает нам сущность этого символа. На древней дагестанской резьбе лабиринт — символ Солнца. Солнце олицетворяется первоначально в виде каменного козла с длинными рогами. По мере усложнения философской подоплеки первоначальный символ учетверяется, быть может указывая на четыре времени года или на четыре стороны света. Четверка козлов превращается в крест с загнутыми концами — древнейший знак Солнца, знак благополучия, знак вечного движения, который до сих пор почитается в Индии и до недавнего времени вышивался на севернорусских полотенцах. И наконец, солнце при дальнейшей стилизации получает у художников свой окончательный символ — лабиринт.

Что касается Древней Греции и мопеты, то истоком изображения, естественно, следовало считать миф о Тезее и Минотавре, тем более что над лабиринтом обозначено было название Кносса, столицы Крита. Только почему он так похож на соловецкий?

Проще всего было предположить, что кто-то из древних греков совершил в IV веке до нашей эры путешествие в северные страны, увидел лабиринт, изумился и, вернувшись, сообщил своим соотечественникам, как должен был выглядеть в мифическое времена Миноса мифический Лабиринт.

Ничего невероятного в таком предположении нет. И Эллада, и Крит, и Малая Азия были связаны с Севером. С берегов Балтийского моря через всю Европу к Средиземному морю тянулся «янтарный путь», а с Британских островов через Галлию и Германию еще в бронзовом веке поступало необходимое для металлургов олово. Больше того, история сохранила нам имя человека, именно в IV веке до нашей эры совершившего плавание на Север вдоль берегов Европы. Пифей из Марсалы (современного Марселя) был предприимчивым купцом и отважным мореплавателем. Его записками пользовались все последующие географы и путешественники и так их наконец изорвали и замусолили, что современным ученым остается только спорить и гадать, как

далеко продвинулся на Север древний грек в своем плавании и что он видел.

Вряд ли Пифей был первым и единственным, но об остальных мы ничего не знаем.

Монета и анализ северных лабиринтов навели меня на мысль, что между северными каменными лабиринтами и критским, в котором Минос содержал Минотавра, гораздо больше общего, чем сходство на рисунке монеты. С тех пор как Артур Эванс в конце прошлого столетия начал откапывать Кносский дворец, представляющий бесконечную сеть многочисленных залов, комнат, переходов, лестниц и дворов, установилось мнение, что древние афиняне, которым мы обязаны всей этой историей, под мифическим лабиринтом подразумевали именно Кносский дворец, воспоминание о котором передавалось из поколения в поколение. Предположение такое казалось правильным еще и потому, что в одной из своих книг «отец истории» Геродот рассказывал о египетском лабиринте, представлявшем собой помещение со множеством комнат.

Так ли было на самом деле? Я знал, что в то время расцвета «классической» археологии, когда в каждом мифе пытались открыть не только «рационалистическое зерно», но и поставить миф в прямую связь с каким-либо установленным фактом, мнение о тождестве Кносского дворца и лабиринта Миноса стало общепринятым. Труднее было понять, почему никто не усомнился в подобной аналогии в середине нашего века, когда стало ясно, что гибель крито-микенской культуры, такой богатой, своеобразной и яркой, равно как и разрушение Кносского дворца, произошло раньше, чем ахейцы, основатели Афин, появились в Аттике. Но это так, к слову...

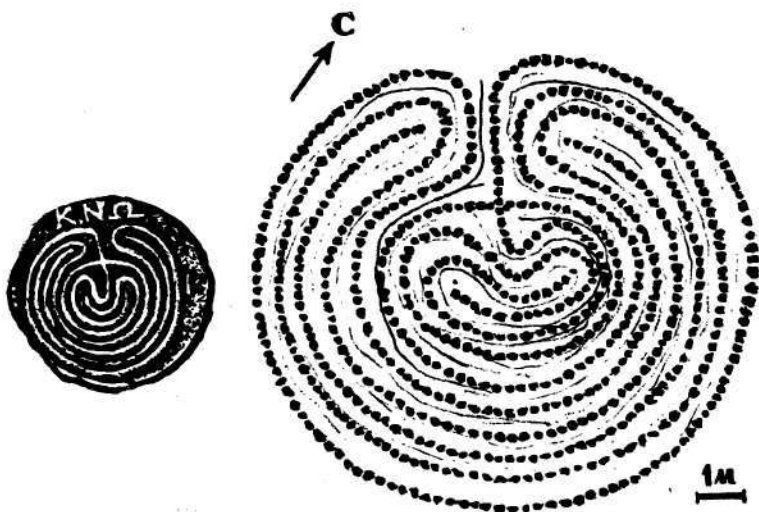
Начав книгу с мифа о Тезее и Минотавре, я попытался немного показать и сложность самого мифа, казалось бы столь известного, и те глубины, которые может найти в нем заинтересованный исследователь. Теперь же, когда загадка лабиринтов дала достаточную пищу для ежедневных размышлений, античная монета заставила меня снова вспомнить о мифе. Порой я ловил себя на том, что рассматриваю его, как биолог рассматривает новый, только что попавший в его руки вид, размышляя, чем он может быть полезен и как укладывается в общую картину жизни и эволюции видов.

В древнегреческом мифе меня интересовал лабиринт. Конечно, можно было принять старую точку зрения Эванса, что лабиринт — это Кносский дворец, успокоиться на Геродоте, но

каким образом в такой последовательности найти место монете? Двойная спираль не имела ничего общего ни с планом раскопанного Эвансом дворца, ни с любым возможным истолкованием такого плана. Она могла изображать только один, хорошо знакомый мне предмет — каменный лабиринт. Первобытный жертвенник.

А почему, собственно, критский лабиринт, о котором вспоминает миф, не мог быть именно таким жертвенником? Это потом уже обыкновенный жертвенник-алтарь фантазия поэтов разукрасила и превратила во дворец, а человеческое легковерие связало его с египетским лабиринтом. Кто мог дать точные сведения, как выглядел лабиринт Миноса? Жертвы? Они не возвращались. Тезей? Но Тезею было некогда. Все-таки Тезей был сыном Посейдона, был рожден не для отчетов, а для свершения подвигов, после подвигов он возвращался усталый, принимал почести, ванну, и... кто упрекнет его в мелких погрешностях рассказа, которые так разукрасили бездельники поэты?! Нет, только я!

Вот почему, не надеясь на точность Тезея и его историографов, мне пришлось в голову заново пересмотреть канву этого мифа. Если отбросить все героико-романтическое кружево, суть его довольно проста.



Минос — царь Крита. У него сын, которому приносят человеческие жертвы, — чудовище Минотавр, человек с головой быка. Жертвоприношения совершаются в специальном месте, в лабиринте. Характерно, что сами критяне, подданные Миноса, никакого отношения к этим жертвам не имеют: дань платят покоренные народы. Приезжает Тезей с партией обреченных. Он проникает в лабиринт, убивает Минотавра и по клубку ниток выбирается назад. Все ликуют.

Такова фабула. Уже она настораживает историка какими-то скрытыми отношениями героев друг к другу. Если ее попытаться перевести на научный язык, действительность проглянет еще яснее. Вот что мы увидим.

На Крите в «эпоху Миноса» существуют религиозные воззрения, отличные от тех, что распространены в Элладе. Главным божеством царской династии Крита является существо с телом человека и с головой быка. О том, что на Крите действительно почиталось божество в образе быка, теперь хорошо известно благодаря раскопкам. То, что чудовище это родила жена Миноса благодаря козням Посейдона, — позднейшее и не очень удачное объяснение, откуда появился Минотавр во дворце «сына Зевса». По-видимому, это культ самого царя Миноса, потому что чудовище так и называется — Минотавр, Минос-бык. При желании здесь можно увидеть широко распространенные в древнем мире и в средние века легенды-сказки о превращении людей в животных, о заколдованных принцах, королях и прочем. Истоки подобных сюжетов приведут нас в эпоху палеолита, заставив вспомнить открытия Э. Фрадкина, ибо все сказки об оборотнях и зверях — воспоминания мифов, повествующих о тотемах, родоначальниках племен, и о первых богах-вождях. Именно такие тотемы в долине Нила стали богами, приняв человеческое тело, чтобы общаться с людьми, и сохранив от своего прежнего облика голову соответствующего животного. Приглядевшись к Миносу-Минотавру, я мог убедиться, что в этой фигуре воплощен всего лишь «мужской вариант» древнеегипетской богини Хатор, впоследствии слившейся с солнечным божеством Ра. Наконец, существует еще более прямая связь между Миносом и быком. Достаточно вспомнить, что в быка — именно в быка! — превращался Зевс, его отец, когда он похитил финикийскую (а может быть египетскую?) царевну Европу.

Если в тот момент меня это удивило, то лишь таким поздним прозрением очевидного. Археологические раскопки на Крите давно открыли множество свидетельств самых оживленных

культурных и торговых отношений между Египтом и Критом. Не раз поднимался в научной литературе вопрос о зависимости крито-микенской культуры в ее критском варианте от культуры Египта. Бог с бычьей головой как нельзя лучше свидетельствовал о вероятности такого варианта. А конечный вывод формулировался следующим образом: в эпоху Миноса на Крите раз в несколько лет совершались человеческие жертвоприношения солнечному божеству с головой быка.

Для жертвоприношений требуется жертвенник, алтарь, стоящий в храме, но никак не здание — лабиринт! Я мог бы усомниться, что в таком богатейшем, как теперь мы знаем, дворце Миноса алтарь для главного жертвоприношения повторял форму примитивного древнего жертвенника, сложенного из камней, как жертвенники рыболовов Белого моря. Но с выводами спешить не стоит. Жертвоприношения Солнцу, вероятнее всего, следовало совершать на жертвеннике, соответствующем символическому божеству. Как мы знаем из экскурса в древнее искусство Дагестана, каменный лабиринт (или его изображение, вырезанное на камне) полностью соответствовал этому условию. Следует вспомнить также, что сама по себе человеческая жертва Солнцу обычно совершалась в экстраординарных случаях, составлялась крайне торжественно и, как в древней Мексике, по видимому, требовала особо древних аксессуаров. Так, жрецы ацтеков при человеческих жертвоприношениях употребляли исключительно каменные ножи, хотя металл им уже был хорошо известен. Минотавр был воплощением солнечного бога, ему требовалось в определенных случаях приносить человеческие жертвы, и символ Солнца — каменная спираль лабиринта, — более чем вероятно, был действительным жертвенником Минотавра.

Художник, вырезавший штемпель для древнегреческой монеты, как мы видим, знал гораздо больше, чем сообщал слушателям распространенный миф...

Любопытный экскурс с побережья Белого моря в древний мир Средиземноморья неожиданно подтвердил мое предположение, что каменные лабиринты Севера служили не только входами в «царство мертвых», но были также жертвенниками Солнца, главного божества «верхнего мира», дарующего и продляющего жизнь на земле. Удивление по поводу связи, казалось бы, противоположных и взаимоисключающих культов может возникнуть лишь у современного человека, настолько оторванного от природы, что Великая Взаимосвязь «живого» и «мертвого»,

равно как относительность этих состояний, не воспринимается даже в чередованиях времен года. Для первобытного человека, живущего в природе и считающего себя лишь частью этой природы, существовал только один, вечно живущий, взаимопроизводящий мир людей, стихий, животных, растений, в котором происходило не возникновение и исчезновение, а всего лишь чередование одного состояния другим. «Жизнь» и «смерть» воспринимались человеком как смена дня и ночи, и — я рискну утверждать — его вера в переселение душ, в «царство мертвых», в одушевленность Природы было проявлением не ограниченности, невежества, а лишь бесконечного оптимизма, мудрого понимания взаимосвязи вещей и явлений.

Кнуд Расмуссен, известный датский исследователь эскимосов, народа, живущего почти в тех же условиях, что три тысячелетия назад жили строители лабиринтов, в следующих словах подводит итог их философии, столь глубокой и возвышенной, что я не могу отказать себе привести его полностью:

«Оленные эскимосы весьма мало думают о смерти, но верят, что все люди возрождаются, ибо душа бессмертна и всегда переходит из жизни в жизнь! Люди хорошие опять становятся людьми, а дурные возрождаются животными, таким образом населяется земля, ибо ничто, получившее жизнь однажды, никоим образом не может исчезнуть, перестать существовать».

Но вернемся к лабиринтам. Даже если у нас и возникло бы сомнение в правомочности такого сочетания божеств «верхнего» и «нижнего» миров, на помощь приходит все тот же древнегреческий миф. Куда по логике вещей должен после смерти отправиться Минос — солнечное божество, «сын Зевса»? На Олимп, к своему отцу? Нет, логика древних оказывается иной, более мудрой. Не случайно Миносу-Минотавру требовалась смерть человеческих жертв. Согласно древнегреческой мифологии, по смерти своей Минос становится царем в «царстве мертвых», в Аиде, стране своих жертв. Именно туда, в подземный мир, привел его путь между спиралью солнечного лабиринта.

Он прошел по нему точно так же, как, по мнению Н. Н. Виноградова, вмевшего достаточное время, чтобы размышлять над каменными спиральями Соловецких островов, в то же время или чуть позже проходили души их умерших строителей...

*

Вот и закончена книга. С некоторым удивлением я вижу, что прощаюсь с ней почти на том же месте, где начал,— может быть, несколько выше или несколько дальше, потому что путешествие по лабиринту показывает тебе исходную точку, но никогда в нее уже не возвращает. В этом лабиринт напоминает и жизнь и науку: чтобы продвинуться даже немного вперед, требуется много сил, много терпения, а путь, по которому приходится идти, труден и извилист, и спрямить его никак нельзя.



ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора	3
<i>Глава первая.</i> Возле края ледника	7
<i>Глава вторая.</i> Берендеево царство	65
<i>Глава третья.</i> Вилла у моря	111
<i>Глава четвертая.</i> Город живых людей	165
<i>Глава пятая.</i> Путь через лабиринт	223

Для среднего и старшего возраста

Андрей Леонидович Никитин

РАСПАХНУТАЯ ЗЕМЛЯ

Ответственный редактор
В. С. Мальт
Художественный редактор
А. В. Пацляна
Технический редактор
Н. Ю. Крапоткина
Корректоры

Т. П. Лейзерович и Э. Н. Скцова
Сдано в набор 12/II 1973 г. Подписано к
печати 27/VIII 1973 г. Формат 60×84¹/₁₆.
Бум. типогр. № 1. Печ. л. 18. Усл. печ. л.
16,74. Уч.-изд. л. 15,14+16 вкл. = 17,38.
Тираж 75 000 экз. А09290. Заказ № 167.
Цена 96 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Детская литература».
Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1.
Ордена Трудового Красного Знамени
фабрика «Детская книга» № 1 Росглав-
полиграфпрома Государственного Комя-
тета Совета Министров РСФСР по делам
издательств, полиграфии и книжной
торговли, Москва, Сушевский вал, 49.
